



АНДРЕЙ ГРАЧЁВ

МЕБЕЛЬ
СДЕЛАТЬ
ТАК

**СЛУШАЙТЕ
СЛУШАЙТЕ
СЛУШАЙТЕ**

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ

МОСКВА 2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6
Г78

Книга публикуется в авторской редакции

Дизайн Вадима Гусейнова

Грачёв А.С.

Г78 Гибель советского «Титаника»: Судовой журнал /
Андрей Грачёв. — М., 2015. — 351 с.

ISBN 978-5-91631-240-0

Андрей Грачев — политолог и журналист, последний пресс-секретарь Президента СССР Михаила Горбачева. Его новая книга, как он считает сам, — не просто воспоминания о драматических событиях и неординарных людях, с которыми его свела судьба, но и показания свидетеля на воображаемом «Процессе XX века». Автор пытается найти ответ на многие вопросы, с которыми столкнулась Россия в конце прошлого столетия. Почему гигантский советский корабль, выдержавший немало исторических бурь и потрясений, вдруг перевернулся и ушел на дно, почти не оставив следов на поверхности? Почему перестройка, в которую с таким энтузиазмом поверило население страны, вместо того чтобы обновить политическую систему и спасти союзное государство, ускорила его распад? Наконец, почему через двадцать пять лет после падения Берлинской стены и «железного занавеса» Россия так и не стала частью Общего Европейского Дома, а мир так и не выбрался из психологической клетки противостояния, унаследованного от холодной войны? Эта книга — размышление о том менее предсказуемом и стабильном «мире за Стеной», который мы открываем в новом веке.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

ISBN 978-5-91631-240-0

© Грачёв А.С., 2015

Алене – без нее этой книги
попросту не было бы

Век мой, зверь мой, кто сумеет
заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
двух столетий позвонки?

Осип Мангельштам

Вступление

Как вынутый из кузнечного горна раскаленный железный прут, XX век еще дышит жаром, переливается оттенками багрово-красного цвета, грозя обжечь любого, кто по неосторожности притронется к нему. Но уже скоро несколькими ударами молота Гефест замкнет его в кольцо, приковав этот век к семье предшественников. И потом бросит в прохладный поток Леты, где затвердевший и посеревший он станет еще одним звеном уходящей в прошлое тяжелой цепи веков, которую человечество постепенно передает грядущим поколениям.

Но пока еще окончательно не угасли искры памяти живых свидетелей века, у них есть возможность рассказать о том времени, когда он еще струился расплавленным потоком и мог принять любую форму, которую бы захотели и смогли придать ему люди. Это долг переживших этот век перед теми, кто их сменяет сегодня и идет

по пути без заранее проложенного маршрута и указателей. Только наткнувшись на наши следы на дорогах, они могут избежать тупиков наших заблуждений и постараться не повторить ошибок. Или хотя бы понять, что, думая, что движутся вперед, на самом деле пятятся в прошлое или, что еще хуже, идут по кругу.

Цель автора — дать свои свидетельские показания на воображаемом Процессе ушедшего века и, таким образом, принять участие в создании его мозаичного портрета. По понятным причинам они в основном посвящены последним десятилетиям Советского Союза и событиям, приведшим к его распаду. И потому, что сам автор родился в СССР, прожил в той стране большую часть жизни, оказавшись в финале ее существования в эпицентре политической драмы, которая закончилась кончиной огромного государства. Но еще и потому, что непродолжительная по историческим меркам «советская глава» в многовековой истории России оставила неизгладимую печать на облике всего столетия.

Жанр книги мне трудно определить самому. Открыв ее, читатель может подумать, что держит в руках лоскутное одеяло, состоящее из личных воспоминаний и размышлений, документов эпохи и портретов самых разных персонажей — как тех, кто, безусловно, повлиял на историю страны и даже мира, так и никому не известных, память о которых дорога только автору.

Что-то похожее на кубик Рубика с перемешанными гранями, окрашенными в разные цвета времени. Может быть, поворачивая их по своему усмотрению, он неожиданно сложит разрозненные образы в гармоничную картину. Но пусть не удивляется, если обнаружит, что среди них автор, как фигурку в новогодний пирог, спрятал и маленькое зеркальце, чтобы позволить читателю увидеть в нем самого себя.

ЧАСТЬ I

ЗАТЯНУВШИЕСЯ ПОХОРОНЫ

Давайте придумаем деспота,
Придумаем, как захотим.
Потом будет спрашивать не с кого,
Коль вместе его создадим.

И пусть он над нами куражится
И пальцем грозит из тьмы,
Пока наконец не окажется,
Что сами им созданы мы.

Булат Окуджав

Песочные часы

В это утро мы с псом вышли с дачи на свою ежедневную прогулку в особенно хорошем настроении. Светило солнце, аллея, по которой мы обычно прогуливались, была вымыта ночным дождем, как поливальной машиной, и принадлежала только нам двоим. В этот ранний час на горизонте не было видно ни души.

И вдруг, поглядев вперед, я понял, что видневшееся впереди дерево на самом деле — неподвижная человеческая фигура. Странной была не только поза — человек стоял с воздетыми к небу руками, но и то, что между ними не было видно головы. Необычное зрелище озадачило даже пса, который, вместо того чтобы зарычать на незнакомца, на всякий случай прижался к моей ноге.

Только сделав несколько нерешительных шагов вперед, я сообразил, в чем дело: человек стоял на голове, опершись на руки, а к небу в почти религиозном экстазе

простирались его ноги в спортивных шароварах. То ли он занимался йогой, то ли медитировал, то ли напитывался токами от земли, припав к ней таким своеобразным способом.

Не желая ему мешать, я увлек пса за собой, оставив незнакомца наедине с сырой землей и его размышлениями. По дороге домой я перебирал мотивы, побудившие незнакомца начать день в такой позе, и пытался вообразить, каким видится ему окружающий мир с этой весьма специфической точки зрения. Кто знает, может, он считает, что это мы ходим на голове, а не он на ней стоит. В конце концов все в мире относительно, главное — убедить себя в том, что прав ты, а не все остальные.

И вдруг крамольная мысль прокралась мне в голову: а что, если эта нелепая фигура, возвышающаяся среди полей, — символ целой страны, которая в своих нескончаемых поисках особого исторического пути на несколько десятилетий избрала жизнь в перевернутом мире. Нечто вроде истукана или идола, похожего на загадочные изваяния на острове Пасхи, оставленные неизвестно откуда взявшейся и куда ушедшей цивилизацией.

Конечно, стоять долгое время на голове, презирая законы всемирного тяготения, да еще целой стране должно быть неудобно, но на первых порах на помощь может придти религиозный экстаз (в истории, и не только русской, подобных примеров немало). Ну, а после того как он начнет выдыхаться, можно прибегнуть к разнообразным подпоркам — идеологическим, пропагандистским и, конечно, репрессивным. Зато открывающаяся перспектива, пусть и перевернутая с ног на голову, позволяет видеть мир другим, иначе говоря, другой мир — альтернативный.

Что же до закона земного притяжения, можно объяснить, что он не распространяется на одну шестую часть суши. Ведь согласно теории относительности, он не дейст-

вует в масштабе вселенной. Это означает: однажды мир может перевернуться, как песочные часы. Надо только дождаться, когда полюса у Земли поменяются, «кто был ничем, тот станет всем», и тогда малoverы, критики и тем более враги будут посрамлены.

Правда, к самому автору теории относительности, которого советская власть могла бы зачислить в свои союзники, у нее были вопросы. Разбирая бумаги своего отца, я наткнулся на официальный ответ, полученный им в декабре 1955 года из Академии наук СССР. Туда переслали его письмо, отправленное в газету «Правда», где мой любознательный папа, инженер-самоучка, спрашивал, где можно прочитать доклад академика Ландау, посвященный теории относительности Альберта Эйнштейна. В официальном ответе сообщалось: «Вопрос об опубликовании материалов сессии, посвященной 50-летию теории относительности, еще не решен. В связи с чем ознакомиться с докладом Ландау "Научный путь А. Эйнштейна" не представляется возможным». До XX съезда КПСС Эйнштейну, его теории относительности и всему Советскому Союзу оставалось ждать еще целых два месяца.

Война — повитуха

Карл Маркс называл насилие повивальной бабкой истории. Повитухой в моей личной истории стала война. Не знаю, ускорило ли ее начало мое появление на свет две недели спустя, но могу только вообразить, что испытала моя мама, готовившаяся к этому счастливому событию, услышав по радио объявление о нападении нацистской Германии на СССР.

В Исторической библиотеке я нашел номер «Правды» за 9 июля 1941 года. Газетная шапка давала имена

«сталинских соколов» — советских летчиков, отличившихся в воздушных боях с немецкой авиацией и ставших первыми Героями Советского Союза этой войны. Сообщалось, что «на бессарабском участке фронта контратакой советских полков разгромлена и отброшена часть румыно-немецких войск». Я держал в руках пожелтевшие страницы газеты, пытаюсь прочитать ее глазами моих родителей. Из сумбура опубликованных в ней новостей они должны были составить хоть какое-то представление о том, что ждет их самих и родившегося в этот день сына в ближайшие дни и месяцы начавшейся войны. Они еще не знали, что она растянется на годы.

Уже через два месяца мама увозила меня на поезде в эвакуацию на Южный Урал, в Оренбург, который тогда назывался Чкаловым.

Отец, призванный в армию в войска связи (как и мама, он окончил радиотехникум, где они и познакомились), остался в Москве. По пути мама, оставив запеленутого сына соседкам по вагону, бегала на остановках за кипятком, чтобы меня мыть, а выстиранные пеленки высовывались в вагонное окно для просушки.

В Чкалове мы разместились вместе с еще двумя семьями в одной комнате, перегородженной простынями. Поскольку для получения продовольственных карточек маме надо было работать, она устроилась на местный радиоузел, где, по ее словам, ее вызвал на беседу тамошний кадровик. То, что на этих должностях во всех советских учреждениях, как было заведено задолго до войны, работали особисты, разумеется, ни для кого не было секретом. Без лишних церемоний кадровик предложил маме стать сексотом, объяснив, что в ее обязанности входит регулярная информация о том, что обсуждают между собой ее коллеги, чем живут, кто кому завидует, с кем ладит, враждует или спит. По ее словам, она настолько

убедительно разыграла из себя «полную бестолочь», неспособную сохранить дольше пяти минут хотя бы крошечную долю вверенной ей государственной тайны, что особист махнул на нее рукой.

По понятным причинам собственных воспоминаний о войне, которая закончилась, когда мне еще не исполнилось четырех лет, у меня не сохранилось. Но иначе как военным свое детство я назвать не могу. Потому что даже после того, как Победа была отпразднована, а жертвы войны похоронены и оплаканы, война не уходила из повседневной жизни переживших ее людей. Да и не осталась ли после этой войны, которая обошлась стране, по разным подсчетам, от 20 до 28 миллионов жизней, инвалидом практически каждая советская семья? В единую гигантскую братскую могилу война уложила отцов, мужей, родителей и детей, погибших на фронтах и под бомбами в тылу, умерших в блокаде, расстрелянных и повешенных оккупантами, сожженных в крематориях и замученных в лагерях.

На костылях и культяшках инвалидов эта война долго ковыляла по тротуарам, пела пропитыми голосами жалостливые песни в метро и подмосковных электричках, собирала подаяние в протянутые пилотки, выстраивала изможденных стариков и вдов в очереди за мукой и сахаром. Помню, как стоя с бабушкой в этих очередях, еще не зная букв, я научился распознавать цифры, написанные чернильным карандашом на ладонях стоявших вместе с нами людей. Это были мои первые уроки арифметики.

Но, став общим коллективным горем, национальной трагедией для всех наций огромной страны, выстраданная ею война оказалась и подлинным катарсисом для тогдашнего советского общества. Во-первых, потому что уравнила всех в общем несчастье, стерев, по крайней мере на время, многие социальные и номенклатурные перегородки, которые начала выстраивать

в ускоренном темпе в предвоенные годы тоталитарная система. Во-вторых, потому что завершилась подлинно народной Победой, принадлежавшей всем, ибо практически каждый мог считать, что внес свой вклад в ее страшную цену.

Именно эта, «одна на всех», как пел Окуджава, Победа, сломав ритуал казенных демонстраций на Красной площади, выплеснула на нее в День Победы в стихийном ликовании многотысячную толпу. Перемешав горе с гордостью, пережитые страдания с утешением от того, что они оказались не напрасны, она превратила на многие годы 9 мая в единственный утвержденный народом и истинный для всех советских граждан, рассеянных по всему пространству бывшего СССР и даже мира — от США до Израиля, от Австралии до Норвегии, — не столько государственный, сколько семейный и личный праздник.

Но, может быть, важнейший итог Победы — обретенное целой страной чувство национального достоинства. Парадоксальным образом этому способствовал символ варварства, которым была нацистская агрессия. Оказавшись перед необходимостью дать отпор Абсолютному Злу, миллионы людей ощутили себя защитниками Абсолютного Добра и верховной, общечеловеческой морали. Для многих граждан этого, казалось бы, беспросветно атеистического государства такое столкновение Добра со Злом стало возрождением почти религиозной веры в то, что справедливость восторжествует и в земной жизни людей, в том числе и у них на родине.

Еще одно редкое для русского человека, не избалованного историей собственной страны, — чувство единения с остальным миром, и прежде всего с такой всегда далекой от него Европой. Русский человек почувствовал себя освободителем, народом, спасающим Европу от ее

собственного варварства — фашизма. И даже показал ей пример — и в решимости не смиряться перед злом, и в жертвенности в защите ее ценностей, начиная с равенства и кончая свободой.

Александр Солженицын, участник этой святой войны, считал, что в ней не только проявился природный русский патриотизм, «но сказалась и психологическая жажда распрямиться хоть на короткое время и почувствовать себя личностью, и даже могучей, и даже героической, — через смертный бой, дающий короткую иллюзию свободы»¹.

Но рядом с этой очистительной народной победой, едва ли не более важной, чем победа военная, начала поднимать голову старательно пестуемая советской властью и другая победа — государственная. Победа режима, который не мог упустить шанса присвоить себе плоды народного триумфа, представить результаты Отечественной войны как торжество коммунистической системы над ее историческим капиталистическим противником в его самом агрессивном обличе.

Эту задачу сталинскому режиму помог решить гитлеровский нацизм, объявивший главной целью завоевательного похода на Восток сокрушение «еврейско-большевистского» государства. В своих публично провозглашенных планах он не оставлял десяткам миллионов жителей Востока Европы, объявленных расистскими теоретиками рейха «недочеловеками», другого выбора, как быть уничтоженными или победить самим.

Не одна только знаменитая русская зима обернулась роковым просчетом для Гитлера, как в свое время для Наполеона. И не сталинские заградотряды и не особисты НКВД стали главной причиной яростного сопро-

¹ Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 136.

тивления советских солдат в окопах Сталинграда и последующего исторического перелома в ходе войны. Мой друг журналист и многолетний эксперт по Германии Николай Португалов, с которым читатель еще встретится на страницах этой книги, рассказывал, что во время его разговора с одним из главных немецких военных стратегов Второй мировой войны фельдмаршалом Манштейном этот уже дряхлый старик, неожиданно воспламенившись, воскликнул: «Это непостижимо, как вы смогли нас победить!»

Престарелый прусский генерал, участник двух мировых войн, видимо, до конца жизни продолжал мысленно переигрывать проигранные военные кампании. Но его фюрер при подготовке планов блиц-разгрома СССР уповал не только на стратегические способности своих генералов. Гитлер был убежден, что советский «колосс на глиняных ногах» сразу рухнет после начала его восточной кампании под грузом внутренних противоречий и раздоров между многочисленными народами, удерживаемыми Россией под своей пятой.

Фюрер просчитался. Загнав миллионы восточных славян и других «неарийцев» в лагеря уничтожения и приступив к методичному осуществлению программ «сокращения» излишнего населения на оккупированных территориях СССР с целью высвобождения их для будущей экономической колонизации, гитлеровцы эффективнее, чем все усилия советской официальной пропаганды, соединили в единую «советскую нацию» противоречивую мозаику российско-советской империи и сжали пружину народного сопротивления, которая должна была распрямиться.

Лев Толстой, описывая в «Войне и мире» первую Отечественную войну и как будто предвидя вторую, писал: «Благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие

в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью».

Сталину, в сущности, потребовалось лишь ухватиться за поднышающую дубину народной войны, чтобы направить ее удар на агрессора и сохраниться самому. Что он и сделал с присущим ему политическим чутьем. В результате одержанная Победа на какое-то время принесла сталинскому режиму легитимацию, которой была лишена советская власть, порожденная трагедией революционного раскола русского общества в 1917 году.

Лев Копелев — во время войны советский офицер, ставший потом диссидентом, послуживший для Солженицына прототипом одного из его персонажей, писал: «22 июня 1941 года Гитлер обрек свою империю на неминуемую гибель, но спас сталинский режим от распада и возможного крушения. Война, развязанная нацистами, стала Отечественной войной для русского народа и для большинства других народов Советского Союза, пробудила в них лучшие силы... Она привела к заслуженному разгрому гитлеровского тоталитаризма, но одновременно к незаслуженному торжеству сталинского».

Просчет Гитлера в том, что, напав на СССР, он создал условия для появления сразу двух коалиций, объединившихся в борьбе против него. Одна — общенародный патриотический фронт, наполнивший реальным содержанием абстрактные формулы пролетарского интернационализма. Великодушие русского народа, поделившегося со своими руководителями результатами одержанной им исторической победы, произвело впечатление даже на самого вождя: выступая на приеме в Кремле по случаю Победы, в редком приступе искренности он произнес тост за русский народ, который, по его словам, «мог бы прогнать своих руководителей», но не сделал этого.

Вторая коалиция — невероятная еще в самом начале войны антигитлеровская «тройка», объединившая западные демократии во главе с Черчиллем и Рузвельтом со Сталиным. Этот союз был настолько политически противоречивым, если не противоестественным, что Гитлер долгое время тешил себя надеждой на то, что он будет недолговечным. В своих иллюзиях и сам фюрер, и его генералы убедились в результате проигранной войны на два фронта. Но вплоть до ее финального этапа ближайшее окружение Гитлера еще всерьез верило, что сможет в обмен на его голову предложить себя западным державам в качестве наиболее эффективного щита против большевизма. К этому времени, к счастью, козырей для торга у них уже не оставалось.

Однако обе коалиции, возникшие для борьбы против смертельного врага, не пережили Победы. Ялтинская «тройка» распалась не из-за смерти Рузвельта и поражения Черчилля на выборах, а после исчезновения породившего ее Гитлера. От совместной борьбы с нацизмом вчерашние союзники, которые не могли с ним справиться порознь, практически без паузы перешли к холодной войне друг с другом.

Что же касается СССР, то после того как сталинский режим перестал нуждаться в народной поддержке для собственного спасения, он тем более не собирался делиться с обществом своей монопольной властью. Логика авторитарно-бюрократической машины требовала восстановления не только единоначалия, но и единомыслия. Поэтому все элементы общества, не готовые исполнять роль «винтиков» системы, подлежали подавлению или устранению. От них избавлялись, как от портивших пейзаж инвалидов войны, которых, подобно мусору, выметали с улиц городов, отправляя умирать в приюты или на Соловки, или как от освобожденных из немецких лагерей советских военнопленных — их в наказание за то,

что они предпочли гибели плен, напрямую из концлагерей переправляли в ГУЛАГ.

После депортации в Сибирь и Среднюю Азию целых народов и нерусских меньшинств, чьи представители скомпрометировали себя сотрудничеством с оккупантами, настала очередь и «антиобщественных» элементов. К ним рано или поздно должны были быть отнесены, как это происходило и в нацистском Рейхе, «потенциально опасные» для «лоботомизируемого» общества социальные группы — интеллигенция и евреи. Тем более что часто речь шла об одних и тех же людях.

Если что и добавляет своеобразный оттенок к этому, увы, банальному, явлению, так это особенности сталинского антисемитизма, трансформировавшегося в советский государственный. Или, точнее, в симбиоз давнего русского-царского с советским тоталитарным. Оригинальность ситуации лишь в том, что в случае со Сталиным речь шла о коммунистическом лидере, возвращенном на «молоке» интернационализма, больше того, нарком по национальностям и штатном большевистском теоретике, формулировавшем позицию партии по национальному вопросу. К тому же не о русском, а о грузине, и теоретически не предрасположенном к обличавшемуся Лениным великорусскому шовинизму.

Как мне подтверждал более чем авторитетный источник — Григорий Морозов, мой институтский преподаватель международного права и бывший муж Светланы Аллилуевой, — сам еврей, он не наблюдал у своего тестя такой, как у Гитлера, личной антипатии к евреям или параноидальной одержимости этой темой. Соответственно, обращение Сталина к подобному темному рефлексу русского национального сознания и позорному погромному штриху национальной истории не могло не быть чисто прагматическим, а стало быть, предельно циничным.

Сталина, избравшего в поисках очередной категории внутренних «врагов народа» тему борьбы с «космополитизмом», не остановило то, что таким образом может быть девальвирован подвиг Красной армии, спасшей миллионы евреев от уничтожения. По его указанию был разгромлен Еврейский антифашистский комитет и убит великий трагик Михоэлс, собравший в ходе своего американского турне огромные суммы в фонд поддержки Советского Союза во время войны. Последнее преступление уже умирающего вождя — разоблачение «сионистского заговора» кремлевских врачей, которое должно было дать сигнал к национальной кампании антисемитской истерии.

Ради справедливости напомним, что Сталин оставался интернационалистом в том, что жертвами репрессий его режима, общее число которых, по разным оценкам, могло приблизиться к трети населения страны, были не только евреи, а представители всех национальностей. Не служило индульгенцией и членство в партии. Даже правоверные коммунисты — их первыми вместе с евреями истребляли нацисты — послевоенному сталинскому режиму стали не нужны. Новому времени требовались не самоотверженные герои сопротивления, а «винтики» для государственной машины управления.

...В те годы я был, разумеется, далек от этих политических драм, но волею случая и по настоянию мамы, обеспокоенной моим «шумом в сердце», попал на прием к знаменитому кардиологу профессору Виноградову — одному из немногих русских медиков, арестованных в качестве соучастника «сионистского заговора» по «делу врачей-убийц». В моей детской памяти застрял необычный вид входной двери в квартиру профессора, где виднелись еще не смытые следы печатей, оставленных в ночь его ареста.

Пятьдесят третий год

Видел ли я Сталина живым или нет, точно сказать не могу. Отец брал меня с собой совсем маленьким на первомайские демонстрации на Красной площади. Рассказывая об этом годы спустя, он утверждал, что раз или два Сталин стоял на мавзолее и он мне на него показывал. А я усердно махал ему рукой. Думаю, что я делал бы то же самое, если бы мне сказали, что там стоит Ленин. Хотя как он мог бы там стоять, когда в это время лежал под трибуной. Будем исходить из того, что видел, — это делает меня причастным к национальной истории.

Зато точно помню, что собирал в альбом разные портреты товарища Сталина — от еще молодого бородастого до последнего официального, в маршалском мундире. После него портретный Сталин уже перестал изменяться — время как бы обтекало вождя, — и в альбом больше нечего было наклеивать.

Следующая моя «встреча» со Сталиным состоялась в музее подарков к его 70-летию, присланных со всего мира. На изготовление некоторых из них — например, гравировку портрета вождя на рисовом зернышке или бивнях моржа, — должно быть, ушли месяцы, а то и годы работы. Их разместили в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Больше самих подарков запомнилась многочасовая очередь, в которой отстоял с отцом, — мама под благовидным предлогом от этого «хаджа» уклонилась.

Следующий раз такую же длинную очередь в этот музей я отстоял уже с мамой — в Москве впервые была развернута выставка картин Пикассо. На этот раз пытался уклониться я, но она была непреклонна: с ее точки зрения, эта выставка важнее предыдущей. Понятно, что Сталин к этому времени умер. При его жизни нам бы Пикассо не увидеть, хотя ведь и он рисовал портрет

Сталина для первой страницы «L'Humanité», правда, не к 70-летию, а по случаю смерти.

Когда Сталин умер, мне было одиннадцать лет, и я лежал уже не первый месяц в постели из-за шума в сердце. Этот недуг необъяснимым образом появляется в подростковом возрасте, почти как ломка голоса у мальчиков, и так же проходит с их взрослением. Вспоминая это время, я как-то подумал, что вместе со мной «ломку голоса» в эти годы переживала вся страна, внезапно вынужденная повзрослеть из-за смерти вождя, считавшегося бессмертным.

Когда в марте 53-го по всему Советскому Союзу в момент похорон Сталина завывали сирены, я, обливаясь слезами в кровати, размышлял: ну почему так все несправедливо. Ведь моя бабушка старше Сталина, а она жива. Живая, к счастью, хотя и слабенькая бабушка лежала рядом, отделенная от меня шкафом. Не то чтобы я хотел, чтобы она умерла вместо него, просто не только ее, но и моя собственная жизнь мне тогда казалась несопоставимо менее значительной в сравнении с жизнью и просто присутствием Сталина. Ведь от того, живы мы с бабушкой или нет, мало что в мире могло измениться, в то время как со смертью Вождя, казалось, рушился мир. Возможно, такие же чувства испытывали и миллионы куда более взрослых, чем я, людей и не только в Советском Союзе.

Тысячи граждан, отстояв несколько часов в очереди в Дом Союзов, смогли пройти мимо гроба вождя, утирая вполне искренние слезы. Конечно, я страдал от того, что болезнь меня не пустила в эту очередь, но, может быть, она же меня и спасла не только от вероятной простуды, но и от риска быть раздавленным в толпе, которая, как при инаугурации Николая II на Ходынке, отметила смерть вождя последними принесенными ему человеческими жертвами.

В то время я, разумеется, не осознавал, что состоявшиеся в марте 53 года государственные похороны на самом деле станут лишь прологом длительного и нерешительного процесса погребения Россией сталинизма, который растянется на десятилетия и не завершится окончательно и по сей день. Весной 1953 года природа позаботилась лишь о первом и самом простом шаге на этом пути — избавила страну от самого диктатора. Остальное и, как выяснилось, куда более трудное предстояло сделать самому обществу, еще не готовому к расставанию со сталинским наследством.

Эмоциональная реакция на смерть Сталина миллионов людей, сжившихся с мыслью о том, что Вождь определяет за них генеральный курс развития страны и мельчайшие детали их повседневной жизни, была сродни моей подростковой растерянности. Совсем как у членов патриархальной семьи, оставшейся без строгого, но всезнающего главы. Общество, приученное к тому, чтобы служить лишь постаментом для монумента, оказалось в непривычном для него состоянии пустого цоколя без венчающей его статуи. Тем более что водрузить на него немедленно новую фигуру оказалось невозможно.

В этом были виноваты сами большевики, которые, свергнув монархию, превратили Сталина в нового царя, но при этом не позаботились о механизме престолонаследия. Новая династия явно не складывалась не потому, что у Сталина не было прямых наследников. Советская власть, уходящая своими корнями сразу в две антимонархические революции — Октябрьскую и Великую французскую, в те годы еще не достигла степени вырождения, свойственной сегодняшнему северокорейскому режиму или кубинской семейной диктатуре, а российский патент на изобретение «тандема» тогда еще не был выдан. Поэтому в Москве в марте 53 года некому было выкрикнуть с Красной площади: «Генсек умер, да здравствует Генсек!»

К тому же бесспорного кандидата в преемники просто не было. Около опустевшего кресла Вождя толпилась группа приближенных, торопившихся поскорее зарыть, точнее говоря, уложить в мавзолей тело того, кто еще накануне в очередном приступе подозрительности или паранойи мог расправиться с каждым из них. В отличие от ситуации с похоронами Ленина, им было понятно, что наилучшие шансы на правопреемство власти будут не у того, кто предстанет самым верным учеником ушедшего лидера, а у того, кто, воздав ритуальные почести усопшему, постарается поскорее отмежеваться от установленного им режима тотального страха.

Те, кто окружал Вождя, конечно, лучше, чем скорбевшие по поводу его смерти миллионы советских граждан, знали о грузе его преступлений уже потому, что сами были к ним причастны и не хотели, чтобы его упавшая статуя придавила их, заставив разделить с ним ответственность за годы террора. Вот почему среди потенциальных наследников развернулось лихорадочное соревнование за исправление допущенных ошибок и «перегибов» — их надо было на кого-то списать.

Особенно усердствовал в «отмывании» своей репутации главный опричник вождя Лаврентий Берия, недавний всемогущий шеф Министерства внутренних дел и всего сталинского репрессивного аппарата. Тот самый, которого Сталин в предвоенную эпоху флирта с Гитлером игриво представлял визитерам из Берлина «нашим Гиммлером». Именно по указанию Берии началась срочная «чистка» карательных органов, в первую очередь от тех, кто своим поведением или показаниями мог скомпрометировать его самого. Спешно остановили уже заведенные судебные дела, в том числе пресловутое дело «врачей-убийц», принявшее форму подлинного еврейского погрома, и объявили первую массовую амнистию для тысяч заключенных ГУЛАГа (главным образом, уголовников).

Берии это не помогло, и в борьбе за власть, развернувшейся у подножия опустевшего трона Генсека, он проиграл группе объединенных страхом перед ним остальных членов сталинского окружения во главе с Хрущевым. Летом 53-го его арестовали и вскоре расстреляли как английского шпиона, не дав права даже на публичный «кремлевский процесс» по типу тех, что в свое время он сам готовил. Можно с уверенностью предположить, что если бы в схватке в кремлевских коридорах победил Берия, то такими же «английскими» или «японскими» шпионами оказались бы Хрущев и его сообщники. Но история, как мы знаем, не имеет сослагательного наклонения...

Презумпция виновности

Как ни парадоксально, даже возвращение бывших заключенных из ГУЛАГа не изменило радикально атмосферы в стране. Большинство вернувшихся избегали говорить о своем лагерном прошлом. Одни — потому, что чисто психологически, чтобы выжить и приспособиться к новой жизни, хотели забыть прежнюю, оставить ее только в снах и ночных кошмарах и не делить неподъемный груз с близкими им людьми.

Другие молчали, потому что не могли поверить, что пережитый ад окончательно и бесповоротно ушел в прошлое, а «оттепель» не сменится новыми заморозками. К тому же, по крайней мере до доклада Хрущева и начала работы Комиссии по реабилитации, большинство из них выпустили на свободу просто по милости государства и уж, конечно, без его объяснений или извинений. А значит, дарованная по прихоти новых руководителей свобода могла быть в одночасье отобрана их преемниками или ими же самими.

Нельзя забывать, что и само советское общество включало в себя в те времена две хотя и неравные, но вполне сопоставимые части — зэков и вертухаев. «Полстраны — этапники, — писал Роберт Рождественский, — полстраны — конвойные». Александр Яковлев определил их еще жестче: «поколение расстреливающих и поколение расстрелянных». Неожиданное для многих открытие лагерей привело к встрече тех и других (по крайней мере, выживших).

Помимо сидевших и охранявших было немало и доносивших — в одном только зловещем 1937 году обратившихся в «компетентные органы» с поклепами на своих соседей и знакомых насчитывалось четыре миллиона (по данным бывшего заместителя председателя КГБ Леонида Шебаршина). Наконец, были и те, кто не доносил, но просто послушно поднимал руки для осуждения, исключения или разоблачения, кто подписывал коллективные «письма трудящихся». Те, наконец, кто занимал должности, освобождавшиеся их арестованными коллегами, или квартиры репрессированных. Кого-то сажали и расстреливали, а кто-то приходил на их место и делал головокружительную карьеру, становясь в 30 лет генералом, в 28 директором завода или наркомом. Все они иногда добровольно, а иногда и против воли или в силу конформизма превращались в шестеренки гигантского репрессивного механизма, перемалывавшего жизни и судьбы людей.

Атмосфера распространенной на всех «вины» неведомо за что перед властью превращала людей в персонажей кафкианского «Процесса», не понимавших, в чем они виноваты, но готовых во всем признаться, как это делали подсудимые на процессах 30-х годов и Артур Лондон в фильме Коста Гавраса, и заранее смириться с уготованной карой. Эта «презумпция» тотальной виновности превращала практически любого советского гражданина

в подозреваемого, а все общество — в коллективного заложника сталинизма.

Эта отработанная методика всех диктатур и тоталитарных режимов (о подробностях можно справиться в работах Ханны Арендт) брать все общество в свои «подельники» создавала своего рода массовую культуру коллаборационизма, разъедала, коррумпировала сознание людей. Режиму нужны «виноватые» подданные: ими легче управлять. Каждого из них, когда понадобится, можно, даже не призывая к ответу, подтолкнуть к предательству или хотя бы «мягкому» сотрудничеству, из которого, как из дегтя, ни одна птичка не освобождает свои коготки.

И все-таки даже по сравнению с другими «родственными» случаями Россия и через четверть века после того, как перевернула советскую страницу истории, демонстрирует свою самобытность. До сих пор памятники основателю уже давно не существующего государства стоят на площадях наших крупных городов и протянутыми руками по-прежнему указывают новым поколениям дорогу в исторический тупик. Мумия «вечно живого» Ильича «на всякий случай» хранится в пирамиде мавзолея у Кремлевской стены, а портреты усатого продолжателя его дела носят, как хоругви во время крестного хода, его неутешные поклонники. Похоже, что мы наблюдаем уникальный случай «стокгольмского синдрома», когда взятая в заложники режимом целая страна боится расстаться со своими тюремщиками.

Наблюдая за современным российским обществом, многие западные комментаторы объясняют растянувшийся на десятилетия, нерешительный и постоянно спотыкающийся процесс выхода России из сталинизма тем, что в отличие, в частности, от нацистской Германии здесь так и не прошла своя «денацификация», не состоялся бескомпромиссный суд не только над Сталиным

и его пособниками, но и над большевизмом — режимом, сввергшим страну в национальную катастрофу.

При всем уважении к современной германской демократии не будем забывать, что очищение от гитлеризма произошло после и в результате его сокрушительного поражения и под жестким присмотром со стороны разгромивших Германию держав-победительниц (и их оккупационных войск). Примерно то же можно сказать и о демилитаризации Японии и высадке в японскую почву генералом Макартуром ростков современной демократии.

Советская Россия, к счастью для народов этой страны (и, думаю, для всего мира), свою мировую войну не проиграла, а вышла из нее победительницей. Это означало, что избавление от сталинизма предстояло осуществлять самостоятельно, без наркоза, роль которого играл бы синдром поражения, и без опоры на оккупационные войска.

Кто в такой ситуации мог бы взяться за организацию советского «Нюрнберга»? Кто взялся бы отделить оказавшихся на скамьях подсудимых от тех, кто выступил бы в роли судей? Ведь среди репрессированных были и ни в чем не повинные «щепки» от дров, нарубленных бесчеловечным режимом, и «мученики догмата», фанатики первых революционных лет, сами ставшие палачами или их подручными.

Эраст Глинер, один из советских диссидентов, прошедший войну и уцелевший, несмотря на три ранения, и переживший уже после победы десять лет сталинских лагерей, написал: «Ужас преступлений против человечности, совершенных в обществе, которое в лице своих органов власти их поощряло, состоит в том, что виновник — часто и преступник, и жертва одновременно».

Кого и в какой форме надо в этих условиях «десталинизировать»? Прямых соучастников сталинских преступлений? Тех, кто их допускал и оправдывал? Или тех,

кто уже в наши дни носит портреты Сталина как свою икону и использует память о народной победе, оплаченной почти тридцатью миллионами жизней, как индульгенцию для «прекрасного генералиссимуса»?

Но если юридический Нюрнберг для осуждения большевизма невозможен уже потому, что некому организовать над ним «суд победителей», то тем важнее другой, более бесспорный «Верховный суд» — моральный, называемый покаянием. Именно он мог бы стать подлинным национальным судом чести. Надо ли напоминать, что в конце концов именно такое покаяние за преступления нацизма — его символом навсегда останется коленопреклонение Вилли Брандта перед жертвами еврейского гетто в Варшаве — в большей степени, чем приговоры Нюрнбергского суда, позволило немцам вернуться в европейскую семью.

У нас вместо того чтобы пригласить общество к коллективному искуплению греха сталинизма и застраховаться от его возможных рецидивов, режим, опасаясь того, что вскроется его внутренняя органическая связь с преступником, поспешил откреститься от него, выдав стране коллективную справку о реабилитации. Не поэтому ли всякий раз застревали на подороге работы нескольких комиссий по разоблачению сталинских преступлений? Не могли «найтись» секретные протоколы — приложения к пакту Молотова — Риббентропа, «затерялись» на дне «личного сейфа» вождя документы Политбюро, санкционировавшие расстрел двадцати тысяч пленных польских офицеров под Катынью.

Не был использован и предложенный замечательным фильмом Тенгиза Абуладзе «Покаяние» шанс осмыслить корни коллективного помрачения, в которое погрузилась целая страна на несколько десятилетий. А ведь прав был Михаил Гефтер, предупреждавший, что «уходящий век, взятый в целом, не может быть понят

и «передан» в наследство веку XXI, пока не будет раскрыта тайна сталинизма, раскрыта преодолением его».

Не поэтому ли российское, уже по всем документам постсоветское общество до сих пор страдает рецидивами прошлого, потому что не решилось начистоту объяснить с собственным прошлым? Иначе не понять, почему в течение всех шестидесяти лет после смерти диктатора российская почва, как подземная грибница, продолжала воспроизводить его призрак в новых облициях. Почему, несмотря на попытки преемников Сталина — Хрущева и Брежнева — размежеваться с «культом личности», кремлевские руководители все время неотвратно «сползали» к обрыву сталинизма. Почему и по сей день сталинизм продолжает гнуть спину целой стране, не давая выпрямиться, как жернов на шее, как не сбитое кольцо кандалов на ноге, выдающее беглого каторжника.

А что, если дело не в одном только «прежнем режиме»? И поэтому его смена, как удаление одной только злокачественной опухоли, не гарантирует остальной организм от метастазов? Иначе мы не наблюдали бы в этом уже давно не большевистском бульоне старых бактерий. Может быть, «тайна сталинизма» в том, что он в такой же степени проклятие российского общества в XX веке, как и его собственное порождение? И тогда наконец найдется объяснение «российского парадокса»: ностальгии не по прошлому, а по будущему «Сталину». В ней, вопреки попыткам Хрущева несколько раз похоронить Вождя и горбачевской перестройке, тоска еще значительной части общества по царю и «отцу родному», стон поста-мента по венчающей его статуе.

Если так, то надо думать не столько об организации «российского Нюрнберга», сколько о том, как найти способ десталинизации *homo sovieticus*. Евгений Шварц в своей пьесе устами благородного Ланселота, победите-

ля городского Дракона, сообщает о его грустном открытии: оказалось, убить главного Дракона мало. Теперь ему предстояла куда более трудная задача: убить драконов в каждом из жителей освобожденного им города.

Пока Россия продолжает искать ответы на эти вопросы, Сталин еще не проиграл свое пари: ему явно не грозит «московский процесс» и он, ухмыляясь в усы и раскуривая свою трубку, может быть, под другим именем, поджидает нас за очередным поворотом российской истории.

Оттепель

Первый послесталинский — 1954-й — год вошел в историю как год «оттепели», по названию вышедшей в этом году повести Ильи Эренбурга. В стране, где тысячи граждан в это время возвращались домой из Сибири, с Колымы и других территорий, скованных вечной мерзлотой, это слово сразу приобрело политическое звучание. Страна, названная поэтом Павлом Антокольским «ледяным казематом», постепенно оттаивала, обнаруживая, что существует жизнь после Вождя и без него. Нового «хозяина» на горизонте пока не было видно, хотя расставленные повсюду монументы усатому идолу продолжали отбрасывать на всю страну густую тень.

Мы с родителями жили, как и большинство тогдашних москвичей, в коммунальной квартире. В ней было две комнаты — по одной на семью — с общими кухней и туалетом, что, по меркам того времени, считалось роскошью, если вспомнить Высоцкого: «На двадцать восемь комнаток всего одна уборная». В нашей комнате мы жили вчетвером: родители и я с бабушкой.

Ванной не было, и к набору моих обычных детских радостей добавлялся еженедельный поход с отцом в бли-

жайшую баню. До сих пор с восторгом вспоминаю о каменных скамьях, залитых мыльной пеной, и блаженном ощущении чистой простыни, в которую отец завертывал меня, поставив на дерматиновое сиденье лавки в раздевалке. Эти еженедельные праздники продолжались до тех пор, пока мой неутомимый отец-инженер не втиснул ванну в один из углов коммунальной кухни, из-за чего к периодически возникавшей очереди в туалет добавилась и очередь на кухню.

Соседом по лестничной клетке был мой сверстник и тезка, тоже Андрей по фамилии Горбачев. В школе нас посадили за одну парту и учителя часто путались, вызывая то ли Грачева, то ли Горбачева. Я тогда, разумеется, не усматривал в этом никакого перста судьбы или знамения, предвещавшего, что наши фамилии в будущем вновь сойдутся.

Избавившись от «шума в сердце», я с охотой ходил в школу, тем более что она была по тем временам не вполне обычной. По неведомым причинам в Москве «в порядке эксперимента» открыли две средние школы с углубленным изучением иностранных языков — английского и французского. Преподавателей для них отбирали по всей Москве, так что их ученики оказались в руках высокого класса профессионалов.

Мы по несколько часов ежедневно учили язык и разыгрывали по-английски пьесы Оскара Уайльда и Бернарда Шоу. А поскольку в те времена советские школы были еще отдельными, женские роли приходилось, как в китайской опере, исполнять переодетым мальчишкам. Правда, совсем уж в монастырском теле нас не держали и регулярно на танцевальные вечера приглашали девочек из соседней женской школы или даже из балетного училища.

Хотя наши учебники за исключением классиков английской и американской литературы были утверждены

еще сталинскими цензорами, теплый ветер «оттепели» гулял и по школьным коридорам. В наши головы все настойчивее лезли сомнения и вопросы, ответов на которые учебники не давали.

Как-то на уроке истории я спросил преподавателя-фронтовика по прозвищу Сэм — звали его на самом деле Самуилом Евсеевичем, — была ли популярной у населения война с Японией, в которую Советский Союз вступил по настоянию американцев летом 45-го года, уже после капитуляции Германии. Для Сталина эта война после Отечественной была еще одним «паем», который он вносил во Вторую мировую, — благодаря ей он рассчитывал получить не только территориальные трофеи — Сахалин и Курильские острова, но и поучаствовать в послевоенном дележе разваливавшейся японской империи.

Разумеется, мой вопрос был с подвохом, как любой, ответ на который заведомо известен. Это был скорее тест для Сэма, чтобы посмотреть, как он выкрутится из деликатной ситуации: выберет ли официальную легенду, содержащуюся в учебнике, или скажет что-то уклончивое. И вдруг Сэм, сурово посмотрев в мою сторону, сухо и лаконично ответил: «Нет, не была. Многим было непонятно, за что они должны воевать и, может быть, умирать уже после Победы».

Урок истории вдруг превратился в урок правды и даже личного мужества, потому что, несмотря на всю мешанину в наших тогдашних мозгах, мы уже были достаточно взрослыми и достаточно долго прожили в нашей «предыдущей» стране, чтобы понять: отвечая нам «не по учебнику», Сэм вышел «за флажки». И, значит, показал нам пример.

Произожди этот эпизод год-два назад, он мог бы не сойти с рук и самому Сэму в обстановке нагнетавшейся антисемитской истерии, и тому, кто задал вопрос, как бы сомневаясь в том, что написано в учебнике. Но на дворе

стояла «оттепель» и, чтобы убедиться в этом, достаточно было выйти на московские улицы.

По вечерам в те «невнятные» годы в центре Москвы — на Пушкинской площади, на площади Маяковского, в Политехническом и во Дворце спорта в Лужниках — на выступления молодых тогда еще малоизвестных поэтов (Вознесенского, Евтушенко, Окуджавы, Рождественского, Ахмадулиной) собирались толпы молодых людей, как сегодня на концерты рок-групп, с той разницей, что эти поэтические вечера на самом деле были политическими демонстрациями.

Для России это не в новинку — от некрасовской строфы «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» до евтушенковской формулы «поэт в России больше, чем поэт» — именно литература, и в более широком смысле, русская культура — традиционно служила и укрытием от тоталитарного гнета (будь то царистский или советский), и невидимым рубежом сопротивления деспотическому государству.

После войны советский репрессивный аппарат, превзошедший царскую охранку, распространил «конвойную» модель тотального контроля над обществом на всю территорию стран Варшавского договора, где после показательных процессов в Варшаве, Будапеште и Праге любые формы легального политического протеста стали невозможны. И там единственной сферой общественной жизни, ускользавшей от тоталитарного катка, осталась духовная культура или религия.

Вспоминая эти годы, одна моя знакомая написала мне из Будапешта: «До падения Стены культура была нашим фронтом Сопротивления». В этом объяснение того, что в Восточной Европе политический протест, «Большой Отказ» от коллаборационизма с властями переместился в культурную или религиозную сферу, подготавливая «бархатные революции», которые в 1989 году

привели к власти в этих странах непрофессиональных политиков типа Вацлава Гавела, Тадеуша Мазовецкого, Лотара де Мезьера.

В советском обществе, забетонированном сталинизмом, подобная альтернативная политическая культура выжить не могла. Русская церковная верхушка, с давних времен «забритая» на государеву службу и перевербованная после революции органами ОГПУ и НКВД, тоже не предлагала для нее никакого укрытия.

Советский режим не был готов позволить интеллигенции играть даже символическую роль политической отдушины. Безошибочно вычислив в ней своего конкурента, советская власть сразу после революции повела на нее наступление. Самые выдающиеся представители российской интеллигенции были либо выдвинуты в эмиграцию, либо истреблены, либо морально раздавлены. В этих условиях груз ответственности за сохранение морального и духовного генофонда нации лег на исконную русскую культуру.

Война, потребовавшая крайнего напряжения всех физических и духовных сил нации, став периодом объявленного властями «национального единения» перед лицом смертельной опасности, на время ослабила удавку на шее интеллигенции. Однако после войны логика режима, одержимого стремлением господствовать, как напоминал Бердяев, сравнивавший большевизм с царизмом, «не только над телом, но и над душой народа», потребовала вернуть культуре отведенную ей функцию «приводного ремня» партии.

Последние годы сталинизма стали для деятелей культуры эпохой «ждановщины» — идеологического эквивалента «ежовщины». Принципиальной разницы между ними не было. Просто вместо того чтобы физически истреблять деятелей культуры, власть милостиво разреши-

ла им поступить к себе на службу. (Примерно такой же логикой руководствовались нацисты, отправляя перед уничтожением пригодных для принудительных работ евреев в строительные штольни и выбраковывая «беспольных» для Рейха женщин, стариков и детей.)

«Беспольных», с точки зрения Сталина и Жданова, представителей интеллигенции ждала судьба Анны Ахматовой, Михаила Зощенко или Дмитрия Шостаковича.

Я помню, как тайком передавались из рук в руки в переплетах с вытисненными портретами основоположников марксизма официально запрещенные цензурой книги. Составлявшим эти «закрытые» списки цензорам можно было посочувствовать — ведь им приходилось их постоянно расширять и обновлять, поскольку туда попадали не только навсегда вычеркнутые из национальной культуры «белогвардейские» или эмигрировавшие авторы, но и, казалось, вполне лояльные, а иногда даже преданные новой власти советские классики.

Были в этом ответственном деле и свои тонкости, и курьезы. В Большой советской энциклопедии, например, значился термин «троцкизм» с соответствующей зубодробительной характеристикой, однако в персоналиях нельзя было найти имени Троцкий. Бывало и так, что под запрет попадал не «целиком» автор, особенно из классиков, которого трудно проигнорировать, как например, Достоевского, а его отдельные «незрелые» произведения, вроде «Бесов».

У Михаила Булгакова или Николая Эрдмана могли идти в театрах «дозволенные» пьесы, а сами авторы в это время, как невидимую «желтую звезду», имели «волчий билет», лишавший их права не только на творческую, но и практически на любую работу. Даже Сталинская премия, присужденная вождем «под настроение» кому-то из мэтров литературы или совсем молодым дарованиям, как Виктору Некрасову и Юрию Трифонову, не служила

охранной грамотой от последующей немилости или беспощадных репрессий.

Но и во время «идеологической мерзлоты» подлинная русская культура, уйдя в катакомбы частных библиотек, в подполье самиздата и эмигрантских изданий, как подземная река, продолжала питать мысли, чувства и надежды людей. По образному выражению Даниела Белла, за годы сталинизма советская интеллигенция научилась «дышать под водой».

От притеснения властей убегали, как когда-то казаки на Дон или в Сибирь, в последнюю территорию свободы: вольный русский язык, великую литературу и изумительную поэзию. Генрих Бёлль однажды написал: «Во всех государствах, где царствует террор, слова боятся едва ли не больше, чем вооруженного восстания... И язык становится последним прибежищем свободы». Этот текст, переведенный Копелевым на русский, стали передавать из рук в руки в самиздате.

Кто-то уходил в русскую культуру, как в церковь, особенно после того, как атеистическое государство объявило новой религией коммунизм. Для них она стала не только моральным убежищем, чем, впрочем, была и раньше, но и возможностью нравственного воспитания детей. Им нанимали частных учителей музыки и отдавали их в балетные школы для того, чтобы хоть на несколько часов вырвать их из шестеренок машины тотальной лоботомизации, прививать вкус к прекрасному, воспитывать сострадание и чувство личного достоинства.

Некоторые, впрочем, для безопасности предпочитали укрываться в язык иностранный. Сергей Прокофьев приводит в своих воспоминаниях о Москве 1928 года занятный эпизод, приключившийся с наследием поэта Серебряного века и замечательного эрудита Валерия Брюсова. После его смерти управляющие советскими архивами настойчиво осаждали его вдову, добываясь от нее

архива и дневников мужа. В конце концов она передала им личные заметки писателя, которые он почему-то вел на древнегреческом языке. Расшифрованный текст вызвал замешательство: в своих записях Брюсов, не стесняясь в выражениях, поносил большевистский режим. Пожалуй, уникальный пример того, как греческий язык буквально использовался в роли эзопова.

Заставляя детей учить иностранные языки (отсюда и такой интерес к нашей школе), многие родители надеялись открыть им другие миры и помочь когда-нибудь вырваться за шлагбаумы государственных границ. Вот почему, когда со смертью Сталина неожиданно разжались челюсти людоедского режима, из-под бетонных плит тотального государства на белый свет явились «дети подземелья», не только перечитавшие всю классику и бредившие поэтами Серебряного века, но и готовые сами сказать новое слово стране, десятилетиями приученной слушать своих вождей и аплодировать им.

Это «ювенильное море», выплеснувшееся на московские улицы и площади, страницы «Нового мира» и журнала «Юность», проветрило спертую атмосферу, в которой в последние годы жила Москва, колеблясь между надеждой и страхом у кровати умирающего вождя. Оказалось, что российское общество — это не обтесанное бревно с сибирского лесоповала, а живой ствол, еще способный давать зеленые побеги.

Новые правители страны не очень представляли, как вести себя с этой буйной свежей порослью. Было понятно, что прежние, сталинские методы обращения с интеллигенцией в новой ситуации непригодны. Другой же методики власть, еще не определившаяся с собственным политическим лицом и курсом, выработать не успела.

Пройдет какое-то время, прежде чем партийные вожди, сначала Хрущев, а потом и Брежнев, отладят новую методику работы с «мастерами культуры». Впереди

будут и эмоциональные хрущевские импровизации — от гражданской казни Пастернака и публичного разноса в Манеже художников-авангардистов до бульдозерной атаки на полотна художников не-конформистов и брежневских процессов над Синявским и Даниэлем, занесения в списки «непечатных» авторов «Тарусских страниц», «Метрополя» и отъездов за границу Солженицына, Зиновьева, Ростроповича, Бродского, Максимова, Галича, Любимова, Войновича...

Но это все еще в будущем. Пока же на дворе стояла неожиданная оттепель, и, хотя никто не знал, сколько времени она продлится, тем больше оснований было ей воспользоваться и вести себя, как если бы страна хоть на время встала с головы на ноги. Тем более что после смерти вождя даже его бывшие подручные должны были перевести дух и, главное, разобраться между собой в вопросе о реальном преемнике.

Мой главный секрет

Отцовский трофейный радиоприемник стоял в нашей комнате на шкафу почти под потолком — считалось, по-видимому, достаточно высоко, чтобы мне его было не достать. Это было заблуждением. Поставив на стол табуретку, я легко к нему добирался и, главное, научился виртуозно манипулировать ручками настройки так, что вой «глушилок» полностью не перекрывал радио «Свобода».

Помню, каким шоком для меня, четырнадцатилетнего подростка, еще три года назад горько плакавшего из-за трагедии, которую, как я считал, переживал со мной весь мир в марте 1953, стали отрывки из текста хрущевского доклада, доносившиеся из отцовского радиоприемника. Чтобы прочитать его опубликованным в советской печат-

ти, пришлось ждать 50 лет и прихода горбачевской перестройки.

Послесталинское руководство недолго оставалось коллективным. В политических саях действуют те же законы, что и в звериных. Солидарность тех, кого еще вчера объединял общий страх перед ненасытным Драконом, а после его смерти стремление обезопасить себя от его реинкарнации в облике Берии, ненадолго пережила расстрел «английского шпиона».

Срочно выяснить, кто станет вожаком, требовалось не только из-за неизбежного столкновения личных аппетитов и амбиций, но и потому, что система, унаследованная от Вождя и которую бывшие сталинские придворные не собирались менять, просто не была приспособлена к коллегиальному управлению. Уже через несколько месяцев после пересдачи карт в Кремле самый амбициозный и темпераментный из наследников Хрущев добился своего назначения на пост первого партийного секретаря. Однако для непререкаемого лидера одних дворцовых интриг недостаточно, нужен политический прорыв. Таким рывком Хрущева к единоличной власти, как у велогонщика, решившего оторваться от обременяющего его «пелотона», стал его «секретный» доклад на XX съезде КПСС в феврале 1956 года с разоблачением культа личности Сталина.

Доклад, недолго остававшийся секретным благодаря источникам ЦРУ и радиоволнам «Свободы», вызвал подлинное политическое землетрясение. И в стране, и в международном коммунистическом движении, и в мировой политике. Не говоря уже о психологическом потрясении, каким стало для всей страны превращение вчерашнего «отца родного» и корифея всех наук в тирана, злодея и преступника.

Доклад Хрущева, донесенный волнами «Свободы», меня, разумеется, ошеломил, и не только из-за картины

ужасных преступлений. Я впервые понял: не все, что слышу в официальных сообщениях, — правда. И, соответственно, не все, что рассказывают по радио «вражеские голоса», — ложь. Со своими вопросами я благоразумно решил не приставать на уроке истории к нашему преподавателю Сэму, чтобы в очередной раз не ставить его в затруднительное положение и не подводить собственного отца, объявляя на весь свет, что у нас дома есть приемник, позволяющий слушать то, что слушать не позволено.

Так я и сидел в классе со своим государственным секретом, чувствуя себя почти преступником. Ведь если государство что-то запретило, а ты его ослушался, значит, ты — враг. Ни врагом государства, ни тем более «врагом народа» я, правда, себя не считал и поэтому просто отгонял от себя эти неразрешимые вопросы. После того как я разуверился в стопроцентной истинности передач московского радио, безоговорочно я уже не верил никому. Оставалось смириться с мыслью о том, что существуют разные правды. Так я стихийно открыл для себя собственную теорию относительности. Она меня и в последующей жизни не подводила.

Но мой главный секрет, конечно, не сводился к прослушиванию «вражеских» голосов. В конце концов, многие безнаказанно грешили этим при условии публично в этом не признаваться.

Это было по-своему логично. Ведь, продекларировав разрыв с лагерными методами конвоирования общества к «светлому будущему», когда «шаг влево, шаг вправо карался расстрелом», новая власть не отказывалась от заложенной в систему идеологической матрицы. И требовала от граждан постоянной дани в виде демонстрации «всенародной поддержки». Не имея другой легитимности — политической, юридической, конституционной, — узурпировавшая власть правящая партия искала ее в «перманентном референдуме» с заранее известным исходом.

С приходом Хрущева открытое принуждение заменялось на добровольный коллаборационизм или как минимум на конформизм. До совершенства эту формулу, конечно, довели в брежневские времена. Эпоху, пришедшую на смену сталинскому террору, я бы назвал Эрой Имитации (или эпохой лицемерия, что почти одно и то же). Она предполагала негласный «общественный договор»: от советских граждан требовалось делать вид, что они поддерживают правящий режим, в обмен власть делала вид, что им верит.

Разумеется, только общество, запуганное годами Большого террора и постоянно оглядывавшееся назад в ожидании того, что он может вернуться, чуть ли не с благодарностью соглашалось на такую сделку, рассматривая ее как колоссальный прогресс. Хотя, с другой стороны, разве это не было прогрессом по сравнению с пережитым? В конце концов прав Эйнштейн: все в этом мире относительно.

Чтобы выжить или хотя бы благополучно прожить при этой власти, главное было знать не столько то, о чем можно говорить вслух, но и о чем надо молчать. Формулу выживания (а для кого-то и преуспевания) сформулировал в одной из своих песен Александр Галич: «И не веря ни сердцу, ни разуму, / Для надежности спрятав глаза, / Сколько раз мы молчали по-разному, / Но не против, конечно, а за!.. / Промолчи — попадешь в первачи! / Промолчи, промолчи, промолчи!» Сам он молчать отказывался, за что и был подвергнут сначала опале, а потом высылке из страны.

Я по негласному уговору, существовавшему в семье, молчал о своей «секретной» тетке, которая еще в предвоенные годы вышла замуж за итальянского дипломата и уехала с ним за границу. Поскольку в анкетах, заполняемых советскими гражданами начиная с окончания школы, одним из самых «взрывоопасных» был вопрос «имеете ли вы родственников за границей?», моя мама,

наивно полагая таким образом облегчить жизнь семье, после войны с сестрой не переписывалась и со мной о ней не говорила. Это позволяло и мне делать вид, будто я о «родственниках за границей» не знаю и, соответственно, не должен «портить» этим криминальным признанием свою анкету.

Эта уловка, как я потом убедился, разумеется, не обманывала наши всезнающие «органы», должно быть, ухмылявшиеся, перелистывая мою анкету, но формально приличия были соблюдены. Кроме того, на дворе все еще стояла послесталинская оттепель, и «чистая» анкета, которую я не без трепета, как фальшивый паспорт, отнес в приемную комиссию Института международных отношений, неожиданно для меня самого не помешала поступлению. В сталинскую эпоху даже «неизвестная» мне заграничная тетка автоматически закрыла бы двери этого института.

Позже, вспоминая школьные годы и своих одноклассников, я как-то подумал: скорее всего, каждый из нас в те годы держал крепко зажатым в кулачок какую-то личную тайну, которой нельзя поделиться даже с близким другом. У кого-то в семье был «враг народа», осужденный, сосланный или репрессированный. У других, как у меня, родственники жили за границей или оказались на время «под оккупантами». Наконец, у третьих пресловутый «пятый пункт» в анкете. Под этим нейтральным термином подразумевался вопрос об одной национальности — евреях. Недаром в одном из анекдотов той эпохи в ответ на вопрос о национальности им предлагалось писать «да».

Хрущев — бой с тенью Сталина

Хрущева, в отличие от Сталина, я не только видел вблизи, но даже переводил на вьетнамский. Происходило это в только что построенном Кремлевском дворце

съездов на приеме по поводу проходившего в Москве Международного форума молодежи. Я к этому времени был студентом восточного отделения МГИМО, учил вьетнамский и в качестве переводчика сопровождал делегацию приехавших на форум вьетнамских комсомольцев.

Никита Сергеевич появился в сопровождении Суслова и Микояна и произнес в присутствии ему энергичном стиле речь о текущем международном моменте. Поскольку в то время КПСС вела ожесточенные идеологические бои с братской китайской компартией, обвинявшей Москву в ревизионизме, он обрушил свой пыл на маоистов и их последователей. Мои вьетнамцы опасались, как бы дело не дошло до них, но все обошлось.

Вспоминая атмосферу хрущевской «оттепели», породившей поколение шестидесятников, известный социолог Татьяна Заславская считает, что доклад Хрущева на XX съезде «можно сравнить со столкновением эпох — безнадёжного тупика и реальной надежды».

Противоречивая фигура Хрущева до сих пор вызывает ожесточенные споры между его убежденными сторонниками и не менее категоричными обличителями. О корнях его яростного и неожиданного для многих антисталинизма сказано и написано, в том числе им самим, немало. Хулители Хрущева, число которых даже многие годы спустя после его отстранения от власти и смерти в 1971 году не уменьшается, видят в его выступлении на XX съезде кто безответственную импровизацию, кто политическую уловку с целью ослабления позиций своих просталинских соперников, кто попытку замаскировать ответственность за собственное участие в преступлениях режима.

Объясняют одержимость Хрущева темой культа личности и психологическими мотивами: желанием расквитаться со своим бывшим шефом за страх и унижение,

которым он, как и остальные члены сталинского окружения, постоянно подвергался, и свести задним числом сче- ты с тираном, под дудку которого он плясал иногда в бук- вальном смысле слова.

Не менее многочисленные сторонники и поклонни- ки Хрущева — и среди них, разумеется, миллионы быв- ших жертв ГУЛАГа (или их потомки) — готовы принять на веру объяснения, приведенные им в мемуарах и вы- глядящие более чем убедительно. Это в первую очередь преступное, с точки зрения Хрущева, искажение Ста- линым коммунистического идеала и методов его дости- жения. Присутствует в его объяснениях и моральное негодование по поводу цинизма и жестокости вождя, расправлявшегося не только со своими соперниками, но и с невинными людьми, руководствуясь то ли тем, что он понимал под политической целесообразностью, то ли собственной прихотью.

Зная путь самого Хрущева, который привел его в круг приближенных Сталина, можно понять сомнева- ющихся в его полной искренности. Морально безупреч- ных в этом кругу не было, как и тех, кто не был «повязан» вождем обязательным соучастием в творимых им злоде- яниях. «И все же, все же, все же...», как писал Твардов- ский. Почему бы не истолковать сомнение в пользу обви- няемого, как принято в беспристрастных судах?

Как известно, политиков судят не по их объяснениям и оправданиям, написанным задним числом в мемуарах, а по реальным поступкам и их последствиям. Проблема с Хрущевым в том, что из его поступков можно выстро- ить как «бетонную» линию его защиты, так и разгромное обвинительное заключение. В том числе в вопросе о его отношении к Сталину.

Вообще, трудно отделаться от впечатления, что приз- рак вождя даже после его смерти продолжал пресле- довать Хрущева. И чем яростнее он стремился от него

освободиться, тем коварнее оказывались ловушки, расставленные развенчанным сатрапом на пути своих преемников. Не успел Хрущев символически низвергнуть сталинскую статую с пьедестала, как вдохновенные его докладом поляки, чехи и венгры принялись физически освобождаться от наставленных по всей Восточной Европе истуканов, одетых в сапоги и долгополые шинели. В результате, начав 1956 год с обличения сталинизма, уже осенью перед лицом массовых уличных демонстраций в Польше и антисоветского восстания в Венгрии Хрущев обратился к сталинским методам для «защиты интересов мирового социализма».

Если в случае с Польшей гибкая позиция недавно освобожденного из тюрьмы «ревизиониста» Гомулки уберегла Варшаву от советского военного вторжения, то в октябре этого года, не найдя понимания с «титистом» Имре Надем, Хрущев послал в Венгрию подавлять «контрреволюционный мятеж» танковые дивизии, возможно, те же самые, что участвовали в боях «за город Будапешт» в 1944 году.

Тень Сталина преследовала Хрущева и дальше. В 1957 году он изгнал из партии Маленкова, Молотова и Кагановича — своих последних, не считая Микояна, соучастников по застольям на сталинских дачах. А уже год спустя присоединил к своей должности верховного партийного босса титул премьер-министра и, таким образом, даже перещеголял Сталина по официальным постам.

В 1961-м Хрущев собрал внеочередной съезд партии, чтобы принять решение о выносе мумии Сталина из мавзолея и переименовании Сталинграда в Волгоград. И в этом же году доделал за Сталина неоконченное им сооружение «железного занавеса», перегораживающего Европу, законопатив с помощью Берлинской стены последнее оставшееся в нем отверстие.

Он дал добро Твардовскому на публикацию в «Новом мире» повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и, как говорят, даже собирался присудить за него автору Ленинскую премию. И он же, устроив позорное аутодафе Пастернаку за зарубежную публикацию «Доктора Живаго», вынудил его отказаться от Нобелевской премии по литературе.

Один и тот же Хрущев, демонстративно порывая со сталинским угрюмым вызовом Западу, протягивал руку сотрудничества Америке и, по-купчески куражась, обещал «закопать капитализм». Он же поставил в 1962 году мир на грань третьей мировой войны, отправив тайком под видом «советского сельскохозяйственного оборудования» ядерные ракеты на Кубу.

Но со всеми своими экстравагантными метаниями между размежеванием со Сталиным и подражанием ему, контрастным душем, который он регулярно обрушивал на советское общество и мировую политику, существовала черта, обозначенная им докладом на XX съезде, — ее он никогда не пересек в обратную сторону: он назвал сталинское правление преступным и распахнул однажды ворота ГУЛАГа.

Уже одним этим он крайне затруднил любые попытки реабилитировать Сталина и подретушировать сталинизм своим преемникам и другим желающим вернуть назад икону вождя или позаимствовать его методы.

Чем же закончился поединок Хрущева и с призраком вождя, приобретавшим разные обличья, да и с самим собой — ведь и ему приходилось сдирать с себя сталинскую шинель, «выдавливает из себя по капле» собственного внутреннего «Сталина»? А главное, удалось ли Хрущеву и взбудораженному им советскому обществу перевернуть сталинскую страницу своей истории? Вопрос этот даже 60 лет спустя после похорон

вождя в марте 1953 года остается открытым, а в чем-то становится и заново актуальным.

Согласно опросу, проведенному по случаю 50-летней годовщины XX съезда, 47% нынешних россиян считали, что в целом Сталин сыграл положительную роль в истории России, и лишь 29% — отрицательную. Стабильно больше половины россиян полагают, что нашему народу нужна «сильная рука», сильный и властный руководитель, а 15% хотели бы, чтобы вся полнота власти была сосредоточена в одних руках.

Не в последнюю очередь потому, что Сталин для российской истории, в том числе и нынешней постсоветской, это не просто конкретный исторический персонаж или лицо, узнаваемое по усам и трубке. Это до сих пор неизжитый морок, постоянное искушение российской политической истории и традиции.

Черты исторического русского «сталинизма», ставшего, подобно «бонапартизму», нарицательным понятием, можно без труда обнаружить и в предшествующих российских правителях от Ивана Грозного до Петра. Отсюда нескрываемая тяга самого Сталина к этим фигурам, его подлинным кумирам, и настойчивое подталкивание советских деятелей культуры — от Эйзенштейна до Алексея Толстого — к их мифологизированному изображению.

Значит ли это, что для освобождения, как от наваждения, от вируса сталинизма, отравившего «российскую ДНК», необходимо предпринять подлинную культурную революцию общества, не ограничиваясь Постановлениями об осуждении культа личности и реабилитацией его жертв, к чему свелась антисталинская кампания Хрущева? Видимо, да. И именно поэтому тридцать лет спустя Горбачеву пришлось если не начинать все заново, то продолжать с того места, где остановился Хрущев.

Но и в этой работе Хрущев остается безусловным и ценным союзником тех, кто надеется когда-нибудь довести ее до конца. Не только тем, что он вслух сказал правду о Сталине в феврале 56-го, или тем, что снес памятники, которые многие хотели бы вернуть на место. Но еще больше переменами, которые произошли при нем.

Эти изменения в облике и менталитете целой страны в хрущевские годы в большей степени подорвали шансы сталинизма на сохранение и возрождение, чем все постановления хрущевского ЦК с обличением культа личности. Самонадеянный Хрущев за нескольких лет своего правления, может быть, сам того не желая, поколебал такие важные опоры советской системы, как страх перед властью и перед внешним врагом.

Пирамида страха

Именно этот тщательно культивируемый двойной страх долгие годы служил основной опоркой пирамиды сталинского режима. Поверив с пылом новообращенного большевика в то, что коммунизм не нуждается в реках крови и километрах колючей проволоки для утверждения своего исторического превосходства над капитализмом, и положив конец сталинской системе террора, Хрущев демонтировал важнейший элемент советской государственной структуры. Впрочем, только ли советской? Вспомним советы, которые давал своему Государю Макиавелли, объяснявший, что для укрепления власти правителю, конечно, следует добиваться народной любви, но еще важнее заставить себя бояться. Правда, не забудем, что пособие «политтехнолога» Макиавелли написано в XVI веке.

Следующий по важности сдвиг, которым обязаны Хрущеву миллионы советских граждан, — массовая ликвидация коммуналок и начало расселения городских жителей в отдельных квартирах с туалетами, ванными и горячей водой. Эта перемена в повседневной жизни большинства населения страны, кроме создания нормальных, хотя и далеких от роскоши, условий человеческого существования, стала одновременно социальной и культурной революцией. Разрушив барачный мир коммуналок, она открыла возможность для начала частной жизни миллионов, дала толчок к формированию новой психологии людей и к зарождению будущего советского среднего класса.

Естественно, в этих условиях российская почва занялась своим привычным делом: воспроизводством из наличного материала нового культурного слоя. И поэтому среди первых покупок обладателей отдельных квартир наряду с недоступной им ранее собственной мебели, холодильниками и телевизорами были обязательные книжные шкафы, а нередко пианино и даже рояли.

И все-таки главное наследие хрущевской эпохи — то, что она позволила всего лишь за несколько лет политической «оттепели» родиться и подрасти «детям XX съезда» — поколению будущих могильщиков сталинской системы — «шестидесятникам», среди которых окажется и Горбачев. Думаю, что могу отнести себя по возрасту к последним, замыкающим строй отрядам этого поколения. Александр Герцен в 1860 году писал в «Колоколе»: «Да дайте же хоть одному поколению, пресловутые просветители, воспитаться человечески, глядя всему в глаза, безбоязненно говоря свою мысль, открыто *рукоплеская*, открыто *собираясь...*»¹

¹ Колокол. 1860. 1 января. Цит. по факс. изд.: Колокол. М., 1962. Вып. 3. С. 494.

Избавленное Хрущевым от сталинского террора поколение не было в своей массе готово бросить вызов всему режиму. Советские «шестидесятники» могли удовлетвориться подаренной им Хрущевым возможностью отделить их социалистический идеал от «извращений сталинского режима». Их можно было понять. Как писал поэт-диссидент Иван Ахметьев, «стебель, пробившийся сквозь трещину в асфальте, принимает форму этой трещины».

Они поэтому дружно устремились в брешь, открытую хрущевским секретным докладом: гипотетический зазор между Лениным и Сталиным. Иначе говоря, в иллюзорное пространство между первоначальным революционным проектом, опиравшимся на народную поддержку и революционную легитимацию, и его «извращенным», запятнанным кровью осуществлением. То есть между благородной целью и низкими, преступными методами ее достижения (в ту пору вопрос о возможной связи между тем и другим их еще не интересовал).

Третий устой сталинизма, рухнувший в хрущевские годы, — закрытость СССР для внешнего мира. Но не надо заблуждаться — выезд за границу по-прежнему оставался под строжайшим контролем КГБ и партийных органов, и до отмены выездных виз советским гражданам придется ждать прихода Горбачева. И тем не менее уже при Хрущеве, несмотря на Берлинскую стену, в соцлагере впервые распахнулись окна в окружающий мир.

В Москву приехала Американская выставка вместе с тогдашним вице-президентом США Никсоном, и тысячи ее посетителей смогли увидеть сверкающий мир американских автомобилей и бесплатно попробовать «империалистический» напиток — пепси-колу. А вскоре и сам Хрущев поехал в США и повез в подарок президенту Эйзенхауэру модель первого в мире советского спутника.

Он, конечно, имел все основания гордиться его создателями, но не представлял себе тогда все необратимые геополитические последствия его запуска.

Кружившийся над Землей спутник еще не отменял государственные границы, но уже предвещал неизбежное крушение «железного занавеса» и падение Берлинской стены за 4 года до того, как она появилась. Открыв дверь к будущему появлению глобальных средств массовой информации, спутник уже тогда, в разгар холодной войны, обесценивал титанические усилия агитпропа по прославлению советского образа жизни и анонсировал неминуемое отмирание «глушилок».

И в этом тоже проявилась «святая простота» неопифита Хрущева, который в отличие от умудренного Сталина не осознавал, что важнейшим условием сохранения советской власти, помимо репрессивного режима, было поддержание у ее подданных полного незнания окружающего мира. Только лишая возможности сравнивать, советская пропаганда поддерживала у советских людей ощущение того, что они живут в лучшем из возможных миров. Ибо выращенная в советской среде уникальная политическая культура могла существовать только в наглухо запаянной колбе. Без этого советский перевернутый мир должен был под действием всемирного закона тяготения накрениться и в конечном счете опрокинуться.

Парадокс хрущевского периода в советской истории в том, что то, что Хрущев по праву считал выдающимися достижениями советской науки и техники и своими стратегическими козырями в споре с Западом — запуск Спутника и полет Гагарина в космос, — стало одновременно историческими прорывами страны в общемировую цивилизацию и уже поэтому разрушало стену, отгораживавшую СССР от реального мира.

...О первом человеке в космосе я услышал по радио утром 12 апреля в институтском буфете перед началом занятий. Бронзовый голос диктора Юрия Левитана в это утро звучал примерно так же торжественно, как в мае 1945-го, в День Победы. И, как в День Победы, на Красную площадь стихийно хлынула многотысячная толпа людей. Площадь ликовала и праздновала, размахивая портретами парня в авиационном шлеме и самодельными, никем не утвержденными лозунгами. Не глядя на трибуну мавзолея и не приветствуя стоящих там вождей, просто потому, что в этот момент там никого не было.

Здесь мне, наверное, пора открыть свой *личный альбом*. Перебирая накопившиеся в нем портреты, я решил начать с Гагарина, потому что мы могли бы назвать себя «поколением Гагарина». Среди многих счастливых встреч, подаренных мне судьбой за прожитые годы, было и несколько дней, проведенных вместе с космонавтом во время поездки молодежной делегации во Францию. На память о ней и осталась эта история.

АЛЬБОМ: Гагарин — Гагон

Нас было пятеро — четыре официальных представителя советского комсомола, приглашенных французскими молодыми коммунистами, и пятый переводчик — я. И хотя делегацию возглавлял тогдашний шеф советского комсомола Сергей Павлов, для всех, думаю, включая и его самого, мы — не более чем почетный эскорт для Гагарина. Что-то вроде звена истребителей, сопровождающих на воздушном параде своего флагмана. Все в делегации были молоды и без конца подшучивали друг над другом. Юра меня называл то Дроздовым, то Скворцовым.

Уже полет в одном самолете с Гагариным не мог не быть особенным. Командир экипажа, естественно, приветствовал его на трапе, как главу государства. Во время полета Юра повел себя совсем не как почетный пассажир, а пошел в кабину к пилотам, чтобы хоть ненадолго посидеть за штурвалом. Видимо, мальчишеское желание «порулить» было у него в крови. Точно так же он не мог остаться обычным пассажиром и на прогулке по Сене на парижском «бато-муш». И там, пожав руки обомлевшим от восторга речникам, он попросил разрешения постоять у штурвала, пока мы плыли под парижскими мостами.

Получив в виде своего гостя такой «царский подарок», как сам Гагарин, французские коммунисты при организации программы старались изо всех сил. Поскольку главной их опорной базой в то время были рабочие предместья больших городов и провинциальные муниципалитеты, нашу делегацию повезли не по замкам Луары, а по маленьким городкам и сельским дорогам Франции. Думаю, что самого папу римского ревностные католики в своих приходах не встречали с таким почти религиозным восторгом, как жители французской провинции, получившие шанс встретить первого в мире космонавта. В ту пору для многих коммунистов по всему миру полет Гагарина олицетворял не только прорыв человека к звездам, но и триумф социальной системы, в преимуществе которой над западным миром им так хотелось верить.

Когда мы только въезжали в один из таких городков, на центральной площади нас уже ждало все его население, и остановившуюся машину окружало такое плотное кольцо, что, казалось, невозможно будет открыть дверцу. В таких ситуациях уже привычный Гагарин переходил на «ручное управление». Надвинув поплотнее свою летную фуражку, он говорил мне: «Ну, что, Андрей, пойдём слона поводим», и как будто прыгая с парашютом нырял в толпу.

Даже в зоне такой человеческой «турбулентности» он ухитрялся постоянно сохранять безукоризненно бравый внешний вид и свою «звездную» улыбку. А ведь каждому хотелось не только увидеть вблизи человека-легенду, прикоснуться к нему или вручить подарок. Запомнилась одна старушка, упорно ездившая за нами из одного городка в другой, возя с собой кошку, которую во чтобы то ни стало хотела подарить Гагарину.

Случались и курьезы. Однажды, оказавшись заблокированными в пробке на площади Звезды, мы увидели, как из соседней машины, высунувшись почти по пояс из окна, в нашу сторону призывно машет симпатичная француженка. Гагарин, уже привыкший ко всеобщему вниманию, приосанился, лучезарно улыбнулся и помахал девушке в ответ. А та вдруг закричала кому-то совсем в другой машине: «Гастон, Гастон!» Мы захохотали, а Гагарин сконфузился. С тех пор и до конца поездки мы звали его «Гастоном».

В самолете на обратном пути в Москву я подсел к Гагарину и сказал: «Юра, я столько французам помог получить твой автограф, а у меня на память от тебя ничего нет». Достав оставшуюся у него на мое счастье цветную фотографию, он что-то написал. Я перевернул ее и прочел: «Андрею Грачеву (Дроздову, Скворцову) на добрую память. Юрий Гагарин (Гастон)».

Вудсток в Москве

...В 1957 году я оканчивал среднюю школу. Совместные усилия моих преподавателей, а также английских и американских классиков принесли результаты: с английским языком я и мои одноклассники управлялись довольно уверенно. И уж конечно мы не могли упустить такого уникального шанса в нем попрактиковаться, как Молодежный фестиваль, открывший Москву для тысяч молодых людей со всех континентов.

Только тот, кто видел столицу в середине 50-х, еще не освободившуюся от сталинской шинели, может в полной мере оценить масштаб потрясения, пережитого ею во время фестиваля. На Москву, помпезный административный город, обрушился разноцветный водопад многотысячной и многоязычной молодежи. В условиях, когда советским гражданам самим увидеть внешний

мир не позволяли, оказалось, что его можно пригласить к себе.

Замысел Хрущева и его окружения состоял, видимо, в том, чтобы явить миру новый образ социализма, избавленного от оспин сталинизма. Что могло лучше служить этой цели, чем приглашение в Москву «юности планеты», представленной, разумеется, «антиимпериалистической» молодежью — от молодых коммунистов из лояльных нам зарубежных партий до разноликих антиколониалистов, борцов за национальную независимость, тьермондистов и прочих юных бунтарей, объединенных революционным пылом и антизападными настроениями.

Москва 1957 года стала, в сущности, антиподом «Москвы 37-го», описанной Лионом Фейхтвангером в его книге диалогов со Сталиным. Психологический эффект от превращения советской столицы хотя бы на неделю в «открытый город» был ошеломляющим. Он за несколько дней разрушил старательно внедрявшийся официальной пропагандой в сознание людей образ внешнего мира как угрозы для советского государства.

В принципе, в апелляции большинства тоталитарных режимов к молодежной массе и ее нерассуждающему порыву и разрушительной энергии нет ничего необычного. «Ящики с инструментами» у любого тоталитаризма — фашистского, коммунистического, теократического — практически не различаются и легко переходят из одних рук в другие.

Но, как правило, они нуждаются в символе: Большом Брате, отце народов, дуче, фюрере, аятолле, которых можно восславить, или сатане и дяде Сэме, чье чучело или портрет сжечь. У участников Московского фестиваля 57-го года не было идола, на которого им было бы предложено молиться или свергать. В результате он неожиданно для советских организаторов превратился одновременно и в очередные, на этот раз праздничные, похороны Стали-

на и связанной с его именем эпохи, и в предтечу будущего Вудстока.

Вместе с еще лежавшей в мавзолее рядом с Лениным мумией Вождя собравшаяся в Москве молодежь символически хоронила и холодную войну, и климат страха, в котором ее, как будущих солдат, состязаясь друг с другом, стремились воспитать руководители как Востока, так и Запада.

До падения «железного занавеса» оставалось еще более тридцати лет. Но для того чтобы это в конце концов произошло, может быть, стоило никому не известному провинциальному комсомольскому секретарю из Ставрополя в качестве «советского комиссара» итальянской делегации встретиться в Москве с ее руководителем Энрико Берлингуэром и провести с ним свои первые политические дебаты. Конечно, у автора итальянского «исторического компромисса», как и у инициатора советской перестройки, впереди были годы размышлений, испытаний и тысячи встреч, но московский фестиваль, безусловно, оказался для них, как и для других его участников, шагом в новое время.

В далеком от описываемой эпохи 1839 году посетивший Россию французский путешественник маркиз Астольф де Кюстин, размышляя над порядками в стране в Николаевскую эпоху, заметил: «Этот режим не переживет более двадцати лет общения с Западом». Как будто вняв его предостережениям, сменявшие друг друга российские политические режимы, расходясь во всем, в одном были едины — в стремлении ради самосохранения помешать общению российского общества с внешним миром.

Два события, произошедшие в 1957 году и, казалось бы, ничем не связанные друг с другом, — московский фестиваль летом и запуск первого советского спутника осенью, — разгерметизировав закрытую политическую

систему, оставили первые пробоины в днище советского «Титаника». Тридцать лет спустя он затонул. Маркиз де Кюстин ошибся ненамного. (Недаром другой проницательный исследователь советского строя, американец Джордж Кеннан, заметил, что полностью справедливость анализа Кюстином российского общества Николаевской эпохи, которую многие считали пристрастной, если не карикатурной, нашла свое подтверждение век спустя, уже в советской реальности.)

...Вместе с моим приятелем, надев клетчатые рубашки, что, как нам казалось, делало нас похожими на американских ковбоев, мы развлекались тем, что во время поездок в московском метро громко разговаривали друг с другом по-английски. Все это должно было выглядеть настолько нелепо, что не вызывало ничего, кроме улыбок наблюдавших этот детский спектакль пассажиров. Нас, разумеется, это не смущало. Москва жила в эти дни в лихорадочном ритме политического карнавала, который, взорвав распорядок советской размеренной жизни, позволял всем желающим примерить на себя любые маски.

Разумеется, еще несколько лет назад нам, примерным комсомольцам, не пришло бы в голову прикинуться американскими ковбоями, а уж реакция окружающих точно не была бы такой снисходительной. Но эти нравы и с ними атмосфера затянувшейся гражданской войны постепенно уходили в прошлое. Москва оттаивала на глазах и не только на время фестиваля. На центральной улице Горького открылся первый коктейль-холл, пластинки с американским джазом уже можно было слушать в компании с приятелями, не опасаясь, что соседи напишут политический донос по месту работы родителей. А самые отчаянные модники отваживались бросать открытый вызов официальной морали, надевая уже не клетчатые рубашки, а узкие брюки и даже клетчатые пиджаки, на которых комсомольский значок с профилем Ленина выглядел бы неуместно.

В отличие от старшего поколения шестидесятников, продолжавших держать в своем красном углу ленинскую икону, дети «оттепели» готовы были с легкостью распрощаться с «вечно живым» основателем советского государства. И не потому, что придерживались антисоветских взглядов. Их вызов системе заключался в их аполитичности. Они хотели просто выйти из марширующих колонн официальных демонстраций, требовали права на частную жизнь, на то, чтобы стать частью остального мира. Они зачитывались Сэллинджером, и Василий Аксенов со своим «Звездным билетом» стал для них их Керуаком.

Тем временем «оттепель» распространилась на внешнюю политику и превратилась в советско-американскую разрядку. Хрущев поехал в Америку открывать для себя секреты урожайности кукурузы и рассказывать американским конгрессменам о том, что в Советском Союзе межконтинентальные ракеты изготавливаются на конвейерах с такой же скоростью, как сосиски.

Но уже через год так же внезапно, как началась, «разрядка» закончилась. Полет американского летчика Пауэрс на самолете-шпионе «У-2» через территорию СССР разъярил Хрущева и привел к срыву саммита «большой пятерки» в Париже.

Во внешней политике, как и во внутренних делах, конвульсивная политика Хрущева без продуманного плана реформ создавала проблемы. Кукуруза на советских колхозных полях отказывалась приносить американские урожаи, и даже накормить свое население сосисками оказалось не так просто. Горизонт неосторожно обещанного Хрущевым через 20 лет пришествия коммунизма явно отодвигался.

Как обычно в подобных ситуациях, компенсацию нарастающим внутренним проблемам режим начал искать во внешней политике. Строительство Берлинской стены в августе 1961 года и последовавший через год ракетный кризис в октябре 1962-го чуть было не привели к третьей

мировой войне. Меня все эти проблемы живо интересовали, поскольку к этому времени я уже учился на восточном отделении Института международных отношений.

Лицей у Москвы-реки

Как часто бывает в молодости, выбор моей судьбы определил случай. Оканчивая школу, я колебался между факультетом журналистики МГУ и МГИМО, но поскольку вступительные экзамены в МГИМО были на месяц раньше и в случае неудачи оставался еще один шанс, я прагматично начал с дипломатии. И поступил, несмотря на весьма жесткий отбор среди школьников.

Наверное, не меня одного охватывает грусть, когда проезжаешь по Крымскому мосту: на месте бывшего института — не он, а его стены, саркофаг для воспоминаний. Хотя, с другой стороны, хорошо, что ИМО оттуда уехал, — это позволяет его выпускникам хранить его в памяти таким, каким он был, когда принадлежал им.

В конце 50-х, в соответствии с очередной хрущевской кампанией, при поступлении в вузы, почти как в ранние послереволюционные годы, приоритет — «позитивная дискриминация» — отдавался «трудовым» слоям, прошедшим моральную закалку на заводах, стройках или армейской службе. Школьников как «политически незрелых» терпели, но отбирали более придирчиво. В результате ИМО тогдашнего времени по своему социальному составу не имел ничего общего с нынешним элитно-коммерческим заведением, студенты которого приезжают на «бентли» и «феррари» и соперничают друг с другом, щеголяя в одежде известных марок и купленных на деньги родителей драгоценностях.

В нашей разночинной среде немногочисленных школьников держали в черном теле и предлагали им

в нагрузку учить экзотические иностранные языки стран «третьего мира», чтобы они не рассчитывали на престижные дипломатические посты на Западе. Это, впрочем, не противоречило моим тогдашним планам, в результате чего я оказался на восточном отделении и получил шанс в качестве приложения к неведомому мне тогда вьетнамскому языку выучить французский, поскольку на политической карте мира Индокитай еще продолжал числиться французским.

Во Вьетнаме (Северном) я побывал только однажды, в 1962 году. Как студента, изучавшего вьетнамский язык, меня пригласили поработать переводчиком на советской промышленной выставке в Ханое. Я был приставлен к группе советских вертолетчиков, демонстрировавших вьетнамцам, съезжавшимся из разных уголков страны, достижения советской техники, и даже получил разрешение посидеть за штурвалом нашего Ми-8, разумеется, под присмотром первого пилота. К нашему вертолету ежедневно выстраивалась большая очередь — по уговору с властями мы катали в небе над Ханоем передовиков труда и крестьян из сельхозкооперативов, вызывая у них почти детский восторг. Ханой, тихий тенистый город, наслаждавшийся в то время короткой передышкой между двумя войнами, остался в моей памяти символом недостижимой в западном мире гармонии между человеком, природой и временем, секрет которой знает только Восток.

Конечно, любой университет или институт — это прежде всего его преподаватели. Если в чем и проявлялся элитарный характер нашей *alma mater*, так это в том, что, отколовшись после войны от Московского университета, наш институт оказался под присмотром профессионалов — дипломатов из МИДа, а не идеологов из Министерства образования и «комиссаров» ЦК, и смог собрать под своей крышей цвет тогдашних специалистов в сфере истории, международного права и социальных наук.

Среди них были чудом уцелевшие осколки старой российской профессуры, укрывавшиеся за стенами нашего ведомственного вуза от идеологических чисток и кампаний по борьбе с космополитизмом. Были и либералы-«шестидесятники», которые, пережив зиму сталинизма в глухом духовном подполье, подняли голову, решив не упустить шанс, быть может, последний в их жизни. И те, и другие видели в нас, их студентах, материал, из которого можно построить заслон от возвращения сталинизма.

ИМО стал для многих его выпускников Отечеством, как Царскосельский лицей для Пушкина или Арбат для Булата Окуджавы. Он был вольной республикой, на верность которой присягал каждый, кто пересекал порог Дома у Москвы-реки. И, таким образом, приучал нас к двойному подданству: державе, которая была нашим работодателем, и Институту, чьему свободолюбивому духу мы не имели права изменить. Разбредаясь по посольским должностям и министерским постам, по редакциям и кремлевским закоулкам, выпускники ИМО разносили по белу свету, подобно эмигрантам, свое малое Отечество на своих подошвах.

Разумеется, нельзя вообразить, что наш МГИМО мог даже в ту смутную промежуточную эпоху стать вольной академической территорией, советской Сорбонной или Нантером за десять лет до 68 года. Как и все вузы в стране, институт должен был исполнять спускавшиеся сверху сумбурные директивы хрущевского окружения, почти как колхозники, которым в приказном порядке предлагалось засеять кукурузой сибирские поля.

Так, однажды нам велели проводить на всех курсах комсомольские собрания «по китайскому методу» — нечто похожее на сеансы самобичевания, которому подвергают себя входящие в религиозный экстаз участники шиитского «Ашура». Выступающим предлагалось пуб-

лично покаяться в проступках против общества, включая тайные крамольные мысли, и потом перейти к публичным доносам на товарищей.

К счастью, после нескольких вымученных сеансов такого политического садомазохизма эту бредовую затею благополучно забыли. Спасло нас от дальнейшего погружения в маразм то, что как раз в эти годы разгорался советско-китайский идеологический конфликт.

Под герметичным колпаком советского строя ИМО играл роль форточки, открытой во внешний мир. Начинающим дипломатам по роду службы положено знать поле своих будущих сражений, изучать противника, привычки и приемы «классового врага», чтобы бить его его же оружием. Это значило — знать языки не хуже выпускников Иняза, историю и философию на уровне истфака и филфака МГУ и в дополнение еще читать зарубежные газеты, слушать враждебные «голоса» и даже, если сочтут достойным, ездить за границу на практику.

Институт был добротной школой, обучение не всегда проходило в аудиториях, некоторые семинары переносились в располагавшийся неподалеку в парке Горького чешский пивной ресторан «Пльзень». Кроме языков, международного права и истории КПСС были и формально не входившие в программу уроки труда (на целине и строительстве Метромоста), уроки гласности (во время затягивавшихся до утра редакционных «бумов» институтской стенной газеты «Международник») и обучения демократии (когда наш курс вызвал для проработки на собрании самого ректора).

Счастливо избежав советского варианта «культурной революции», мы устроили в стенах института свой мини 68 год, хотя на дворе еще было только начало 60-х. «Революция» на нашем курсе вспыхнула, почти как восстание на «Потемкине», из-за случайного повода. Ректор по каким-то причинам, о которых не счел нужным нас инфор-

мировать, отменил давно запланированный студенческий праздничный вечер. Отправившуюся к нему на дом за объяснениями депутацию он даже не пустил на порог.

Мы восприняли это как оскорбление не только из-за того, что срывался давно готовившийся «капустник», куда уже пригласили в наш преимущественно мужской вуз студенток из соседнего Иняза. Возмутила бесцеремонность ректора, видимо, исходившего из того, что в его вузе, как в казарме, решения начальства не обсуждаются.

К большому удивлению ректора, на курсе вспыхнул мятеж. В отличие от матросов с «Потемкина» мы не заперли своего «капитана» в его каюте, а вызвали на свое комсомольское собрание. По неосторожности или самонадеянности он пришел и вместо прокурора оказался в роли обвиняемого. Причем обвинили мы его, ни много ни мало, в «антипартийном поведении». Поняв, что, если такая формулировка из протокола собрания попадет наверх, ему несдобровать, ректор отступил. Вечер состоялся.

Была у нас в институте и своя «вольная пресса» — предшественница одновременно и эпохи гласности, и китайских дацзыбао — настенная газета «Международник». В одном из студенческих капустников мы назвали ее «Международник» — партийная цензура пропустила. Каждые две недели огромный многометровый рулон нового номера газеты торжественно выносился из подвала, где накануне над ним ночь напролет трудилась редакция, и развешивался в оконном проеме между двумя этажами. В течение нескольких следующих дней студенты и преподаватели, облепив этот лист, читали, спорили, митинговали.

На моей памяти только единожды газета подверглась цензуре: ее номер был конфискован, а наш любимый главный редактор вызван в партийный комитет и наказан выговором за «незрелость». Это произошло, когда он

отважился поместить в газете результаты анонимного опроса студентов, которым предложили выставить оценки качеству лекций преподавателей. Понятно, что главными обвинителями на этом мини-процессе выступали преподаватели с кафедры истории партии, оказавшиеся в самом низу шкалы студенческого рейтинга.

Мне отвели в редакции амплуа фельетониста. Наш «главный» редактор, преподаватель политэкономии Эрик Плетнев, по прозвищу Рыжий, хотя от прежней рыжины у него оставались только брови, даже предлагал мне завести регулярную рубрику с названием, на которое его вдохновил Андре Вюрмсер из «Юманите» тех лет: «Но, говорит Андре Вюрмсер...»

Плетнев предложил мне это после моей заметки, где я отважился затронуть тему «выездных комиссий». Поскольку критерии того, разрешать или запрещать студентам практику за границей, были неясны, я написал, что наилучший способ определить, достоин ли тот или иной поездки за рубеж — отправить его туда и посмотреть, что из этого получится. Заметку редактор опубликовал, но после очередного посещения парткома к своему предложению о постоянной рубрике больше не возвращался.

АЛЬБОМ:

Алена

Институт стал для меня и местом рождения моей семьи, подарив мне спутника всей жизни — Алену. На самом деле ее звали Алла, но поскольку в звучании этого имени мне слышалась некая холодность, я решил его смягчить, мой вариант Алена восприняла благосклонно — это был первый шаг к нашему будущему союзу.

Я давно заметил ее в институтских коридорах, но как подойти к девушке-выпускнице зеленому студенту второго курса?! Судь-

ба распорядилась так, что мы оказались вместе в поезде, мчавшем молодежную ватагу из института в студенческий лагерь в Крыму. Я помог ей выйти из вагона, она подала мне руку — и в этом я увидел знак свыше. «Напрасно стараешься, — предупредил меня приятель, — она помолвлена, у нее есть жених!» Вокруг нее в самом деле вились поклонники.

Чем я мог ее привлечь? Что подарить в нашей нищей и прекрасной юности?! Я доставал и приносил ей американские сигареты (большую редкость в то время) — она небрежно курила, изображая светскую даму. Вечерами дома я клеил для нее бумажные бусы из обрезков глянцевых журналов, чем озадачил свою маму, — она бросилась расспрашивать моего друга, что со мной происходит. Забросив учебу, я получил на экзамене единственную тройку за все шесть лет учебы. Когда у отца Алены я просил ее руки (тогда еще были приняты эти церемонии), он произнес с явным сочувствием: «Но ведь она старше вас!», на что я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Она обещала, что меня не бросит!»

По понятным причинам в моем личном альбоме больше всего ее фотографий — ведь наш союз продолжается уже больше 50 лет. Не в последнюю очередь потому, что мы, как оказалось, оба исповедовали формулу счастья, сформулированную Оскаром Уайльдом: «Не быть тщеславным, любить и быть любимым, жить на природе и выражать себя в творчестве».

Если утверждение о том, что браки совершаются на небесах, нуждается в доказательствах, мы готовы их предъявить. Думаю, что большей частью того, кем я стал и что сделал за прожитую жизнь, я обязан Алене, — не удивлюсь, если она скажет то же самое о себе.

Михаил Жванецкий дал совет девушкам при выборе спутников: «Выбирайте умных. Из умных — выбирайте красивых, из красивых — веселых». Алена утверждает, что следовала этому совету еще до того, как его услышала. Я тоже. С понятной для мужчины оговоркой: начав свой отбор среди красивых.

Мне повезло вдвойне: я нашел, и, главное, во время, когда мне едва исполнилось 20 лет. Недаром тем, кто родился, как я, в год Змеи по восточному календарю, приписывают обостренную интуицию. Меня она не подвела. Как сказал однажды мой хороший

друг Георгий Гачев, русско-болгарский философ и культуролог, которому, по-видимому, повезло так же, как мне, «если удастся сразу найти женщину твоей судьбы — это экономит массу времени в последующей жизни и позволяет использовать его для других полезных занятий». Я с ним согласен.

«Умом Россию не понять, а чем понять, опять неясно»

К середине 60-х наша беспечная студенческая жизнь подходила к концу и наступало время определяться с выбором реальной профессии и будущей работы. К этому времени, несмотря на пять лет, отданных изучению вьетнамского языка, я понял, что перспектива стать дипломатом и занять свою ячейку в чиновничьем улье меня не привлекает. Я колебался между двумя вариантами: журналистикой, манившей еще со времени окончания школы, и продолжением учебы в аспирантуре у руководителя моей дипломной работы — выдающегося советского социолога Юрия Замошкина.

Когда я пришел к нему посоветоваться насчет темы диплома, он, порывшись в стопке книг, лежавших у него на столе, протянул мне одну и сказал: «Вот с кем вам было бы неплохо попкироваться, попробуйте. Если получится, это и будет ваш диплом». Автор книги оказался именитым — один из наиболее авторитетных американских советологов из Гарварда Адам Юлэм. Его последняя книга, только что вышедшая в США, откуда ее и привез Замошкин, называлась «Новое лицо советского тотализма» (*The New Face of Soviet Totalitarianism*).

Чем руководствовался мой мэтр, выпуская меня, еще не обстрелянного в идеологических боях новобранца, на противоборство с «матерым антисоветчиком» — так

характеризовали тогда Юлэма наши контрпропагандисты, — трудно сказать. Может, хотел, прежде чем брать меня в аспиранты, проверить, на что я способен. А может быть, считал полезным приучать студентов знакомиться с современной политологией Запада по первоисточникам, а не по карикатурным схемам и официальным пропагандистским клише.

Каков бы ни был педагогический замысел Замошкина, я отнесся к его предложению серьезно и на 170 страницах своей дипломной работы разнес в пух и прах солидную теоретическую конструкцию Юлэма, доказывавшего, что советский коммунизм — не будущее человечества, на что он претендует, а всего-навсего извращенный вариант постфеодальной модернизации на пути к истинному будущему — индустриальному капиталистическому обществу.

Юлэм справедливо определил главный «врожденный порок» советского коммунизма: то, что он был, в сущности, до-, а не послекапиталистическим и из-за этого обременен сразу двумя неподъемными веригами: неизжитыми феодальными отношениями и не в последнюю очередь российской исторической и культурной спецификой. Эту специфику Юлэм, посвятивший изучению России свою профессиональную карьеру, должен был хорошо прочувствовать. Недаром он предпослал своей книге в качестве эпиграфа строчку из Тютчева: «Умом Россию не понять...»

Этот эпиграф побудил меня для начала прочесть стихотворение Тютчева целиком и позволил погрузиться в хрустальный мир замечательного поэта и мыслителя. Вернувшись к Юлэму, я вышел на бой с его анализом советского тоталитаризма, размахивая своей «маленькой красной книжечкой» цитат из классиков марксизма, описывавших, разумеется, не сталинский каземат, построенный «в одной отдельно взятой стране» (вряд ли он

мог им привидеться в страшном сне), а сверкающий во-
ображаемый мир коммунистического проекта.

С помощью этих цитат мне не составило труда до-
казать, что Юлэм безнадежно отстал от времени, что
его «индустриализм», объявленный им на тридцать лет
раньше Фукуямы, в сущности, «концом Истории», будет
вот-вот отправлен на свалку, а будущее, разумеется, за
истинным современным социализмом, который сейчас
в Советском Союзе эффективно очищается от сталин-
ских извращений.

Видимо, я ухитрился нащупать какие-то слабые мес-
та в интеллектуальной конструкции Юлэма, позволив-
шие моему мэтру Замошкину не только засчитать мою
работу за успешный диплом, но и, к моему изумлению,
предложить переделать ее в статью для respectable-
го журнала «Вопросы философии». Перечитывая сегод-
ня свое восторженное ученическое творение, я, разуме-
ется, испытываю неловкость.

Тем не менее, при том что и профессионально, и ин-
теллектуально наши с Юлэмом силы были не равны,
думаю, один общий аспект в наших текстах нас, можно
сказать, уравнивал. Этот аспект — упрощение. Обо мне
и говорить не стоит, что взять с «дерзкого щенка», только
что вылупившегося из советского «инкубатора» и начи-
тавшегося текстов, которые не одно десятилетие кружи-
ли и куда более достойные головы.

Юлэма же можно упрекнуть лишь в том, что, не про-
ведя различия между сталинской эпохой и хрущевской
оттепелью, представив ее в виде всего лишь разновиднос-
ти то ли советского, то ли генетического русского тоталитаризма, он недооценил потенциал реальных перемен,
которые она обещала тогдашнему советскому обществу.

Другое дело, что сами эти изменения в случае, если
у Хрущева хватило бы духа довести их до конца или хотя
бы им не препятствовать, должны были неизбежно при-

вести, как это произошло тридцать лет спустя с Горбачевым, к взрыву большевистской модели и, естественно, утрате власти самим реформатором.

Недаром у того же Тютчева я нашел, что «великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению...»

Мне кажется, что в начале 60-х советское общество проскочило важнейшую историческую «развилку», выражаясь термином Гефтера, еще позволявшую ему, избавившись от сталинизма, принять современный облик без того, чтобы пережить новый кризис поиска идентичности и, кто знает, может быть, даже распада СССР. Как писал один из «шестидесятников», советский философ Игорь Пантин, трагедия «советской цивилизации» (термин Синявского) состояла в том, что «процесс ее распада обогнал зарождение и победу (теоретическую) возможных новых форм».

В этом, вероятно, в очередной раз проявилась фатальная черта российского исторического развития — незавершенность тех последовательных стадий роста, которые необходимо пройти каждому организму в процессе его взросления, чтобы не тянуть за собой в будущее проблемы непреодоленного прошлого. В результате каждый новый виток российского развития начинался практически с нуля после того, как старый мир разрушался «до основания», а затем начиналось строительство нового здания — оно оказывалось поразительно похожим на разрушенное.

Так, оборванный революцией, не развившийся в полную силу капитализм, не успевший произвести в россий-

ском обществе не столько масштабные экономические и социальные преобразования, сколько необходимую культурную работу, сменился оборванным социализмом. Тот в свою очередь рухнул, не успев, после десятилетий пребывания в сталинском карцере, предъявить обществу (и миру) возможную альтернативу. Задним числом для всего можно найти объяснение и оправдание — груз российской исторической традиции, войны, сначала Отечественная, потом холодная и т.д. Но дела это не меняет. Конечно, как любая версия гипотетической истории, моя гипотеза неопровержима, поскольку не зависит от подтверждения реальными фактами. Кроме того, я честно признаю, что отношу себя, может быть, к «последним из могикан» — арьергарду уже почти исчезнувших «шестидесятников», и осознаю, что роль любого арьергарда — прикрывать отход и, увы, уход со сцены основных сил...

Готовность Хрущева в годы первой разрядки пойти на серьезное сокращение военных расходов и переключить их на развитие гражданской экономики открывала перспективу для реального повышения уровня жизни. И политическая атмосфера, очищенная разоблачением культа личности и распахнутыми воротами ГУЛАГа, позволяла рассчитывать на некий новый «общественный договор» между советской властью и остальным обществом.

Партийная номенклатура еще не успела, как это произойдет в брежневские времена, замкнуться в изолированном от остальной страны комфортабельном коконе своих привилегий. Социальные лифты, опираясь на эффективную систему образования, поднимали наверх и, главное, перемешивали представителей разных категорий населения (моя школа и разночинный МГИМО были подтверждением правила, а не исключениями). И даже зловецкий КГБ, пережив «античистки» в послебериевские времена, был, казалось, посажен на надежную цепь партийного, то есть политического и даже юридического контроля.

Казалось, еще несколько шагов по пути экономических и политических реформ, и общество, перевернув страницу сталинского кошмара и при этом сохранив привлекательный для многих социалистический ориентир, сможет предъявить своим гражданам и всему миру вполне конкурентную и современную модель развития.

Это впечатление разделялось тогда не только воспрявшими романтиками возвращения к «чистым истокам» ленинизма — «шестидесятниками», но и стоявшими на почве либерально-демократических взглядов сторонниками левой альтернативы «дикому капитализму» не только в СССР. В эти годы стали популярны разнообразные варианты теорий конвергенции социализма и капитализма, которые должны были, почти как в мечтах бессмертной гоголевской невесты Агафьи Тихоновны, объединить нос одного жениха с ушами другого: социальные гарантии советской системы с эффективностью западной рыночной экономики.

Среди сторонников конвергенции были многие европейские социал-демократы, поверившие в приближение их исторического реванша над большевизмом, и вполне прагматичные социальные мыслители, такие как Андрей Сахаров и Кеннет Гэлбрайт. Будущий коллега Сахарова по Межрегиональной группе Гавриил Попов утверждал, что в 1956 году возможности для серьезного преобразования советского общества реально существовали: по его данным, на тот момент около 25% населения вело собственные хозяйства, практически не зависело от государства и могло бы спокойно войти в рыночную экономику. К тому же проекты реформ, продолжающих курс, объявленный на XX съезде, витали в воздухе, среди них — масштабная экономическая реформа Евсея Либермана, предлагавшего внедрять элементы рынка в советскую экономику.

Продолжая наши упражнения в воображаемой истории, можно представить себе и более рациональное поведение Хрущева во внешней политике, например, продолжение советско-американской разрядки, начатой в эпоху Эйзенхауэра, и даже прекращение холодной войны вместе с только что избранным Джоном Кеннеди за тридцать лет до падения Берлинской стены, которая, кстати, возможно, в этом случае и не была бы построена.

Все или почти все это, учитывая самодержавный характер власти, продолжавшей традиционно править в Кремле, и ее предельную концентрацию в руках очередного лидера, зависело от политической воли, кругозора и, конечно, чувства исторической ответственности одного человека. Но чтобы это произошло, надо было, чтобы сменившим Сталина политическим руководителем страны был, например, Дубчек или еще лучше Горбачев. Человек, готовый порвать не только с выродившимся в криминальную диктатуру сталинизмом, но и с большевизмом, с его дихотомным делением мира на тех, «кто с нами» и «кто против нас», с видением истории как нескончаемой классовой или гражданской войны.

Хрущев, разумеется, не был ни тем, ни другим. Не только из-за возраста, но прежде всего из-за политического менталитета. Ждать, что он решится заглянуть за горизонт диктатуры пролетариата и отважится пойти на отказ от монополии партии на государственную власть, было нереально. Для того чтобы это в конце концов произошло, стране еще предстояло пережить до конца весь маразм брежневизма и упереться в тупик афганской войны.

И все-таки не будем слишком строги к Хрущеву. Скорее всего, наш «гипотетический» Хрущев не смог бы совершить того, на что отважился и осуществил реальный, разрушая сталинизм привычными ему большевистскими методами. Ударная волна от начатой им деста-

линизации пришла, как волна цунами после подводного землетрясения, с опозданием на 30 лет. «Умру я, — написал Хрущев в своих мемуарах, — положат люди на весы дела мои. На одну чашу дела худые, на другую добрые. И добро перетянет».

Что же касается его обучения искусству внешней политики, то даже в условиях холодной войны этот одаренный самоучка, воспитанный в вере в историческое торжество коммунизма, смог выйти за пределы идеологической догмы и открыть для себя реальный мир. Мы хорошо помним, что, выбравшись из кубинского «ядерного окопа», Хрущев и Кеннеди договорились об установлении «красной линии» между Москвой и Вашингтоном и спланировали целую программу поэтапного ядерного разоружения. Но применить на практике обретенную ими обоими новую государственную мудрость не удалось. Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, а Хрущев смещен со своего поста коллегами по Политбюро меньше чем через год после этого, в октябре 1964-го. Развилка осталась позади.

100 Вьетнамов

Об убийстве президента Кеннеди я узнал раньше, чем большинство советских граждан, по простой причине — в ночь с 23 на 24 ноября 1963 года в качестве стажера международного отдела «Комсомольской правды» я дежурил в типографии. В мои функции входило придумывать заголовки для последних новостей на телетайпе, которые еще могли попасть в завтрашний выпуск газеты.

В крошечном закутке между гремящими линотипами, отведенном дежурному, на листке бумаги, прикрепленном к стене, были напечатаны варианты заго-

ловков — их надлежало использовать для материалов об официальных поездках советских руководителей за границу: «Встречи на дружественной земле...», «Рукопожатие дружбы», «Братские консультации руководителей», «Лидеры... смотрят в будущее с оптимизмом», «Прага (Будапешт, Кабул, Дели...) рукоплещет советскому руководителю».

Понятно, что к сообщению на телеграфной ленте в 10 часов вечера из Далласа ни один из них не подходил. Прочитав депешу о тяжелом ранении Кеннеди, я побежал ставить его на первую полосу под заголовком «Покушение на президента США». Но уже через несколько минут сообщили о его кончине. Сменив заголовок на «Убийство президента США», я отправил полосу на подпись главному редактору. Через полчаса, видимо, переговорив с начальством, редактор позвонил в типографию сам: «Не надо будоражить наших читателей. У них завтра рабочий день. Пусть будет нейтральнее — "Смерть президента Кеннеди"». Как будто он умер в постели. Так я получил первый практический урок советской журналистики.

К этому времени, увлекшись этой профессией, я уже написал несколько заметок в газету и по поручению редакции даже взял интервью у приехавшего в Москву Джона Стейнбека. На книжной полке стоит его томик с добрыми словами, надписанными мне и незнакомой ему Алене, о чем имени он сам галантно осведомился.

Но, как нередко бывает в молодости, случай вмешался снова, и я, изменив журналистике, принял предложение поехать представителем советского комсомола в штаб-квартиру Международной федерации молодежи в Будапеште. Так началась моя политическая биография. Эта дорога, на которую я не без колебаний вступил летом 1964 года, подарив уникальный опыт и встречи с сотнями моих сверстников и политиков из разных стран мира,

четверть века спустя приведет меня в сердце советской власти — Московский Кремль... за несколько месяцев до распада советского государства.

Именно ампула молодежного активиста позволило через год после моей заочной встречи с президентом Кеннеди в последние минуты его жизни увидеть в США его брата Роберта, приехавшего в студенческий кампус в Массачусетсе выступить перед участниками Всемирной ассамблеи молодежи. Среди других «звезд» американской политики там был этим летом и Мартин Лютер Кинг.

Кстати, именно поездка в США дала возможность и частично вернуть мой личный долг Вьетнаму, где после 62-го года я больше никогда не бывал. Оказалось, что для этого не обязательно возвращаться в Ханой, достаточно было оказаться в Массачусетсе в августовскую ночь 1964 года, когда после инцидента в Тонкинском заливе президент Джонсон, а за ним и Конгресс США приняли решение о бомбардировках ДРВ и ее столицы Ханоя. С этой провокации началась трагедия новой вьетнамской войны.

В ту ночь депеши телеграфных агентств каждый час добавляли к этой новости новые устрашающие подробности. В одних говорилось, что северовьетнамские войска перешли 17-ю параллель и стремительно продвигаются к Сайгону. В других, наоборот, что южновьетнамская армия, действуя в порядке самообороны и пользуясь поддержкой американцев, вышла на подступы к Ханюю. В ночном воздухе Массачусетса, где собрались сотни участников Всемирной молодежной ассамблеи, запахло третьей мировой войной. Напомню, все это происходило спустя два года после кубинского ракетного кризиса.

Я был единственным участником ассамблеи, прибывшим из-за «железного занавеса». Вспомнив о судьбе тысяч японцев, интернированных в США в декабре 1941 года

после атаки Японии на Пирл-Харбор, я на всякий случай готовился ко всему. В ожидании утра, прояснения ситуации (и моей судьбы) вместе с коллегами из других стран я занялся тем немногим, что мы могли сделать: выразить в общей декларации осуждение военных действий США и солидарность с вьетнамскими жертвами бомбардировок. Насколько я понимаю, это была одна из первых публичных акций будущей мировой антивоенной кампании.

Начавшаяся после тонкинского эпизода война продолжалась больше десяти лет, унесла более 50 тысяч жизней американских солдат и никогда до конца не сосчитанное число вьетнамцев и закончилась бесславным поражением США и воссоединением Вьетнама. Но только годы спустя можно понять причины поражения США и объяснить, почему эта война стала по-своему переломным моментом мировой политики второй половины XX века, а термин Вьетнам — нарицательным. Не случайно Че Гевара предрекал империализму 100 и больше Вьетнамов.

Сменив после катастрофы Дьен Бьен Фу и Женевских соглашений 1954 года Францию в Индокитае, США роковым образом ошиблись, ввязавшись в эту войну. Для Эйзенхауэра и особенно Даллеса ее смысл состоял в том, чтобы избежать фактора «домино»: повторения во Вьетнаме корейского варианта — попытки коммунистов объединить страну военным путем. После потери Китая США готовы были сделать все, чтобы не потерять Индокитай. Иначе говоря, удержать коммунизм, как в Корее, за символической 38-й параллелью, которая во Вьетнаме называлась 17-й. По ней должна была отныне пройти граница «свободного мира» и, стало быть, новый фронт войны с мировым коммунизмом.

Однако американцы не поняли, что начали войну уже не с северовьетнамским режимом, а с вьетнамским национализмом, который в своей прошлой истории не

смирился ни с китайским господством, ни с колониальным присутствием французов, ни со сменившими их японскими оккупантами. Превратив, таким образом, эту войну для вьетнамцев в патриотическую, можно сказать, Отечественную, США обрекли себя на поражение. Шансов выиграть у них не было, как у Наполеона в его русской кампании, у Гитлера против СССР в Великой Отечественной или у Советского Союза в Афганистане (который и стал очередным обещанным Че Геварой Вьетнамом, но уже не для империализма, а для коммунизма).

Вместе с Вьетнамом в 60-е годы пришел в движение не только «третий», но и остальной мир, бывший до сих пор заложником двух сверхдержав. В октябре 1962 года на Кубе логика их обоюдного ядерного блефа зашла в логический тупик. Согласившись на ничью, сверхдержавы дали понять всем, что ядерного зонтика над чужими головами они держать не намерены. Вслед за кубинцами этот урок поняли и европейцы.

Не случайно именно с начала 60-х ведет отсчет самостоятельная ядерная стратегия всестороннего сдерживания Франции и новая французская европейская дипломатия, выраженная в девизе де Голля: «Европа от Атлантики до Урала». В 1966 году де Голль вывел Францию из НАТО и «экстрадировал» штаб-квартиру блока из Парижа. Несколько лет спустя его «поворот лицом к Востоку» продолжила *Ostpolitik* Вилли Брандта.

По другую сторону «железного занавеса» примерно в это же время начал подтаивать айсберг Варшавского договора, от него откалывались разные по форме куски, причем у каждого члена (соц)лагеря была своя уловка, свой сценарий «побега». Наиболее дерзко по отношению к советскому старшему брату вел себя румынский лидер Чаушеску, примерявший на себя мантию «карпатского де Голля». Но, поскольку его режим все больше дрейфовал в сторону откровенного деспотизма, реальных опасений насчет его перехода на Запад в Москве не было. К его

фронде там относились как к эскападам подростка, переживающего трудный возраст, но остающегося членом семьи.

Венгерское партийное руководство, наученное трагическим опытом 1956 года, старалось «не дразнить гусей» в Москве. Что не мешало венграм упорно рыть свой «евротуннель», прикрываясь двумя важными факторами: личным доверием к их лидеру Яношу Кадару советских вождей (не только Брежнева, но и Андропова) и... экзотическим венгерским языком, не имевшим ничего общего со славянскими языками своих соседей и поэтому труднодоступным для политического контроля московских цензоров.

И сам Кадар с его вечно печальным лицом, напоминавшим фасады будапештских домов, выщербленных во время уличных боев 1956 года, и его более молодое окружение задались целью любой ценой избежать повторения кризиса 1956 года и с помощью осторожных экспериментов расширить поле «дозволенной свободы» в рамках лагерного общежития. За надежной спиной Кадара молодые венгерские реформаторы встречались в партийных гостиницах на Балатоне со своими коллегами с Запада — коммунистическими диссидентами из итальянской компартии и социал-демократами из брандтовской СДПГ.

Иногда туда зазывали «надежных» единомышленников из Москвы и Праги, вроде Черняева и Шахназарова — будущих наставников Горбачева. Вместе вдали от всевидящего «ока Москвы» они изобретали свой «вечный двигатель» — демократический и гуманный социализм, мотором которого служила бы рыночная экономика, а у рычагов управления находилось бы «современное», но все-таки однопартийное руководство.

Венгры в эти годы не без гордости называли свою страну «самым веселым баракком» Варшавского договора. Действительно, после серой Москвы Будапешт с его бурно увеличивавшимся числом частных магазинчиков

и модных лавок, изобилием фольклорных чард с цыганскими скрипачами, кофейнями и барами и невиданными по эту сторону «железного занавеса» ночными кабаре и даже стриптизными шоу выглядел почти Парижем. Эту его репутацию подтверждали и многие австрийцы, пользовавшиеся близостью Будапешта к Вене, чтобы прожить жизнь в Будапеште и на Балатоне.

Несмотря на эту несколько легкомысленную атмосферу и популярность оперетт Кальмана, специфическая модель «гуляшного социализма», которую за десять лет, прошедших после 56 года, взрастил Янош Кадар, отнюдь не носила опереточного характера. Венгры не только «терпели» и даже подспудно поощряли возрождение частного сектора в экономике, но и допускали дозированный плюрализм мнений в печати, не говоря о почти полной свободе творчества, предоставленной своим художникам и кинематографистам.

До тех пор пока венгерская экономика могла подпитываться регулярно списывавшимися советскими кредитами и поставками дешевой нефти и газа, эта модель успешной «конвергенции» функционировала и поражала визитеров Будапешта миражами «социалистического общества потребления», вызывавшими головокружение у туристов и командировочных из СССР.

Надо ли объяснять, почему в эти годы именно Будапешт подарил мне уникальную возможность наблюдать за грандиозными переменами, обещавшими преобразить облик восточноевропейского «реального социализма».

Будапешт, моя любовь

В ноябре 1956-го, когда я тайком от родителей слушал сквозь треск радиопомех по волнам «Свободы» сообщения о драме Будапешта, я, разумеется, не мог вооб-

разить, что ровно десять лет спустя ноябрьским вечером мы с женой высадимся на перроне Восточного вокзала Будапешта и вдохнем перемешанный с угольной гарью воздух венгерской столицы.

Встречавший нас на вокзале шофер из советского посольства, узнав, что мы будем жить в венгерском доме в центре города, покрутил головой и сказал: «Ну, смотрите, будьте осторожны. Нас предупредили, чтобы не ходили по городу поодиночке. В год десятилетия венгерских событий возможны провокации против советских». Провокаций мы не встретили, то ли потому что мы не выглядели для них достойным объектом, то ли, скорее всего, потому что именно советским дипломатам не давала забыть о 56 годе нечистая совесть. Сами же венгры делали вид, что на месте этого года у них образовался «провал в памяти».

На самом деле такое обширное «слепое пятно» на исторической памяти должно было образоваться у всей семьи, втиснутой в «коммунальную квартиру» Варшавского договора. Все политические часы в ее разных комнатах показывали московское время — в годы брежневского застоя это означало, что они фактически стояли. И это в эпоху, когда весь остальной мир захлестнула волна перемен.

Помимо будапештских витрин, которые мы с женой поначалу зачарованно разглядывали, мне кружила голову сама атмосфера мировой «оттепели», веявшая в Европе и проникавшая в Венгрию через прорехи начавшего ветшать «железного занавеса». Не мог этот «воздух времени» не проникнуть и в коридоры уникального молодежного интернационала под названием Всемирная федерация демократической молодежи, где я должен был играть роль советского «комиссара».

Эта федерация наряду с подобными ей другими «демократическими» международными организациями — женщин, профсоюзов, журналистов, антивоенных

активистов, которые Госдеп США называл «советскими ширмами», была создана сразу после окончания войны. В сущности, все они представляли собой осовремененные варианты Коминтерна, готовившего в 20–30-е годы мировую революцию, и должны были, как пастушки собаки, опекать массовые общественные организации на Западе и в «третьем мире», используя их как попутчиков Советского Союза в мировой политике.

Поскольку за прошедшие годы и особенно после смерти Сталина перспективы мировой революции явно потускнели, а в Международном отделе ЦК КПСС «окопались» убежденные «шестидесятники», то и роль этих организаций принципиально изменилась. Вместо того чтобы тратить советские деньги на вербовку новых сторонников для поддержки внешней политики СССР, они все больше превращались в площадки для встреч политических диссидентов с разных берегов мирового левого политического потока и их совместных размышлений о путях выхода из сталинского прошлого.

Так, Прага, где размещалась редакция международного журнала «Проблемы мира и социализма», патронируемого Международным отделом ЦК КПСС, в середине 60-х годов стала местом теоретических диспутов и политических консультаций между еврокоммунистами Запада (итальянцами, испанцами и неортодоксальным крылом ФКП) и Востока Европы. Задуманный как директивный орган мирового коммунистического движения, журнал превратился в рассадник идеологической ереси и одновременно в центр формирования кадров для будущей демократической революции внутри СССР.

Именно с «духом Праги» оказались связаны политические биографии и самого Горбачева (его самым близким другом, с которым он делил комнату в студенческом общежитии МГУ, был будущий идеолог «пражской весны» Зденек Млынарж), и большинства членов его буду-

щего интеллектуального окружения — Анатолия Черняева, Георгия Шахназарова, Вадима Загладина, Егора Яковлева, Георгия Арбатова, Александра Бовина.

Конечно, насажденные Москвой и Коминтерном в восточноевропейских столицах и руководстве компартий сталинисты сопротивлялись. Но чтобы и дальше удерживать свои позиции, им требовалось остановить не только историческое, но и биологическое время — помешать приходу нового поколения, не готового жить в страхе и способного, как андерсеновский мальчик, со смехом сказать всем королям, что они голы.

Вот почему главным агентом перемен в 60-е годы стала молодежь: она не испытала на себе ужасы и лишения войны, у нее «в костях» не было врожденного страха перед ее повторением. Она отвергала уготованное ей старшими поколениями будущее в антиатомных убежищах, не хотела быть «лучше мертвыми, чем красными», и предпочитала «заниматься любовью, а не войной».

Эта молодежь начала хоронить холодную войну задолго до того, как этим занялись профессиональные политики. Одновременно с «детьми XX съезда» в СССР в Америке появились активисты движения за гражданские права и «дети цветов» — аполитичные хиппи. Многотысячные участники антивоенных демонстраций молодежи, протестовавшей против войны во Вьетнаме, не беспокоились о том, что их объявят, как во времена маккартизма, агентами иностранной державы, — они считали, что это правительство, а не они, действует вопреки национальным интересам Америки.

У этого поколения бунтарей не было своего политического языка и своих лидеров и героев (за исключением, может быть, плакатного Че Гевары), но, выступая против старого порядка, они чувствовали себя революционерами и заимствовали чужую терминологию. Выступая против глобального сталинизма, они поэтому охотно

объявляли себя троцкистами, маоистами, тьермондистами, «новыми левыми». Их идолом вместо скомпрометированного советским коммунизмом Маркса стал Маркузе, а в термин «культурная революция» они вкладывали совсем другой смысл, чем маоистские бонзы, решавшие с помощью молодежи задачи борьбы за власть.

Вся эта магма новой политической культуры, включая контркультуру, захлестнула две «демократические» организации — молодежи в Будапеште и студентов в Праге, где советскими представителями оказались мы с моим давним другом Александром Лебедевым, с которым не только окончили один и тот же институт МГИМО, но и одну и ту же школу. Да, ту самую, где историю нам преподавал незабвенный Сэм. Вы верите в случайные совпадения? Я — нет.

...У меня немало причин благодарить Будапешт за прожитые здесь годы, он действительно оказался для меня нужным местом в нужное время. Начать с того, что позволил продолжить мои политические «университеты», став своеобразным тренировочным залом для участия в мировой политике. В своем молодежном политическом театре во время конгрессов и фестивалей мы разыгрывали вполне взрослые спектакли: поддерживали выступления различных антивоенных движений, разумеется, в западных странах, принимали резолюции с осуждением империалистов, требовали освобождения Нельсона Манделы и Анджелы Дэвис, выражали солидарность с Вьетнамом, Палестиной, Никарагуа...

В роли международного политического «коммивояжера», напоминавшей развозы по миру «курьеров» Коминтерна, я как представитель политически ангажированной советской молодежи получил уникальную возможность увидеть бурлящий мир, встретиться с многочисленными политическими и историческими фигурами

той эпохи. Помимо уже упоминавшихся Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, я присутствовал на выступлениях президента Сукарно на стадионе в Джакарте; жал руки Нкруме и Секу Туре, принимавшим молодежные делегации; слушал речь Аьенде перед дворцом Монеда, ставшим его могилой (во время выступления генерал Пиночет навытяжку стоял за его спиной). В винном погребке Сантьяго я подпевал Виктору Харе, перебиравшему струны гитары пальцами, которые через два года отрубили палачи чилийской хунты; провожал глазами колонну египетских танков, отправленных Насером для блокады Эйлата в 1967 году, и вместе с Бен Беллой обсуждал программу предполагавшегося фестиваля молодежи в Алжире.

Я научился произносить речи без заранее написанного и утвержденного текста на стадионах и в студенческих общежитиях, петь «Интернационал» и «Подмосковные вечера» на разных языках и получил возможность выступить даже с трибуны ООН (за двадцать лет до выступления Горбачева) во время Всемирной молодежной ассамблеи.

Ее созвали в Нью-Йорке, когда молодежные бунты охватили большую часть мира от Мексики до Японии. Это событие останется уникальным в истории ООН уже потому, что ее служба безопасности получила указание пропускать в небоскреб на Ист-Ривер участников в любой одежде, включая тех, кто пришел босиком. Никогда еще эти стены не видели столь разношерстной публики: карнавальная толпа расхристанных хиппи в немыслимых балахонах, длинноволосых и бритых наголо, как бурлящий поток, заполнила трибуны вместо привычных чиновников — «белых воротничков». Как будто действие скандального мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», который с успехом шел в это время в Нью-Йорке, с подмостков Бродвея перенеслось в респектабельное здание ООН. Самого Генсека У Тана неуправляемый зал

свистом и хлопанием прогнал с трибуны — примерно так же, как мы лишили слова ректора нашего института за несколько лет до этого.

Конечно, в Москве я был бы лишен всего этого, как и встреч с неортодоксальными бунтарями, которые были в такой же степени антисоветчиками, как и антиимпериалистами. По коридорам нашей будапештской штаб-квартиры бродили палестинские федаины Джорджа Хаббаша, ирландские сепаратисты, африканские марксисты и иранские оппозиционеры шахского режима. Часто вопреки официальным директивам я шел на контакты с «новыми левыми», молодыми социалистами и даже консерваторами, вместе с которыми мы ухитрились провести в Хельсинки подлинный общеевропейский молодежный «саммит» намного раньше, чем состоялась Общоевропейская конференция 1975 года.

Будапешт не только подарил мне жизнь политического активиста, но и избавил от упряжи советской бюрократической муштры, уже начавшейся в брежневские годы. Находясь под прямой «юрисдикцией» Международного отдела ЦК, я не должен был отчитываться ни перед советским послом, ни перед своим непосредственным нанимателем — ЦК комсомола. И, что немаловажно, был защищен от контроля со стороны «второго посла» в Будапеште — резидента КГБ. В этом тоже проявилась одна из особенностей введенного Хрущевым «разделения властей»: КГБ не имел права без специальной санкции ни контролировать, ни вербовать сотрудников партийного аппарата, к которому я был причислен.

Помню, как один раз наш местный «резидент», скорее всего для проформы, завел со мной разговор о том, что его «фирма» и в ее лице Родина нуждаются в кадрах моего уровня и квалификации, но получив однозначный отказ, больше к этой теме не возвращался. Что, впрочем, не мешало эпизодическим приятельским встречам, тем

более что сферы наших профессиональных занятий не пересекались.

Резидент был мужик неглупый, с юмором, но с чисто русской слабостью — тягой к периодическим запоям. Однажды в один из таких его периодов помрачения я, навестив своего друга журналиста, обнаружил совершенно сюрреалистическую сцену: мой приятель под диктовку резидента — оба раздетые до трусов (день был жаркий) и уже прилично «набравшиеся» — печатал на машинке какой-то текст.

Оказалось, что наш главный шпион, где-то загуляв накануне, забыл там свой портфель с месячным отчетом, который предстояло срочно отправлять в Москву. Ситуация была драматическая: в отчете кроме информации упоминались известные венгерские фамилии и источники. Обливаясь слезами и потом, резидент воспроизводил свой совершенно секретный отчет по памяти и, продиктовав очередную фразу, переспрашивал: «Написал?» «Написал», — откликнулся мой приятель. «Теперь забудь!» «Забыл», — послушно отвечал тот. И оба с облегчением выпивали по новой.

Помимо разнообразных впечатлений, чувства личной свободы и ощущения, пусть даже иллюзорной, причастности к происходившим в мире историческим сдвигам, будапештские годы подарили мне друзей на всю жизнь. Наверное, многие из тех, с кем меня свела судьба в это время, разделяли схожие чувства. Именно тогда родилось разноплеменное братство, соединившее нас более крепкими узами, чем дружба сверстников.

Думаю, что в этом проявились не только естественная для нашего тогдашнего возраста эйфория и молодежный максимализм. В начале 60-х мы действительно дышали воздухом нового времени. Все казалось возможным — и другой социализм, и новый, более справедливый и по-настоящему свободный мир. Конечно, наши

«инстанции» заставляли нас ввязываться и в политические свары, потрясавшие в те годы святое коммунистическое «семейство»: с задором молодости мы обличали китайских догматиков или отбивались от обвинений кубинских «триконтинентальцев» в ревизионизме и предательстве революционных идеалов. Но все эти баталии, имитировавшие тогдашние «взрослые» политические бои, являлись для нас «service minimal»¹ — отбыванием дежурных номеров. Это были не наши войны.

Мы чувствовали себя реалистами в мире идеологического и стратегического абсурда и, если бы могли, покончили бы с холодной войной и повалили Берлинскую стену на двадцать лет раньше. Увы, и нам, и миру пришлось потерять эти годы в ожидании того, как в конечном счете один из представителей этого поколения — Горбачев — решится положить отвагу элементарного здравого смысла в основание государственной политики одной из главных мировых держав...

Нам с женой Будапешт к тому же подарил сына. Когда я пришел регистрировать его в советское консульство, консул предложил написать местом рождения Москву: «Мы так делаем для всех. Зачем ему потом всю жизнь объяснять кадровикам, что его родители делали за границей?» Мы в один голос отказались: во-первых, из благодарности венгерским врачам, выхोдившим нашего малыша, но прежде всего мы хотели, чтобы Будапешт навсегда стал частью нашей и его семейной истории. Я как бы окончательно переворачивал страницу собственной биографии, надеясь, что времена, когда судьба человека зависела от места рождения или наличия родственников за границей, окончательно ушли в прошлое.

Встреча с Венгрией останется, конечно же, особой страницей в нашей молодости. Именно она за руку ве-

¹ Минимальная услуга (*фр.*).

ла нас обоих в старую Европу, научила любить ее «седые камни», без чего, как говорил Достоевский, ни один русский не может ощутить себя в полной мере европейцем. Познакомила с необычным, небольшим по численности народом, зажатым историей и географией между мощными массивами славянских и германских племен и вынужденным, чтобы выжить, культивировать, даже преувеличивая, свою особость и индивидуальность. Начиная с какого-то инопланетного языка, для которого лингвистам пришлось изобрести собственную группу и в котором вопреки внешним влияниям и катку мировой технической и политической глобализации такие космополитические термины, как «телефон», «метро», «республика», да и многое другое, произносятся отлично от всех мировых языков. Это лингвистическое своеобразие распространялось и на слово «туалет», что немало затрудняло нам на первых порах перемещение по незнакомому городу.

Разумеется, гордая венгерская решимость быть особыми во всем — от сдобренной паприкой кухни до ни с чем не сравнимого чардаша, не могла не проявиться и в политике. Именно венгры, не смирившиеся с 1956 годом, первыми в соцлагере, как только появился «шанс Горбачева», отважились перерезать колючую проволоку «железного занавеса» и на свой страх и риск открыли границу с Австрией сначала для своих граждан, а затем для туристов из ГДР. Так летом 1989 года началось разрушение Берлинской стены.

В то время как осмотрительные венгры со всеми необходимыми предосторожностями рыли свой «лаз» в Европу, их «собратья по заключению» — чехи — подняли в соседней «камере» весной 1968 года открытый мятеж. В результате завывли сирены, зажглись прожектора, и «вооруженная лагерная охрана» — войска Варшавского пакта — примчалась усмирять бунтовщиков. Самим венграм ради самосохранения пришлось принять учас-

тие в этой акции. Так парадоксальным образом «пражская весна» принесла на всю территорию соцлагеря заморозки, затянувшиеся на 20 лет.

Такой же яростной реакции Москвы Кадар опасался и в 1989 году. В частных разговорах с советскими собеседниками он предсказывал, что Горбачеву «даст по рукам» его собственное Политбюро. И опять оказался прав, подтвердив, что знает менталитет и логику поведения советской партийной бюрократии, когда затрагиваются ее жизненные и властные интересы, лучше, чем сам Горбачев. Тот легкомысленно полагал, что после того как он своими руками торжественно похоронил «доктрину Брежнева», ему, в отличие от венгров и чехов, нет нужды опасаться советской интервенции. В августе 1991 года его опровергли советские танки, направленные в Москву ГКЧП.

Но все это произойдет много позже, пока же, в начале 1968 года, мы все переживали весну, полную надежд...

1968 год — три весны и одна осень

Есть годы — развилки. Годы — верстовые столбы истории, возвышающиеся над своими соседями, от которых, как от парижской Триумфальной арки на площади Звезды, расходятся лучи дорог в разные, в том числе противоположные, стороны. Годы, которые предоставляют людям возможности выбора их будущего и служат испытанием для масштаба политиков. Одним из них стал 1968-й. Перед ним такими были 1956-й — год XX съезда, интервенции в Будапеште и Суэцкого кризиса. 1962-й — год кубинского кризиса. Позже такими годами станут 1979-й — год иранской революции и советского вторжения в Афганистан — и конечно же 1989-й — год падения Стены, фактического распада Варшавского договора и начала агонии СССР.

Благодаря событиям, сконцентрировавшимся на его ограниченном во времени пространстве, 1968-й во многом стал поворотным. Даже если его последствия по настоящему проявились много позже, они обозначили черты нового мира, который шел на смену послевоенному статус-кво. Неспроста в этом году с интервалом в несколько месяцев были убиты оба выдающихся американца, которые могли реально повлиять на американскую, а значит, и мировую политику, — Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг.

В этот год сошлись и столкнулись две стихии, определявшие облик мировой политики с середины 60-х годов: ускорившийся процесс перемен и тенденция к консервации прежнего порядка. Так получилось, что это символическое столкновение в разных районах мира произошло почти одновременно: неожиданное, приуроченное к вьетнамскому празднику весны Тет, наступление отрядов Фронта национального освобождения, чуть было не взявших приступом Сайгон, Парижский май и Пражская весна.

В двух из этих трех случаев верх взяли силы обновления, в третьем — в Чехословакии, к несчастью не только для чехов и словаков, но и для судьбы гипотетического «демократического социализма» в Советском Союзе, — победила реакция. Я имел возможность следить за ними из первых рядов со своего привилегированного наблюдательного пункта в Будапеште.

Дыхание приближающегося «Апокалипсиса сейчас», которое почувствовали весной 68 года американцы в Южном Вьетнаме, вывело миллионную антивоенную майскую демонстрацию на улицы Вашингтона, заставив осенью этого года бесславно уйти в отставку президента Джонсона, поплатившегося за провокацию в Тонкинском заливе, и на годы вперед отметило сознание американцев и международную политику США «вьетнамским

синдромом». Естественно, что солидарность с Вьетнамом стала для советской политики на всех уровнях, включая молодежные контакты, фронтом развернутого пропагандистского наступления на позиции своего главного противника.

Парижский май, в течение нескольких дней выглядевший ремейком Великой революции, чуть было не превратил Францию 68-го года в аналог Польши 81-го, а генерала де Голля — в генерала Ярузельского (некоторые утверждают, что, улетев из Парижа в Баден-Баден, французский президент размышлял о привлечении армии для восстановления порядка и введении в стране чрезвычайного положения).

Демократические устои общества и государственное чувство ответственности генерала возобладали над искушением упрощенных решений, но через год ему пришлось уйти в отставку, а Франция, прибрав в доме после наводнения 68 года, обнаружила, что действительно пережила революцию, если не политическую, то психологическую и культурную. Побывав в Париже в майские дни и подышав озоном мятежа против прежнего режима, я написал свое первое политическое и социологическое эссе, рукопись которого отвез в Москву своему несостоявшемуся научному руководителю Замошкину в качестве искупления за измену профессиональной науке.

Если весенние события во Франции и во Вьетнаме занимали меня интеллектуально и профессионально, то происходившее по соседству с Будапештом, в Праге, захватывало лично и эмоционально. В майской Праге вместе с Сашей Лебедевым мы провели вечер с недавним чешским президентом Международного союза студентов Иржи Пеликаном, нашим давним другом, только что назначенным Александром Дубчеком директором Пражского радио и телевидения.

Как нам тогда хотелось верить в то, что чехословацкий «социализм с человеческим лицом», о котором он нам рассказывал, не только обеспечит решительный разрыв со сталинизмом в странах Восточной Европы, но и сыграет роль «вытяжного парашюта» для следующего этапа демократических реформ у нас дома. Сами чехи (как и словаки, если учесть, что сам Дубчек — словак) были настроены в эти дни романтично, всерьез верили, что им выпала завидная роль — полигона для выработки современной модели реформированного коммунизма. И при этом искренне считали, что поставленная ими цель ни в чем не противоречит десталинизации, провозглашенной Хрущевым на XX съезде.

По целям демарши венгерских и чехословацких реформаторов совпадали: те и другие, приняв за безусловную данность установившийся в Европе послевоенный ялтинский порядок, и не помышляя о возможности его изменить, старались каждый по-своему «выторговать» для себя под флагом национальных особенностей дополнительную порцию свободы, позволявшую бы им уклоняться от ношения единой, скроенной для всех в Москве униформы.

Но насколько попытки чехословацких реформаторов соединить социализм с демократией вызывали надежды советских «шестидесятников», настолько же они настораживали ортодоксальных идеологов в Москве. Сама формула «социализма с человеческим лицом» воспринималась ими как вызов «реальному социализму», уже построенному в СССР, поскольку косвенно подразумевала его «бесчеловечный» характер.

За чехословацкими событиями пристально наблюдали в эти весенние дни не только инквизиторы из Москвы, но и их восточноевропейские соседи — лидеры ГДР, Польши, Болгарии. Они резонно видели в «ереси» своих

коллег по Варшавскому договору едва ли не бóльшую опасность для их собственных режимов, чем московские ортодоксы. Поэтому Хонеккер, Живков и Гомулка даже настойчивее, чем члены советского Политбюро, требовали от Брежнева «решительных мер» для защиты интересов мирового социализма.

И хотя мы с Лебедевым в один голос предостерегали Пеликана и его коллег от повторения «ошибки» венгров 56 года — намерения выйти из Варшавского договора, спровоцировавшего советскую интервенцию, — никому из нас не приходило в голову, что в Москве уже готовились планы единственной военной акции этого договора за всю его историю — против собственного члена.

При всей парадоксальности этой ситуации в ней не было ничего сюрреалистического. Оба грозных военных блока уже давно и тем более после 1962 года (кубинского ракетного катарсиса) не собирались атаковать друг друга. В то же время их руководители продолжали на полную катушку эксплуатировать пугало противоположного пакта и исходящую от него «угрозу». Не случайно в 1968 году, как и в 1956-м в Венгрии, главным пропагандистским напутствием офицерам и солдатам, отправлявшимся в Прагу, была задача предотвратить вторжение войск НАТО и западногерманских реваншистов.

На самом деле, единственным реально действовавшим «пактом» холодной войны был негласный сговор правящих элит и военно-промышленных комплексов, позволявший им взаимно эксплуатировать чучело противника не только в политических, но и конечно же в бюджетных целях.

Согласно этому «пакту о невмешательстве», все, что происходило по обе стороны «железного занавеса», относилось к компетенции соответствующей политической «семьи». Как рассказывал советский посол в Вашингтоне Добрынин, когда он поздно ночью в августе 1968 года

попросил принять его в Белом доме, чтобы передать американскому президенту экстренную информацию о начавшемся вводе войск Варшавского договора в Чехословакию, первая спонтанная, стало быть, искренняя (по Талейрану) реакция Линдона Джонсона была — недоумение, что его из-за этого разбудили. Приняв сообщение посла к сведению, он без лишних комментариев перешел к обсуждению того, что его интересовало гораздо больше, — деталям предстоявшего визита в Москву, отмененного только после того, как Белый дом спохватился.

На самом деле, как показал август 1968 года, куда более серьезной опасностью для себя кремлевские лидеры и их союзники считали не военную угрозу со стороны Запада, а угрозу мирной политической реформы, начатой Дубчеком и его окружением. Недаром проницательный де Голль не усмотрел в интервенции Варшавского договора никакой опасности для Запада, квалифицировав ее как «защитную реакцию» и добавив, что в долгосрочном плане она не сможет решить углубляющиеся внутренние проблемы стран советского блока. Его тогдашний премьер-министр Дебре вообще отмахнулся от этого «несобытия», назвав его дорожно-транспортным происшествием.

И все-таки вообразить марш советских танков на Прагу было тем невероятнее, что среди всех стран восточного блока Чехословакия рассматривалась и, пожалуй, реально была, после исторически прорусской Болгарии, самой просоветской страной. Эти настроения в обществе опирались и на культурную близость славянских народов, и на то, что отношения чехов и словаков с Россией (и СССР) не отягчены накопленными историческими конфликтами (как, например, с поляками и венграми).

Скорее наоборот, принесенные Западом в жертву Гитлеру в Мюнхене в 1938 году, чехословаки сохранили память о том, что СССР пытался прийти им на помощь.

Многие чехи и особенно словаки, сражавшиеся вместе с Красной армией во время войны против гитлеровцев, были признательны Советскому Союзу за освобождение. Чехословакия считалась настолько надежным союзником СССР, что в ней, одной из немногих стран Варшавского договора, не было советских войск. До 21 августа 1968 года...

...Телефонный звонок разбудил меня в 6 часов утра. «Включай радио, — произнес голос Саши Лебедева, — и приезжай в ЦК, нас с тобой вызывают». Август был временем отпусков, и мы оба, вернувшись накануне с последнего Фестиваля молодежи в Софии, задержались на несколько дней в Москве. Поскольку акция «братской интернациональной помощи», оказанная войсками Варшавского договора «здоровым силам» Чехословакии, вызвала политическую бурю во всем мире и расколола коммунистическое движение — итальянцы, испанцы и даже ортодоксальные французы выразили «непонимание» и возмущение, — надо было срочно тушить пожары недовольства, разгоравшиеся в наших международных организациях. Нам с Лебедевым было предписано немедленно вернуться в свои штаб-квартиры — мне в Будапешт, ему в Прагу.

Как оказалось, это было не так просто сделать. Пражский аэродром был превращен в советскую военную базу, а будапештский гражданский аэропорт «на всякий случай» закрыт. Встал вопрос, как выполнять директиву «инстанции». На поиски решения ушло несколько часов телефонных переговоров между политическими и военными штабами в Москве. В итоге меня с подмосковного военного аэродрома должны были «десантировать» в Венгрию на транспортном самолете. Вскоре я оказался в винтовом и довольно дряхлом «Ильюшине», видимо, хорошо потрудившемся во время войны, пристроенным

на жестком сиденье и зажатым между зелеными ящиками с явно негражданскими грузами.

После реактивных пассажирских авиалайнеров полет на тихоходном транспортнике невысоко над землей показался поездкой на туристическом автобусе и никак не напоминал о том, что в нескольких сотнях километров от города, куда мы летели, развертывалась крупнейшая военная операция на территории Европы со времени окончания войны, чреватая непредсказуемыми последствиями для мировой политики.

После двух промежуточных посадок на грунтовых военных аэродромах мы приземлились в Будапеште, но не на международном аэродроме, а на территории советской военной базы в нескольких десятках километров от столицы. Мое первое ощущение, когда я спустился по подвезенному двумя солдатами железному трапу: несмотря на длинный перелет, я никуда из Советского Союза не улетал. Никаких венгерских пограничников, надписи и советские плакаты на русском языке, посыпанные песком дорожки, портреты советских вождей — типичная атмосфера советского военного городка, который мог находиться на любом из меридианов от Подмосковья до Камчатки.

Поскольку я, штатский и молодой, казался загадочной птицей для встречавших самолет военных, меня в ожидании машины из Будапешта отвели в помещение политотдела. Там стоял дым коромыслом, хозяйничавший замполит складывал в ящики и коробки какие-то папки. «Завтра выступаем маршем на Прагу, — возбужденно сообщил он. — Там срочно собирают наши части из всех соседних гарнизонов. Говорят, надо успеть до натовского наступления».

И тут же, видимо, решив, что как свежий человек из «центра» я смогу дать ему полезный совет, спросил: «Грамоты почетные я уже упаковал. А ведь, я думаю,

и парадную форму брать надо — после того как мы дадим отлуп НАТО, в Праге, наверное, парад будет. Ты как считаешь?»

Я пожал плечами. Было очевидно, что для замполита, как и для подавляющего большинства готовившихся к маршу на Прагу солдат, как им объяснили, их миссия — прямое продолжение прошлой войны, которая еще не кончилась и, стало быть, Восточную Европу надо в очередной раз «освободить», как их отцам двадцать лет назад.

Приехавший вскоре за мной шофер отвез меня прямо в мою Федерацию, гудевшую, как растревоженный улей. Только через несколько дней, когда мне надо было вылетать в Москву для очередного инструктажа и отчета, я сообразил, что могут возникнуть проблемы с пограничным контролем в аэропорту — ведь в моем паспорте отсутствовали какие-либо отметки о пересечении венгерской границы. А возвращаться таким же «десантным» способом мне не хотелось. В конечном счете, мои венгерские коллеги с кем-то договорились, и мне поставили штамп в паспорт почему-то с изображением речного парохода. Получалось, что я прибыл в Будапешт из Вены по Дунаю. Настаивать на исторической истине — изображении винтового «Ильюшина» — я не стал. Моему другу Лебедеву, отправленному в эти же дни в Прагу, пришлось бы ставить в паспорт изображение бронетранспортера, на котором его довели из пражского аэропорта до дома.

Туда же к нему через две недели после начавшейся «нормализации» в ночь перед своей высылкой на Запад пришел попрощаться Иржи Пеликан, несколько недель укрывавшийся на нелегальных квартирах от ареста, продолжая оттуда руководить вещанием свободного чехословацкого радио. Как выяснилось позднее, его «головы»,

то есть немедленной высылки из Чехословакии, потребовал от Дубчека сам Брежнев.

Кстати сказать, и на Западе у него не сразу нашлось надежное убежище. Иржи назначили советником по культуре в чехословацкое посольство в Париж, но французское правительство, не желая портить отношения с Москвой, объявило его персоной нон грата, и Пеликану пришлось перебраться в Италию, где он вскоре был избран депутатом европарламента от Итальянской социалистической партии.

В ночь перед его окончательным, как мы все тогда думали, отъездом в эмиграцию, которую он провел у Лебедева, они позвонили мне в Будапешт, и я тоже смог попрощаться с Иржи. Провожая нашего друга, мы прощались и с собственными надеждами, и с последними, еще остававшимися иллюзиями относительно того, что пражская весна подтолкнет политические реформы в Советском Союзе. Саша и Иржи, как и положено славянам, пили, обнимались и, возможно, плакали. Я был виртуальным «третьим», необходимым для любого мужского русского застолья.

Кроме стыда за собственную страну и поведение ее руководителей, предавших многих искренних друзей среди чехов и словаков и память собственных солдат, которые имели право считать себя освободителями Европы, у нас с Сашей был дополнительный повод оплакивать отъезд Иржи. Пограничный шлагбаум, закрывшийся за ним, опускался и перед нами: мы вновь оказывались — и думали, что до конца нашей жизни, — отрезанными от надежды увидеть свою страну частью Европы и остального мира.

Анатолий Черняев, находившийся в эти дни в Праге в редакции международного коммунистического журнала, рассказывал, что подобные драматические сцены

разыгрывались в эти дни и ночи во многих квартирах его советских коллег: «Сашка Бовин, будущий спичрайтер Брежнева, мобилизованный для написания пропагандистских листовок, днем вымучивал из себя мерзкие тексты, а по вечерам приходил ко мне на кухню пить и плакать от стыда и отчаяния». Многие из нас тогда считали, что душение чехословацкой попытки реформы социализма было даже большей политической трагедией для Советского Союза, чем для чехов и словаков. Однокурсник Раисы Горбачевой по философскому факультету МГУ Юрий Левада написал об этом времени: «Никто из нас не надеялся увидеть своими глазами что-то отличающееся от бесконечного тупого однообразия глухих лет и уж тем более не ждал реальных изменений в жизни страны».

Несколько советских редакторов журнала, и в их числе будущий уполномоченный Российской Федерации по правам человека Владимир Лукин и мой институтский учитель Замошкин, открыто осудившие интервенцию Варшавского договора, были срочно «этапированы» из Праги в Москву и сосланы на незаметные должности в научных институтах.

Советская интервенция, воплощение неписаной «доктрины Брежнева», нанесла последний смертельный удар по еще остававшимся «шестидесятникам». Так и не дождавшись, чтобы их возглавил Хрущев, они даже после его отставки практически до 1968 года продолжали жить надеждой на возможное возвращение советского социализма к идеалу Октября. И только после того как советские танки пришли в Прагу подавлять уже не антикоммунистическое восстание, как в Будапеште, а попытку мирной политической реформы чехословацких еврокоммунистов, они признали свое окончательное поражение.

...История любит ухмыляться. 23 года спустя и тоже в августе Александр Лебедев, ставший чрезвычайным

посланником в советском представительстве в Праге, вместе со своим послом Борисом Панкиным «подняли мятеж», официально выступив против ГКЧП и отказавшись выполнять поручения новых московских властей. Они, естественно, не знали, чем кончится путч, и ночью при посредничестве вернувшегося в Прагу Иржи Пеликана договаривались с Вацлавом Гавелом, ставшим президентом, о возможном политическом убежище в Чехословакии...

Оборвав Пражскую весну, август 68 года стал политическим рубежом и советской истории. Большевицкая модель русского коммунизма, сотворенная Лениным, доказала, что и без Сталина она будет всеми способами, включая применение силы, защищать узурпированную власть. Пражский август возвестил наступление политической «зимы» в Москве. СССР погрузился в трясины брежневизма. Развилка 1968 года как возможный (последний?) шанс для обновления мирового социализма осталась позади...

«Откуда вы все взялись?..»

...Наступило время реакции, и в преддверии долгой политической «русской зимы» поколение, разбуженное 56 годом, разделилось на два неравных потока. Большая часть «шестидесятников», смирившись с мыслью о том, что при своей жизни она не увидит в стране желаемых перемен, забросила политику, уйдя кто в депрессию, кто в привычный для русского человека запой. Те же, кто остался служить в различных ячейках Системы, искали оправдание своему конформизму или коллаборационизму в том, что считали: их удел — стать частью «перегной», из которого когда-нибудь поднимутся ростки новой России.

Другая, значительно меньшая часть противников режима, более активных и не готовых смириться с его ползучей ресталинизацией, положила начало диссидентскому движению. Его знамя подняла отважная «семерка», развернувшая в августе 68 года на Красной площади транспаранты с осуждением советской интервенции против Чехословакии. Все они были арестованы и вскоре осуждены. Но вызов, брошенный ими брежневскому режиму, спас для истории честь советской интеллигенции и сравним с осуждением Александром Герценом в середине XIX века кровавой расправы царя Николая I над польскими повстанцами.

Власти сделали все для того, чтобы этот поступок и сами имена членов «семерки» — Ларисы Богораз (жены Юлия Даниеля), Константина Бабицкого, Натальи Горбаневской, Вадима Делоне, Владимира Дремлюги, Павла Литвинова и Виктора Файнберга — остались на годы неизвестны советским гражданам. Но в зародившееся тогда диссидентское движение начали вливаться люди, чьи имена уже нельзя было утаить. Именно в 1968 году, за несколько месяцев до подавления Пражской весны, академик Андрей Сахаров, еще за два года до этого подписавший вместе с несколькими другими накануне очередного съезда КПСС письмо Брежневу с призывом не допустить «открытой или косвенной реабилитации Сталина», вышел из шеренги «шестидесятников» и передал для опубликования на Западе свою брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В 1970 году он стал одним из трех основателей Московского комитета прав человека.

В том же 1968 году во время одной из моих «вылазок» в Западную Европу я купил эту брошюру и, спрятав на дно чемодана, привез в Москву. Проходя таможеню в Шереметьево, где меня могли попросить открыть чемо-

дан, я чувствовал себя неуютно, наверное, как начинающий наркокурьер. Самое забавное, что много лет спустя в разговоре с Горбачевым я узнал, что и он, раздобыв в какой-то зарубежной командировке русское издание сахаровской брошюры, тоже тайком провез его через границу, чтобы дать прочитать Раисе.

Помню, что первый вопрос, заданный мне в кабинете ЦК известным американским журналистом, автором книги «The Russians» Хедриком Смитом, был: «Откуда вы все взялись?» Ведь даже для западных наблюдателей, умудренных годами скрупулезного изучения Советского Союза, весь лагерь политической оппозиции в стране сводился к нескольким известным им диссидентам.

Подняв руку на всемогущую систему, обрушившую на них карательный аппарат советского государства, они не могли рассчитывать на массовую поддержку в тогдашнем общественном мнении. Их выступления и публикации о политических преследованиях инакомыслящих в СССР, о новых лагерях и психушках из-за мощной пропагандистской блокады становились достоянием лишь немногих слушателей зарубежных радиоголосов.

Но если им не удалось, как польским интеллектуалам, оплодотворить своими идеями реальное оппозиционное движение, то, как это выяснилось годы спустя, они сыграли важную подрывную роль «в тылах» своего могущественного противника. Их жертвенность и решительное противостояние произволу не дали угаснуть очагам антисталинского сопротивления внутри самой системы, подготовив условия, чтобы оно занялось, как пламя от тлеющего торфяника, как только для этого появился шанс по имени Горбачев, не ожидавшийся ни ими самими, ни западными советологами. Ведь он был человеком Системы, безжалостно расправлявшейся с диссидента-

ми, больше того, ее первым лицом. Кто же мог угадать в нем скрытого антисталиниста?

В этих условиях воссоединение разных потоков антисталинизма, ставшее одной из задач перестройки, было непростым. «Урок Хрущева и урок диссидентства, при всей своей неоднородности, сошлись в общей точке. Но без этих уроков не понять ни происхождения, ни трудностей перестройки, — писал Михаил Гэфтер. — Одно то, что правозащитное движение было, делает по меньшей мере неточным термин «застой» в отношении совокупных 1970-х».

Диссиденты не могли сразу поверить в искренность и серьезность намерений партийных реформаторов, подозревая их в стремлении лишь осовременить и омолодить режим, краха которого они сами добивались. Кроме того, они не хотели прощать «самозванцам», тем, кто окрестил себя «системными диссидентами» (выражение Е. Примакова), их приспособленчества к власти и того, что те решились публично заявить о неприятии большевизма лишь когда это стало безопасно, если не выгодно.

Реформаторы из горбачевского окружения, взявшие за слом прежних порядков, оправдывали, в том числе для самих себя, свое «сожительство» с властью тем, что шли на компромиссы не со своими убеждениями, а со свирепой политической реальностью и мрачной российской историей. Они верили сами и объясняли другим, что любые серьезные перемены в монолите тоталитарного строя могут быть подготовлены и начаты только изнутри.

Правы были и те, и другие. Именно поэтому, особенно на первых порах, оба лагеря сил, желавших видеть страну современной и демократической, разделял барьер недоверия. В открытом письме, опубликованном в «Le Figaro» в 1987 году, 15 советских диссидентов, желая разоблачить «двойное дно» горбачевских реформ и остудить энтузиазм «наивного Запада», потребовали: «Пусть

Горбачев предоставит нам доказательства!» Основные «условия», на которых авторы письма соглашались воспринимать перестройку всерьез, были по тем временам «запредельные»: от разрешения выезда советских граждан за границу до вывода войск из Афганистана.

Письмо было публичным вызовом и требовало публичного ответа. Его обсуждали на Старой площади. Вместе с Егором Яковлевым и Виталием Коротичем мы собрались в кабинете Александра Яковлева, сменившего главного идеолога партии — Михаила Суслова. В сусловские времена авторы «антисоветского пасквиля» либо были бы проигнорированы, либо удостоились язвительного пропагандистского отпора. В эпоху гласности обсуждение было коротким. Мнение — общим: «Надо печатать целиком». В результате «пасквиль» опубликовали тиражом намного превосходящим тираж «Фигаро», сопроводив, правда, развернутыми комментариями двух главных редакторов. (Это была необходимая «цена», чтобы нейтрализовать фронтальную оппозицию Лигачева.)

Годы спустя во время одной из наших неспешных совместных прогулок я спросил Александра Яковлева, кто, по его мнению, оказался больше прав в приближении краха режима — диссиденты или внутренние реформаторы. Яковлев ответил, не задумываясь, как на вопрос, давно выясненный для него самого: «Делить нас нелепо. Нужны были и те, и другие. Без них нас, может быть, и не было бы, по крайней мере в таком количестве, — ведь они скребли нашу совесть. Без нас они бы ничего не добились». Горбачев на этот же вопрос ответил вопросом: «А разве мы не стали диссидентами, когда затевали перестройку внутри брежневского Политбюро?»

Символом примирения обеих ветвей советских антисталинистов стала встреча Горбачева и Раисы с Андреем Синявским и его женой Марией Розановой, состоявшаяся уже после отставки Горбачева.

АЛЬБОМ: Синявский и Розанова

Антикварный, почти античный ротопринтный станок, на котором печатался издаваемый Марией Розановой журнал «Синтаксис», находился в обширном подвале их дома на улице Бориса Вильде в парижском предместье Малакофф. Синявские поселились там вскоре после отъезда из СССР в 1973 году, когда Андрей Донатович вышел из лагеря, отсидев 6 лет. Первоначально назначенный срок в 7 лет был сокращен на год по решению суда (на самом деле Политбюро) на основании того, что, по заключению КГБ (записка в Политбюро подписана Андроповым), «осужденный за антисоветскую деятельность в сентябре 1965 года Синявский встал на путь исправления».

Дополнительный аргумент для сокращения срока заключения — его жена Мария Розанова «не совершала предосудительных поступков». У меня лично сложилось убеждение, что Розанова действительно ускорила выход своего мужа на свободу, но не примерным поведением, а тем, что взяла КГБ на измор. Еще бы, вместо того чтобы доставить следователям удовольствие видом человека, страдающего от ареста мужа, Мария Васильевна заявила им: «По крайней мере, я точно знаю, что он не шляется по бабам».

Допустить, что Розанова, похвалявшаяся прозвищем «ведьма», способна вести себя благоразумно, столь же немислимо, как и поверить в «исправившегося» Синявского. Уже по той причине, что неизвестно, что, собственно, он должен был в своем поведении исправить.

...Когда мы с Марией Васильевной спустились в темный подвал ее парижского дома и начали обходить заполненные книгами стеллажи, я спросил: «Скажите, за что, собственно, осудили Синявского? Ведь даже Хрущев, публично распяв Пастернака за публикацию "Доктора Живаго" за границей, не устроил над ним суда. А в писаниях Абрама Терца не было прямой антисоветчины».

«Крамолой было не содержание, а поступок, — ответила Розанова. — Желание свободно писать и самому выбирать, где из-

даваться. А насчет антисоветчины это правда. Синявский до конца жизни был человеком левых убеждений. Поэтому и сказал, что у него с советской властью стилистические разногласия. То есть не по целям, по крайней мере заявленным, а по методам».

О стилистике власти — сюжет, принципиальный для любого литератора, — говорил в своей нобелевской лекции в 1987 году и Иосиф Бродский: «Зло, особенно политическое, — всегда плохой стилист». В устах писателя это — приговор.

С Синявскими мы с женой познакомились в Генуе на конференции, посвященной 10-летию перестройки. К этому времени и перестройка ушла в прошлое, и новая ельцинская власть успела расстрелять российский парламент, и сам Михаил Сергеевич, побыв некоторое время в статусе «невъездного» (в связи с его отказом давать показания на судебном процессе против КПСС ему был запрещен выезд за границу), получил-таки разрешение выехать в Геную. Там первый политзаключенный брежневской эпохи и встретился с последним Генсеком ЦК КПСС.

Выступая на конференции, Синявский с темпераментом, неожиданным для человека его возраста и хрупкого телосложения, обрушился не на советскую власть (с ней, по его мнению, уже разделалась перестройка), а на послегорбачевских правителей. «Нельзя быть уполномоченным по правам человека при царе Ироде», — протрубил он с трибуны, заставив поежиться Сергея Ковалева, занимавшего эту должность при Ельцине.

В 1996 году, приехав в Россию, Андрей Донатович и Мария Васильевна приняли участие в предвыборной кампании Горбачева во время президентских выборов и сопровождали Михаила и Раису в поездках по стране. Сам Синявский на публичных митингах не выступал, предоставив эту миссию своей активной жене. Его излюбленное объяснение этого, которое с удовольствием цитировала сама Мария, было: «Зачем человеку лаять, когда у него есть собака». Иногда он даже сдерживал свою «ведьму», эмоционально реагиовавшую на любые нападки против Горбачева: «Смотри, не вздумай прикрывать его своим телом в случае покушения. Для этого есть телохранители».

Синявский в лагере написал очередную крамольную книгу «Прогулки с Пушкиным», где без какого-либо пиетета к нацио-

нальному гению размышлял об уникальном, почти инстинктивном «чувстве свободы» поэта. Книга, вышедшая в Париже уже после отъезда Синявского из СССР, вызвала почти одинаково возмущенную реакцию великорусских националистов как внутри страны, так и в эмиграции. Они восприняли вольную манеру рассуждений Синявского о Пушкине, возведенном чуть ли не в статус государственного символа, как непростительную фамильярность. И те и другие обвиняли его в том, что он ненавидит все русское и, по словам Марии Васильевны, будь их воля, они бы отправили его в лагерь на исправительные работы еще раз.

Синявский не зря выбрал для своей книги такое название — он, должно быть, чувствовал органическое родство со своим героем: «Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно», — написал он, находясь в заключении в Дубровлагге. Наверное, к самому Синявскому можно отнести слова, сказанные Безансоном о Пушкине, когда тот характеризовал его отношения с царем: «Пушкина (в глазах Николая) подозрительным делает сама манера выражения, поскольку она не является дикцией раба». Тоже стилистические разногласия...

Даже когда у него обнаружилась смертельная болезнь, в редкие паузы, когда она «отпускала», Андрей Донатович усаживался за компьютер. Мария Васильевна его не отговаривала: «Твое дело, Синявский, писать», — требовательно говорила она, словно веря, что, когда Абрам Терц пишет, его никто не посмеет побеспокоить, ни болезнь, ни смерть.

Брежнев — восковой сталинизм

Я вернулся в Москву из Будапешта в 1973-м. В этом году Парижскими соглашениями, за которые Киссинджер и Ле Дык Тхо стали нобелевскими лауреатами, официально завершилась вьетнамская война США, передав эстафету для войны Судного дня Ближнему Востоку. Грянул мировой нефтяной кризис, подбросив цены на

нефть, в американских и советских стратегических войсках на несколько дней объявили ядерную тревогу. На Западе опубликовали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. В Чили ЦРУ с помощью Пиночета по сценарию все того же Киссинджера свергло левое правительство Альенде. А в СССР — «все хорошо, прекрасная маркиза...»

Брежневизм был в зените. Сам Генсек, утвердившись в качестве неоспоримого лидера партии и государства, уже начал погружаться в маразм, втягивая за собой всю страну. Именно в эти годы его окружение принялось активно лепить из него восковую статую очередного Вождя, что не слишком получалось. Чтобы нагнать прежний страх на общество, требовалось вернуться к сталинским репрессиям, то есть стать настоящим Драконом из шварцевской сказки, а этого Брежнев не хотел делать сам.

Человек он был, по рассказам близко его знавших помощников, незлобивый и не коварный, хотя, разумеется, искушенный в аппаратных интригах. Любил в компании «под настроение» с чувством почитать стихи Есенина, обожал охоту, и чем дальше, тем чаще предпочитал продолжительные выезды в охотничье хозяйство в Завидово нудным обязанностям Генсека и главы государства.

Правда, к обязательным ритуалам сидения в президиумах и чтения докладов относился ответственно. Просил только своих спичрайтеров по возможности делать тексты не слишком длинными, печатать их крупным шрифтом, чтобы не утомлять глаз, и не перегружать цитатами из классиков марксизма-ленинизма: «Все равно никто не поверит, что Леня Брежнев всех их прочитал», — говорил он не без самоиронии.

С возрастом это чувство стало ему изменять, и он с почти детским восторгом принимал от своего окружения почетные звания, награды и ордена, в том числе иностранных государств. Со временем заседания Полит-

бюро становились все короче и ограничивались тем, что зав. Общим отделом, верный «портфельносец» Брежнев Константин Черненко после оглашения повестки дня заседания заботливо перекладывал сложенные слева от Брежнева папки с материалами Политбюро на правую сторону, оглашая название «обсужденного» вопроса и предоставляя шефу время только чтобы задать формальный вопрос: «Возражений не будет?»

Ситуация во внешней политике в начале 70-х позволяла Брежневу смотреть на окружающий мир благодушно. Запад поспешил забыть расправу с Пражской весной. Новый президент США Никсон и архитектор его внешней политики Киссинджер, торопясь поскорее выбраться из Вьетнама, были слишком заинтересованы в лояльном сотрудничестве с Москвой, чтобы критиковать «доктрину Брежнева». Они к тому же сами фактически ей вдохновлялись, организовав путч в Чили для свержения правительства народного единства Альенде.

Это новое «дтп», теперь уже в западном полушарии, лишний раз подтвердило совпадение политических логик (и интересов) правящих элит Востока и Запада. Чилийский эксперимент с мирным, а не революционным приходом к власти в результате выборов коалиции левых сил, возглавлявшихся «чилийским Дубчеком» Сальвадором Альенде, был воспринят в Вашингтоне как едва ли не большая угроза стратегическим интересам и владычеству США на Американском континенте, чем режим Кастро на Кубе, приобретавший, кстати, после советской интервенции в Чехословакию все более сталинистский характер.

После того как правила игры в холодную войну, в которую был вовлечен весь мир, были восстановлены, а диссиденты в обоих лагерях подавлены, лидеры двух соперничавших команд позволили себе расслабиться. В отношениях между Востоком и Западом запахло даже

очередной разрядкой: в 1972 – 1973 годах Никсон и Брежнев побывали друг у друга в гостях, подписали «исторические» соглашения по ядерному разоружению и дали добро Европе на подготовку Общеввропейского саммита в Хельсинки, предполагавшего подвести юридическую базу под раздел Европы, согласованный в Ялте.

Все это позволяло брежневскому окружению, пользуясь слабостями стареющего человека, убеждать его в том, что он — масштабная историческая фигура мирового уровня.

В результате даже такой посредственный по личным качествам персонаж, как Брежнев, лишенный амбиций и замашек тирана или завоевателя, мог стать источником трагических и для собственной страны, и для мировой политики событий. Таких, как интервенция в Чехословакию, советское вторжение в Афганистан или чудом не состоявшаяся акция «интернациональной помощи» Польше в эпоху «Солидарности».

Чем немощнее и бессильнее он становился, тем больше устраивал истинного правителя СССР — номенклатуру. После того как Хрущев избавил номенклатуру от ночного страха сталинских репрессий, Брежнев застраховал ее от следующего, самого большого кошмара — перемен.

За ходом времени можно было следить только по количеству орденов, прибавлявшихся на пиджаке Генсека. Если бы можно было набальзамировать Брежнева, сохранив навечно в кресле в зале Политбюро, номенклатура бы это сделала. Собственно, практически она и осуществила это с двумя его преемниками — Андороповым и Черненко, остававшимися у власти в полуживом состоянии. С трудом поднимавшиеся на трибуну мавзолея Ленина по случаю очередных праздников (или похорон), эти советские вожди выглядели не многим живее, чем главный «вечно живой» мертвец, покоившийся у них под ногами.

Номенклатурное безвременье, своеобразный «день Сурка», создавало у клана на вершине власти ощущение того, что не только политическое, но и биологическое время можно остановить. Но «вечный» бюрократический двигатель, о котором вождела партийная бюрократия, как любой «вечный двигатель», оказался химерой. И не только потому, что его всякий раз останавливала природа, заставляя все чаще организовывать помпезные походы. Общая проблема вечных двигателей — одним не хватает источника внешней энергии, другим попадает песок в шестеренки.

С энергией в брежневские времена Советскому Союзу повезло. Благодаря объявленному арабскими режимами нефтяному эмбарго, цены на нефть подскочили почти на 70%. Сильно зависевшая от них советская экономика могла на несколько лет комфортабельно расслабиться на «нефтяном матрасе». Хуже обстояло дело с «песком». Тем более что в роли «песчинок», затрудняющих безмятежное вращение механизмов системы, выступали естественные проблемы любой замкнутой системы и среди них главная: как сохранить ее герметичность. Иначе говоря, изоляцию от внешнего мира.

Но вернемся в 1973 год...

Сюрреальный социализм

По возвращении из Будапешта в Москву я на короткое время оказался под началом Геннадия Янаева. Он тогда возглавлял Комитет молодежных организаций СССР, а я стал его заместителем.

В начале 70-х именно в руководстве комсомола, молодежного резерва КПСС, готовились принять от «стариков» эстафету власти будущие советские руководители. Напомню, Горбачев был в эти годы комсомольским

секретарем в Ставрополе, Шеварднадзе — в Грузии. Еще один их коллега, латыш Борис Пуго, перебрался в Москву из Риги и стал секретарем ЦК комсомола по связям с молодежными союзами социалистических стран. В 1991 году история сведет их всех вместе во время августовского путча против Горбачева.

Замом Янаева в КМО я работал недолго и вскоре был приглашен консультантом в Международный отдел ЦК КПСС. Для того чтобы войти под своды этого «шатра власти», мне было достаточно пересечь Старую площадь. На деле же это означало вступление в отдельный, изолированный от остальной страны, хотя и повседневно управляющий ею, мир Аппарата.

Этот Аппарат и следил за тем, чтобы герметичность советской системы не нарушалась — ни внешними идеологическими вирусами, ни излишними контактами с границей, ни информацией о внешнем мире. Парадокс его «невыполнимой миссии» состоял в том, что в такой внешний мир для аппаратного мирка все больше превращалась собственная страна. Поэтому решать эту неподъемную задачу приходилось двояким образом: зажмуриваясь и окружая себя вместо окон зеркалами.

Созданием виртуального, «потемкинского» облика страны ведал управляемый всемогущим Михаилом Сусловым Отдел пропаганды ЦК, в чьем ведении находились все средства массовой информации. Тезис Сталина о построении социализма «в одной отдельно взятой стране», свелся к его реализации в «отдельно взятом аппарате». Для самой привилегированной части режим даже выполнил обещание Хрущева о построении коммунизма.

Система снабжения и обслуживания партийного аппарата, строго регламентированная должностями, обеспечивала в условиях тотального дефицита растущие запросы номенклатуры. Она позволяла решать и проблему лояльности и покорности, загоняя чиновников и функ-

ционеров в феодальную зависимость от вышестоящего начальства. По этой причине любая попытка обрести хотя бы минимальную независимость вызывала подозрение как проявление чуть ли не политической крамолы или диссидентства.

После поступления на работу в ЦК я в статусе достаточно скромного номенклатурного «чина» получил доступ в спецполиклинику, возможность проводить отпуск в санаториях ЦК, покупать раз в два года дефицитную меховую шапку и снимать летом за небольшую цену две комнаты в дачном поселке. Однако, когда мы с женой решили обзавестись собственной дачей, чтобы не зависеть ни от навязываемых нам соседей, ни от графика, утверждаемого начальством, мы в полной мере ощутили на себе, что значит принцип «ты мне, я тебе». Уже покупка цемента для фундамента нашей дачи оказалась почти неразрешимой задачей.

В условиях, когда нормальный рынок товаров и услуг в стране был заменен Госпланом, реальная экономика второй мировой сверхдержавы принимала экзотические формы. Одной из них был бартер — банальный натуральный обмен. Обменивались не только дефицитные товары или труднодоступные услуги, но и различные нематериальные субстанции: должности, правительственные награды, диссертации, участие в гастролях и спортивных соревнованиях за рубежом и т.д. Изгнанный из экономики рынок мстил, подчиняя себе самые разнообразные сферы жизни.

В этой экономике кривых зеркал самыми влиятельными людьми, обладавшими не только экономическим весом, но и общественным престижем, были те, от кого зависело функционирование этой невидимой системы экономического кровообращения. А самыми уважаемыми гостями на любом застолье — заведующие базами, ав-

томеханики, директора и продавцы продовольственных магазинов.

Поскольку на моей консультантской должности в Международном отделе не было ничего пригодного для натурального обмена на бетон, а связываться с профессиональными «несунами» не позволяли ни мой статус, ни воспитание, оставалось обратиться за советом к более опытным друзьям. После недолгих поисков нашлось несколько неожиданное решение.

Проблема с цементом, как изящная шахматная задача, решалась в несколько ходов. В кругу моих знакомых оказался известный московский скульптор, у него в свою очередь — друг его кавказского детства, директор коньячного завода в Москве. А коньяк, как известно, в тогдашней советской экономике считался куда более твердой валютой, чем рубль. В итоге «цепь» замкнулась, и бетон потек, разумеется, не бесплатно, в уже вырытую канаву.

Какое-то время я пребывал в наивной уверенности, что разрешением своей проблемы обязан дружеским отношениям с расположенными ко мне людьми. Однако вскоре позвонил мой новый кавказский друг и, вежливо осведомившись, доволен ли я выполненной просьбой, поинтересовался, не могу ли я помочь его дочери в ускоренном получении заграничного паспорта. Так я узнал, что и моя должность имеет какую-то товарную ценность. И хотя пришлось его огорчить, поскольку выездами за рубеж занималось другое ведомство, я понял, что занесен в его список «должников», к которым он (или кто-то из его друзей) при необходимости может обратиться.

Но защитный колпак ЦК прикрывал его обитателей не только от проблем, которыми жило остальное население. Превратив партийный аппарат в своеобразное «государство в государстве», он обеспечивал ему и своего рода «экстерриториальность». Партийная верхушка

была почти недостижима и для судебных органов, то есть для закона. Следствие, прокуратура, даже всемогущий КГБ могли только клацать зубами перед дверями республиканских и обкомовских комитетов, складывая компромат впрок на будущее. Для партийных бонз на местах это означало полную безнаказанность и возможность тотального произвола. Только Генсек мог дать разрешение на «отстрел» какого-нибудь слишком зарвавшегося секретаря, но для этого его надо было очень рассердить или стать ему совершенно ненужным.

Превращение партийного аппарата в касту «неприкасаемых» имело и неожиданный эффект: внутрипартийные диссиденты и потенциальные реформаторы тоже оказывались защищены от преследования КГБ и Агитпропа — двух главных церберов системы, державших под неусыпным контролем и население, и интеллектуальную и творческую элиту.

Создалась, таким образом, парадоксальная ситуация: ростки фронды и политической ереси, всего, что «в миру» было бы немедленно окрещено антисоветчиной с соответствующими карательными последствиями, безбоязненно процветали под прикрытием сводов ЦК и зубчатых стен Кремля. Именно туда, в сердцевину системы, поступала и реальная, очищенная от пропагандистской обертки информация о стране и мире, недоступная остальным гражданам.

Кроме того, под предлогом изучения идеологического противника (для того, чтобы с ним лучше бороться) консультанты Международного отдела могли выписывать из-за границы новинки западной политической мысли и читать журналы и газеты, не поступавшие в московские газетные киоски.

Именно в тихой читальне ЦК КПСС я прочитал, задумав написать первую книгу об опыте «новых левых» молодежных движений на Западе, обширную литературу,

порожденную парижским маем 1968 года — от Сартра и Альтюссера до Арона, открыл для себя Герберта Маркузе и Ханну Арендт, познакомился с эссе Режи Дебре и Франца Фанона и манифестами «новых философов».

Международный отдел ЦК, будучи прямым наследником Коминтерна, был призван играть, говоря словами Сергея Прокофьева, роль «банки с революционными микробами», которые должны были рассылаться из Москвы по миру. Однако произошло то, что должно было произойти: те, кто борется с эпидемиями в инфекционных отделениях больниц, часто сами заражаются бактериями и в свою очередь становятся их разносчиками.

Через Международный отдел ЦК, его контакты с еврокоммунистами, с европейскими социал-демократами, через общение советских академических кругов с их зарубежными партнерами, с неортодоксальными и не связанными с компартиями антивоенными, антиядерными организациями и экологами, как через пробойну в корпусе корабля, в аппаратную среду хлынули свежие идеи, которые должны были вернуть к жизни иссохшую мушкетерскую ортодоксальную большевизму.

Попытки запретить или ограничить хождение зарубежных идей внутри страны ничего не дали, а скорее стимулировали интерес к ним не только диссидентов, но и партийного аппарата. Достаточно было Главлиту поставить гриф «для служебного пользования» на переводные книги издательства «Прогресс», как их начинали читать чиновники и функционеры, которым до этого и в голову бы не пришло взять в руки политическую книгу. Эффект «запретного плода» сыграл роль проверенного метода маркетинга.

Среди наиболее внимательных читателей «крамольной» литературы была и супружеская чета из города Ставрополя — Михаил и Раиса Горбачевы. Как рассказывала их дочь Ирина, родители буквально «выросли на

книгах "Прогресса"», впитывая прочитанное, «как губки». Никакая система политического просвещения не могла бы добиться такой эффективности.

Но если Михаила и Раису открывать для себя свежие идеи побуждала интеллектуальная любознательность — оба были выпускниками престижных факультетов Московского университета, Михаил — юридического, Раиса — философского, — то «фронду» большинства других «воевод» подогревала классическая проблема всех геронтократий: практически полная остановка социальных лифтов.

После того как средний возраст в Политбюро достиг 70 лет, целый пласт активных членов номенклатуры из второго эшелона понял, что старики попросту «заедают их век», превратив тысячи активных людей с политическими амбициями в «потерянное поколение». Так внутри самой укрепленной цитадели власти начали вызревать споры системной оппозиции правящему клану, заинтересованной, разумеется, не в революции или хотя бы в глубокой реформе строя, а попросту в его спасении путем омоложения.

Отцы и дети (и жены)

Еще один чувствительный удар по устоям брежневизма пришел с той стороны, откуда партийные патриархи совсем не ждали, — от их собственных детей. И отнюдь не потому, что те как один решили пойти по стопам нигилиста Базарова. Выяснилось, что дети номенклатуры, подобно детям диктаторов (будь то «Бэби Док» Дювалье, Светлана Сталина, Людмила Живкова или Ники Чаушеску), создают для правящего режима подчас не меньше проблем, чем диссиденты или политическая оппозиция.

Давно известно, у настоящего лидера нации не должно быть другой семьи, о которой бы он пекся. Фюрер всецело принадлежал Volk, дуче — Нации. Фидель до сих пор воплощает Революцию. Сталин был в первую очередь «отцом родным» для народов СССР и даже остального мира и только потом уже для своих детей, с каждым из которых у него были проблемы.

Поскольку истинный вождь должен полностью посвятить себя своей миссии, у него нет ни времени, ни права на частную, а тем более счастливую семейную жизнь. Жена в такой государственной ситуации — в лучшем случае имя прилагательное, в худшем — помеха. Жены вождей редко бывают счастливы. Шварцевский «Дракон», которому регулярно поставляли невест, не женился на них, а пожирал. В реальной жизни дела обстояли не лучше. Бывало, что спутниц диктаторов, как в прошлые века, укладывали в одну могилу с их избранником — примеры жен Гитлера, Муссолини и не так давно Чаушеску показательны.

Бывают, конечно, и здесь, как в любой закономерности, исключения, вроде супружеского союза Михаила и Раисы Горбачевых. Но и им за семейное счастье пришлось расплачиваться сначала политическими проблемами для Горбачева, а потом и безвременным уходом из жизни Раисы. Как говорил мне Михаил Сергеевич, он убежден, что толчком для ее роковой болезни стал августовский путч и трехдневное заключение в Форосе.

У советской номенклатуры и частные семейные проблемы, и локальные проявления конфликта поколений разрослись на рубеже 70—80-х годов до масштабов социального феномена. В отличие от политических «детей» XX съезда, детей и внуков Брежнева и его окружения не заботили перспективы десталинизации, их интересовала возможность приватизации госдач, на которых они вырастали, «мерседесов», подаренных их родителям,

но которые нельзя было получить по наследству, квартир, картин и бриллиантов.

К этому надо добавить и неостановимое, как биологические законы, стремление отпрысков правящих элит (от Северной Кореи до, еще недавно, Ливии) без оглядки на речи, произносимые их родителями для «массового потребления», и на природу режимов, обеспечивающих их собственное благополучие, окунуться в западный мир соблазнов и безудержного потребления, следовать современной моде, смотреть западные фильмы и слушать музыку.

Увы, и в этом случае под российской луной не происходило ничего нового. По свидетельству Петра Милюкова, «царские дети уже при Михаиле Федоровиче носят немецкое платье, шитое им их воспитателем. В 1676 г. специальный указ запрещает употребление такого платья служилым чинам. Одного из придворной молодежи царь разжаловал в низший чин за ношение модной прически».

Безнадежные хлопоты царской власти в XVII веке выглядят наивными по сравнению с проблемами, с которыми столкнулась на склоне своего века советская. Коррупция и разложение, неизбежные спутники бесконтрольного правления, в брежневскую эпоху ни в чем не уступали, а нередко и превосходили царские «рекорды».

Любимец Брежнева министр внутренних дел Щелочков вместе с женой отбирал из конфискованного имущества арестованных подпольных миллионеров и других «экономических преступников» ценности, которые отправлялись напрямую к нему на дом. Сын всемогущего министра, разъезжавший по Москве на белом «мерседесе», — ему почтительно салютовали милиционеры — был назначен заведующим отделом ЦК комсомола по связям с соцстранами и теперь мог устраивать свои «загулы» на комсомольские деньги уже по всей Восточной Европе. Если в прежние времена существовали наследственные дворяне или интеллигенты «во втором поколении», то

советская эпоха на этапе своего декаданса породила наследственную номенклатуру.

Блестящую карьеру министра оборвала неумолимая природа — смерть его покровителя Брежнева. (Правда, в последние годы жизни сам Брежнев под нажимом председателя КГБ Андропова, чувствуя, что партийная и государственная верхушка погрязает в коррупции, выдал «лицензию на отстрел» наиболее зарвавшимся членам своего ближайшего окружения.)

Сменивший Брежнева Андропов снял Щелокова с должности одним из первых. Лишенный воинского звания, наград и исключенный из партии, Щелоков, узнав о том, что ему грозит позорный суд, застрелился из охотничьего ружья. Этот прозвучавший уже при преемнике Андропова Черненко выстрел возвестил, как и положено по законам драматургии, сформулированным Чеховым, приближение финала «пьесы», то есть советской истории.

Последним же «милосердным выстрелом», который получил амбициозный проект, рожденный революцией 1917 года и наложивший свой отпечаток на всю историю XX века, оказалась афганская авантюра Брежнева. По иронии судьбы и истории именно Афганистан — страна, первая признавшая Советскую Россию и установившая с ней в 1919 году дипломатические отношения в благодарность за поддержку в борьбе за независимость против Великобритании, ровно 60 лет спустя стала жертвой советской агрессии.

Афганский капкан

На дворе декабрь 1979 года. Вновь, как в августе 68 года, утренний звонок от приятеля: «Наши поехали в Афганистан», — возбужденно сообщает он мне. Новость не то чтобы совсем неожиданная, но, как часто

в таких случаях, подтверждающая худший сценарий, в который, видимо, по человеческой слабости до самого конца не хочется верить.

Все последние дни я чувствовал, что пропагандистская температура вокруг Афганистана поднимается. К этому времени я из Международного отдела ЦК переместился в Отдел международной информации и отвечал в нем за «горячие точки» на карте мировой политики. Афганистан мигал на ней красными вспышками уже с осени 1979 года. Правительство Амина, сменившего Тараки, лидера группы левых офицеров, свергнувших режим Мухаммеда Дауда и провозгласивших программу строительства социализма в Афганистане, перед натиском исламской оппозиции не могло уже усидеть на собственных штыках и требовало советской военной помощи.

Москва оказалась в затруднительной ситуации. С одной стороны, не хотелось жертвовать неожиданным стратегическим подарком в виде исламской «Кубы» на южных границах СССР, позволявшей к тому же воспользоваться изгнанием американцев из соседнего Ирана после свержения шахского режима. С другой — Амин явно не был новым Фиделем, и связывать себя с этим свирепым диктатором (своего предшественника Тараки он, по слухам, убил лично), несмотря на все его заверения в верности марксизму, советские вожди опасались. Кроме того, как доверительно сообщали мои контакты в советской разведке, Амина подозревали в шашнях с американцами и даже в том, что его завербовало ЦРУ. Для советской внешней политики Афганистан превратился в чемодан без ручки — бросить жалко, нести неудобно.

Придуманый на Лубянке способ разрубить этот гордиев узел изяществом не отличался. Было решено воспользоваться просьбой Амина о помощи для того, чтобы... его устранить (то есть уничтожить), заменив на бо-

лее послушного ставленника Москвы, сидевшего в Праге (опять Прага!), — Бабрака Кармая. Ни у военных, ни у Международного отдела этот топорный вариант энтузиазма не вызывал, но один из его главных лоббистов — министр обороны маршал Устинов, поддержанный Андроповым и Громыко, уговорил Брежнева с помощью неотразимого аргумента: «Американцы так десятки раз поступали в Латинской Америке, чем мы хуже».

Приехав на работу, я с тяжелым настроением зашел в кабинет к моему непосредственному шефу Валентину Фалину — первому заместителю заведующего нашим отделом. С Фалиным я мог разговаривать откровенно. Подлинный «шестидесятник», окончивший, как и я, но значительно раньше, наш институт, он успел отслужить послом в Западной Германии, где стал не только доверительным партнером, но и личным другом Эгона Бара и его патрона Вилли Брандта. В то время как немецкие социал-демократы строили свою Новую Восточную политику — *Ostpolitik*, надеясь изменить Восток Европы и добиться воссоединения Германии не путем конфронтации, а сближением, Фалин нередко в обход Громыко пытался подталкивать им навстречу Брежнева.

«Ну, вот, опять интернациональный долг. Куда он еще нас заведет? А я-то надеялся, что после Чехословакии такое не повторится», — сказал я. Фалин вздохнул: «Бог весть. Будем надеяться, что все ограничится, как обещает КГБ, хирургической операцией, и наш "ограниченный контингент" оттуда сразу уберется».

Этого, увы, не произошло: пытаюсь встать вровень с Америкой в роли сверхдержавы, Советский Союз получил и свой «урок Вьетнама» — наглядное подтверждение того, что все ядерные и остальные военные доспехи, которыми пугают друг друга сверхдержавы, как блеф в покере, стоят чего-то до тех пор, пока карты не открыты. Любая попытка применить их на деле оборачивает-

ся ловушкой. Хрущеву и Кеннеди открыла на это глаза Куба, Джонсону и Никсону — Вьетнам. Брежневу со товарищи — Афганистан.

Для СССР безответственность Брежнева и его дряхлых политических маршалов обернулась десятилетней войной с десятками тысяч советских и сотнями тысяч афганских жертв. Главная проблема Горбачева, унаследовавшего эту войну от предшественников, состояла не в том, как ее выиграть, а как унести ноги, — вывести «ограниченный контингент», разросшийся до ста тысяч (хотя и не достигавший размеров полумиллионной американской армии во Вьетнаме), с наименьшими потерями.

Генсек ООН У Тан однажды сказал (может быть, повторив кого-то): «В каждой войне первой жертвой становится истина». В нашем Отделе информации мы с Фалиным пытались на основе сообщений военных и информации КГБ оправдать продолжение советского военного вмешательства классическим приемом эпохи холодной войны: вмешательством империализма. КГБ регулярно поставляло нам данные о лагерях моджахедов на территории Пакистана, вооружаемых американцами, саудовцами и даже китайцами. Проверить это, разумеется, было невозможно. Для меня пропагандистская война выглядела тоскливым продолжением того, что я услышал в августе 68 года на советском военном аэродроме под Будапештом: «Если мы не успеем вовремя занять Прагу, через четыре (!) часа там будут войска НАТО».

Много позднее в Париже я встретился со Збигневом Бжезинским, тогдашним советником президента Картера по национальной безопасности. В нашем разговоре он хвастливо подтвердил: «Это была моя идея. Я предложил Картеру устроить в Афганистане "Вьетнам" для советских». Я переспросил: «Вы имеете в виду, что ваша акция была спланирована до советской интервенции?» «Разу-

меется, — ответил Збиг, — мы постарались заманить их туда, оказывая помощь антиправительственным силам с территории Пакистана. Москва попалась на эту удочку и направила свои войска прямо в пасть оппозиции. С нами сотрудничали пакистанцы и саудовцы, а после вступления советских войск присоединились и китайцы — на своей территории они тоже разрешили создать несколько лагерей для подготовки моджахедов».

Чувствовалось, что Бжезинский гордится тем, что его идея с афганским «Вьетнамом» реализовалась, и, возможно, даже считает, что его роль в провоцировании советского вторжения в Афганистан недооценена. Впоследствии он не раз возвращался к этой теме в своих интервью.

Если верить его версии, дальнейшее развитие событий шло в полном соответствии с его планом. Советский Союз втянулся в войну, которую было невозможно выиграть, восстановил против себя значительную часть населения соседней и до сих пор дружественно настроенной к нему страны и, подобно американцам во Вьетнаме, оказался в международной изоляции, расплачиваясь за свою военную авантюру и непомерными экономическими тратами, и тысячами жизней своих солдат.

США же в результате получили возможность нейтрализовать возможный советский прорыв через Афганистан к Индийскому океану, компенсировать свое стратегическое поражение в Иране, а в более широком плане — поменяться с СССР в глазах мировой общественности ролью главной агрессивной силы и империалистической державы на мировой арене. Вся эта схема выглядела весьма убедительной и полностью соответствующей збигневским геостратегическим гамбитам, которые он обожал разыгрывать, хотя бы теоретически на «мировой шахматной доске».

Слушая его, я поймал себя на том, что как бы перечитываю донесения советской разведки об активном аме-

риканском вмешательстве в афганские дела на стороне оппозиции, к которым мы с Фалиным тогда относились скептически. Получалось, что сам Збиг годы спустя подтвердил их достоверность.

Через несколько лет я смог сравнить изложенный Бжезинским сценарий втягивания СССР в афганскую ловушку с советской версией событий. Моим источником был один из заместителей Андропова, лично участвовавший в выработке плана этой операции. Услышав от меня о вкладе Збига в историю советской афганской авантюры, мой собеседник отмахнулся: «Эти все заслуги он приписывает себе задним числом. У наших "верхов", к сожалению, и без американцев хватало дурости, чтобы ввязаться в эту историю. Об американских шашнях с оппозицией мы в момент ввода войск хотя и знали, но всерьез при принятии решения их не принимали. Скажу честно, если бы мы действительно видели американские происки за внутренним конфликтом в Афганистане, то нашли бы способ в ответ испортить американцам жизнь в Латинской Америке, например в Никарагуа или Сальвадоре, где развертывалась серьезная партизанская война. Кстати, и сандинисты, и сальвадорские партизаны просили у нас такие же ракеты "земля-воздух", как "стингеры", но мы на это не пошли. Хочешь верь, хочешь не верь, но немалую роль во всем сыграла личная антипатия Брежнева к Амину, поскольку "дедушка" не мог простить ему убийства Тараки, которому Брежнев симпатизировал».

Зная специфику функций моих источников, выполнявшихся ими в свое время в Вашингтоне и Москве, я не поручусь за безусловную верность какой-либо из этих взаимоисключающих версий. Хотя, может быть, и взаимодополняющих?

На самом деле, поставки американских «стингеров» моджахедам внесли качественное изменение в ход войны и сделали недостижимой чисто военную победу над

оппозицией. Но, как отмечают аналитики, и не только советские, несмотря на это, реальное поражение СССР в войне было все-таки скорее не военным, а моральным, и без волевого решения Горбачева о выводе советских войск конфликт в Афганистане мог бы тлеть еще неопределенное время примерно в той форме, в какой идет там сегодня война США и НАТО.

Горбачев мог избежать повторения для Советского Союза вьетнамского унижения США, лишь постаравшись уйти из Афганистана со щитом, — вывести с минимальными потерями войска и оставить после себя жизнеспособный и дружественный по отношению к СССР режим, не сидящий на штыках (по крайней мере, советских). Это ему в значительной степени удалось. (Примечательно, что, когда в феврале 2014 года в России отмечалось 25 лет завершения вывода советских войск (15 февраля 1989), практически ни в одном из печатных российских изданий, не говоря уже о телевизионных каналах, которые воздавали честь ветеранам афганской войны, имя Горбачева не было упомянуто.)

Юлий Воронцов, бывший посол в Афганистане (а до этого — в США и во Франции), занимавший также при российском президенте пост, аналогичный должности Бжезинского, с хитрой улыбкой рассказывал мне: «Когда начался вывод наших войск, американцы в Кабуле все ждали, когда же я полезу на крышу посольства, чтобы улететь с нее на вертолете. А я им говорил, что в отличие от американского посольства в Сайгоне, моя крыша для посадки вертолета не приспособлена, а лезть по веревочной лестнице в моем возрасте рискованно. Так что мне пришлось убыть самым официальным способом на посольской машине с советским флагом».

После себя Москва оставила в Кабуле светское правительство Наджибулы, вопреки всем прогнозам ока-

завшееся способным продержаться у власти целых семь лет и даже начавшее самостоятельно оттеснять исламистов обратно в горы и за пакистанскую границу. Только в 1996 году, после того как Ельцин и его министр иностранных дел Козырев «сдали» Наджибулу американцам, талибы взяли Кабул и установили полный контроль над Афганистаном.

И еще одна пикантная параллель меня поразила: может быть, сам не отдавая себе в этом отчет, Бжезинский, рассуждая о «Вьетнаме для СССР», выступал в роли премьера Че Гевары, обещавшего разжечь во всем мире «100–200 новых Вьетнамов». В 20-е годы советские комсомольцы тоже воодушевленно пели: «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем».

В конце века «на горе» и самим американцам, и европейцам, и русским, да и многим мусульманам, «пожар» действительно разгорелся — он оказался исламистским. И очаг его возгорания уже несложно установить — он занялся в конце 70-х годов в Иране и Афганистане. И до сих пор полыхает, распространяясь постепенно не только на прилегающие регионы, но уже захватывая Европу и Африку и грозя пойти дальше.

И все-таки разница между той войной и нынешней есть. В 1979–1989 годах в Афганистане руками афганцев воевали между собой две сверхдержавы — СССР и США. А сегодня в том же Афганистане новые лидеры США и России оказались лицом к лицу с общим противником, которого их предшественники создали и вырастили совместными усилиями. Конечно, разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года не входило в расчеты Збига — так далеко, размышляя о последствиях американской политики во взрывоопасной зоне исламского мира, он не заглядывал. История, увы, учит лишь тому, что ничему не учит.

Андропов или «состоявшийся Берия»

Обращение Брежнева к председателю КГБ Андропову и его зловещему ведомству за помощью в борьбе с коррупцией, поразившей уже его собственное ближайшее окружение, — было знаковым жестом. Вскоре оно подтвердилось решением Брежнева, чувствовавшего приближение смерти, назначить Андропова наследником Суслова, вторым человеком в партии, и, значит, объявить собственным преемником.

Прося защиты у КГБ, истощенная партноменклатура фактически признавалась в своей неспособности дальше управлять страной с помощью политических рычагов и обветшавшего коммунистического мифа. Все происходило, как в повести Андрея Синявского, где главный герой обнаружил, что его дар, позволявший ему делать жителей своего города счастливыми с помощью гипноза, перестал давать результаты. Править дальше было возможно только с помощью принуждения.

Реальной новостью это не было. Сначала расстрел при Хрущеве рабочей демонстрации в Новочеркасске, а потом подавление танками Брежнева Пражской весны подтвердили, что советская модель коммунизма вряд ли может быть сохранена в странах соцлагеря без помощи военной силы. Не случайно, что именно в 68 году лидер итальянских еврокоммунистов Энрико Берлингуэр заявил, что «освободительный импульс», исходивший от русской революции 1917 года и рожденного ею советского государства, истощился.

Обращение к КГБ означало поворот «доктрины Брежнева» внутрь самого советского общества. Возможность выбора именно такого пути встала перед наследниками Сталина сразу после его смерти в 1953 году. Тогда эту альтернативу олицетворял верный подручный Вождя

Лаврентий Берия, возглавлявший все органы государственного террора.

Лишь энергия и властолюбие Хрущева, соединившись с инстинктом выживания номенклатуры, боявшейся продолжения репрессий, избавили страну от Берии и подарили партийному аппарату второй шанс на реализацию ленинской модели политическими методами. На то, чтобы подтвердить ее иллюзорность, ушло еще тридцать лет. Призрак Берии вернулся в обличье Андропова (хотя и без его кровавого послужного списка) как будто для того, чтобы доказать, что без опоры на «органы» и, соответственно, без зависимости от них партийному аппарату не удастся ни сохранить власть, ни просто выжить.

(К аналогичному маневру на закате своего хаотического правления пришел уже в постсоветской России Борис Ельцин. Перед тем как оставить Кремль, он провел целый год в поисках надежного преемника, который стал бы телохранителем для созданного им олигархического режима. Подобно Брежневу, он не нашел лучшего укрытия, чем перелицованный КГБ, и передал власть воспитаннику андроповской школы Владимиру Путину в обмен на бессрочный иммунитет от любого судебного преследования ему самому и членам его семьи.)

Пребывание Андропова на посту Генсека, продлившееся из-за его возраста и целого букета тяжелых болезней немногим больше года, оставило больше вопросов, чем ответов на то, каким образом он собирался выводить Советский Союз из маразма брежневского безвременья. Человек он был, безусловно, волевой и хорошо информированный уже в силу того, что много лет возглавлял КГБ. Однако, кроме нескольких невнятных намеков о своих намерениях, прямых заветов наследникам не оставил. Что позволяет им до сих пор представлять его потенциальным реформатором.

Одна из таких легенд изображает Андропова советским Дэн Сяопином, который, не выпуская власти из рук партии, дал бы свободу рынку и предпринимательству, но при этом, подобно нынешнему китайскому руководству, свирепо наказывал бы коррупционеров и не подпускал бизнесменов к политике. Правда, китайский сценарий должен был бы включать советский Тяньаньмэнь — показательное и жестокое для острастки подавление политического протеста или просто демократических выступлений, скажем, на Манеже или на Красной площади. На такое не решились пойти ни Сталин, ни члены ГКЧП.

Согласно другой легенде, в области внешней политики Андропов, будучи не только прагматиком, но и любителем шотландского виски и джаза, начал бы искать пути к смягчению противостояния с Западом и, может быть, смог бы договориться с ним об окончании холодной войны на более выгодных условиях, чем Горбачев. Что, по версии авторов этой легенды, означает: при сохранении СССР и ялтинско-потсдамской системы, то есть Варшавского договора, раскола Европы и Берлинской стены.

Если же из сферы легенд вернуться к реальным фактам, выяснится, что даже дотошные «археологические раскопки» андроповского периода дадут нам мало «черепков». В сфере экономики — это облавы на прогульщиков и дешевая водка, прозванная в народе «андроповкой», сразу сделавшая его популярным среди российских забудыг. В сфере идеологии отменять брежневские строгости Андропов явно не собирался, скорее наоборот. Юрий Любимов жаловался, что его спектакль «Борис Годунов» в Театре на Таганке был запрещен только потому, что черный мундир Самозванца кому-то напомнил флотский китель Андропова.

О его нетерпимости к любым проявлениям неортодоксальности свидетельствует то, что он буквально вышвырнул из ЦК Валентина Фалина, когда тот осмелился завести

разговор о необходимости признания советской ответственности за расстрел польских офицеров в Катыни.

Во внешней политике, будучи человеком военного поколения, он разделял со своими сверстниками по Политбюро одержимость проблемой обороны страны от возможного нападения с Запада, считая, по свидетельству его коллеги из ГДР Маркуса Вольфа, что «фашист» Рейган может нанести по СССР первый ядерный удар.

Подводя итоги, можно сказать, что свой главный след в советской истории Андропов оставил за время, проведенное им во главе КГБ. Именно поэтому Александр Яковлев назвал его «состоявшимся Берия». В числе его личных «патентов» — модернизированная с учетом нравов нового времени изоцированная система репрессий против инакомыслящих: писателей (Аксенова, Зиновьева, Войновича, Галича, Солженицына...) больше не судили, а выдавливали из страны. Диссидентов менее известных (генерала Григоренко, Леонида Плюща) упрятывали в психушки.

При Андропове КГБ создал тотальную систему «профилактической» слежки и прослушивания, которой позавидовали бы герои Джорджа Оруэлла и Евгения Замятина. (Горбачев мне рассказывал, что, даже будучи членом Политбюро, при обсуждении деликатных политических или кадровых вопросов с Лигачевым он в своем кабинете в ЦК предпочитал не говорить вслух, а обмениваться записками. Уже после своей отставки он поведал мне, что, когда был вынужден съезжать из своей бывшей резиденции Генерального секретаря, его охранники, оборвав обои со стен, показали ему паутину проводов прослушки, опутавшую всю квартиру.)

Кстати, именно эта отлаженная при Андропове, а точнее говоря, еще при Сталине система, которую Горбачев попытался ликвидировать, отомстила ему, ужалив, как «гробовая змея» князя Олега из баллады Пушкина:

подслушав в Ново-Огареве разговор между Горбачевым, Ельциным и Назарбаевым о намеченных кадровых переменах после подписания нового Союзного договора, путчисты августа 1991 года приняли решение действовать.

Главное же достижение Андропова, предопределившее его вознесение на высшую партийную и государственную должность, — в том, что приструненные было Хрущевым органы, низведенные, по его замыслу, на роль тени партии, постепенно прибрали к рукам все основные рычаги власти. Используя метафору провидца Евгения Шварца, можно сказать, что с избранием Андропова Генсеком «Тень КГБ» вольготно расположилась на государственном троне, спихнув с него своего партийного патрона.

Произошло это и потому, что партийная элита разложилась и криминализировалась, и что, может быть, еще важнее, коммунистическая «обертка» окончательно слетела с советского режима, оставив «свинцовый сердечник» системы — правящую и владеющую страной бюрократию — без этого фигового листка.

Конечно, будучи в силу своих профессиональных качеств предусмотрительным человеком, Андропов не мог не задумываться о своем преемнике. Можно представить, что, хорошо зная уровень разложения партийной верхушки и не доверяя столичному аппарату, он желал видеть во главе страны и партии своего рода «чистильщика», свежего человека, не связанного московскими клановыми интересами и привычками.

Не исключено, что в роли наследника ему виделся кто-то, напоминавший ему самого себя в молодости — молодого, энергичного, до фанатичности убежденного и образованного. Всем этим качествам в его окружении отвечал молодой ставропольский секретарь крайкома — Горбачев, восходящая звезда нового эшелона партийной элиты. С ним Андропов успел познакомиться во время

приездов на Северный Кавказ для лечения своих хронических болезней. Выбор поэтому пал на него.

Я бы предположил, что Андропов видел в Горбачеве вариант будущего Путина. Если так, то он роковым образом просчитался. Как мне позднее сказал его преемник на посту председателя КГБ, организатор августовского путча Владимир Крючков: «Самая большая ошибка КГБ за всю нашу историю, это то, что мы проглядели Горбачева». Однако эта принципиальная ошибка Андропова — осторожного, предусмотрительного и умудренного опытом профессионального разведчика и партийного царедворца — оказалась в конечном счете самым важным его личным вкладом в новую историю России...

Но даже в условиях коммунистического абсолютизма всей полноты власти умирающего Генсека не хватило, чтобы немедленно возвести на трон своего избранника. В омерзительном соревновании за лишние уже даже не дни, а часы оставшейся жизни брежневское Политбюро вытолкнуло на поверхность помощника Брежнева, полуживого Константина Черненко. (По словам его помощника Вадима Печенева, Черненко вернулся с Кавказа после отдыха на носилках.) Зимой, когда надо было показать его читающим предвыборную речь перед избирателями, для него сконструировали специальную трибуну для выступления сидя, но и на такой «подвиг» его хватило всего на 5 минут.

Задача, поставленная перед Черненко брежневским окружением, была простой и циничной: продержаться в живых несколько месяцев для того, чтобы от его имени и под его портретом был проведен партийный съезд, который избрал бы новое руководство, а главное, помешал бы андроповскому избраннику Горбачеву занять место Генсека.

Облепив кресло умирающего старика, рой нацелившейся на власть аппаратной прислуги уже начал изобре-

тать для него лозунги и идеологические формулы, которыми тот должен был обогатить сокровищницу марксизма. Среди них особенно удачным надо признать тезис: главной движущей силой развития советского общества является «естественный зазор» между коммунистическим идеалом и повседневной советской реальностью. По этой логике получалось, что, чем больше этот разрыв, тем большим, как в электрической цепи, будет напряжение между полюсами, подталкивавшее все общество к коммунистическому горизонту.

Однако ни энергии кремлевского «двора», ни всех ресурсов идеологического бальзама не хватило, чтобы придать хотя бы видимость жизни уже начавшей тлеть мумии. В один из своих редких приездов в ЦК Черненко позвонил Громыко и спросил его, «не думает ли он, что ему стоит уйти в отставку». Невозмутимый «Господин Нет» и здесь не изменил себе, ответив: «Не надо торопить события, Константин Устинович». Это было за три дня до его смерти...

...Природа сделала для России, что могла. Именно она, а не зазор между идеалом и реальностью, оказалась главной революционной силой, обеспечившей коренные перемены в жизни советских людей. Убрав после 30-летнего правления с исторической сцены Сталина и вытерпев в течение 20 лет Брежнева, она начала проявлять нетерпение и ускорила свой ход. Андропову и Черненко отвела по году — время достаточное, чтобы провести одни похороны и подготовиться к следующим. В марте 1985 года занавес над разыгрывавшейся с 1917 года исторической трагедией, превратившейся в фарс, упал окончательно. Настало время вмешаться в историю страны ее главным актерам — живым людям.

ЧАСТЬ II

КОМЕТА ГОРБАЧЕВА

Нет дела, коего устройство было бы труднее, введение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.

Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые.

Никколо Макиавелли

Нашедшего первым выход из горящего дома первым и затаптывают.

Русская народная мудрость

«ГОЛОС ИЗ ХОРА»

В советском обществе, отученном годами брежневизма от политических сюрпризов, даже неожиданное избрание Генсеком самого молодого члена Политбюро поначалу не стало сенсацией. В конце концов, кроме возраста, новый партийный лидер никак не выделялся на фоне шеренги вождей, выстраивавшихся на трибуне мавзолея. Такая же шляпа, классическая комсомольско-партийная биография, те же ритуальные слова в первой публичной речи на похоронах его предшественника Черненко.

Пожалуй, только очень внимательные слушатели заметили одну необычную фразу, прозвучавшую тогда

на Красной площади: «Мы исходим из того, что право жить в условиях мира и свободы — это главное право человека». О правах человека и тем более праве на свободу в партийном лексиконе упоминать было не принято.

Еще одна особенность, на которую обратили внимание кремленологи со стажем: новый лидер был не просто человек из нового поколения, но и первым со времен Ленина советским руководителем, имевшим университетское образование. Тем не менее этих деталей было пока недостаточно, чтобы угадать в нем будущего грандиозного реформатора.

Сюрпризы, правда, вскоре начались. Поначалу они сводились к стилю первых публичных выступлений Горбачева: свободная живая речь, часто без заранее написанного текста, явный вкус к прямым контактам с аудиторией, западная манера свободного общения с людьми. Стил — это ведь и стилистика, недаром Андрей Синявский, понаблюдав за первыми публичными выступлениями Горбачева по телевидению, заметил Розановой: «Пожалуй, это первый за многие годы руководитель, за которого не стыдно». Андрей Сахаров, находившийся в это время в больнице в Горьком под присмотром КГБ, сказал своим надсмотрщикам: «Стране повезло. Впервые за долгий период у нас появился безусловно умный руководитель». Моя собственная реакция на телевизионное явление нового вождя свелась, помню, к формуле, которой я поделился с женой: «Напоминает Хрущева, только закончившего университет».

Оценка Синявского была, пожалуй, наиболее точной. Чувство внутреннего стыда стало в эти годы привычным состоянием, как бы средой обитания, навязанной целой стране. Вызванным «жизнью во лжи», по выражению Солженицына. Это чувство возникало не только при виде жалкого спектакля, прилюдно разыг-

рываемого престарелыми руководителями. Ритуал ежегодных похорон вождей и без того воспринимался как отпевание системы. Но был и национальный стыд, на который обрекалась вся страна и общество, образованное, современное, считавшее, что ни в чем не уступает Западу.

Он был вызван тем, что огромная богатейшая страна с бесподобной культурой, развитым образованием и наукой не могла обеспечить достойной жизни своим гражданам и жила в архаичной ситуации феодального политического строя, объявившего себя будущим человечества. Большая часть ее ресурсов тратилась на подготовку к войне, которая была бы самоубийственной для всего мира. После запуска первого человека в космос СССР все очевиднее проигрывал технологическое соревнование с Западом. Разрушив собственное сельское хозяйство, крупнейшая мировая сельскохозяйственная держава кормила население продовольствием, покупаемым на нефтедоходы.

Думаю, именно нравственный протест стал первым, еще не оформленным в политический проект побудительным мотивом будущей перестройки. Он выражался в лаконичной фразе: «Так дальше жить нельзя», которую произносили между собой и Михаил с Раисой, во время своих ежедневных прогулок. Эта фраза звучала и во время бесед Горбачева со своим грузинским коллегой Шеварднадзе, и при его первой же встрече с Александром Яковлевым, будущим идеологом проекта системных реформ. Она стала девизом целого поколения («Мы хотим перемен!» — пел под скандирование залов Виктор Цой), подспудным, не находившим своего публичного выражения требованием общества.

Необходимость перемен обсуждала на кухнях интеллигенция, она была темой нового специфически советского литературного жанра и народного эпоса, которым

издавна были анекдоты. Среди них анекдот о человеке, арестованном на Красной площади за то, что раздавал прохожим листки чистой бумаги. Когда его спросили, почему на его «прокламациях» ничего не написано, он ответил: «А зачем писать, и так все ясно».

Стыд как одно из проявлений личного достоинства выражал новое состояние общества. В казалось бы безнадежно размолотой тоталитарным прессом, раздробленной на «атомы», по выражению Ханны Арендт, советской среде начал формироваться средний класс, открывавший для себя ценность личности и возрождения достоинства своей страны.

Карикатурные формы советского режима в конце брежневского правления лишь ускорили этот процесс. Тем более что он не мог предъявить обществу даже те аргументы, которые продлевали легитимность его предшественникам: победа в войне для Сталина и полет Гагарина для Хрущева. Наоборот, афганская авантюра, превратившая Советский Союз из союзника «третьего мира» в империалистическую державу, обесценивая и оскорбляя святую для большинства советских семей Победу, одержанную в последней народной войне, стала последней каплей, переполнившей чашу, и подтвердила необратимый разрыв между властью и обществом.

К этой ситуации не могли оставаться безразличными и представители нового поколения политической элиты, включая партийную номенклатуру. Горбачев, один из них, был поначалу анонимным «голосом из хора» тех, кто приглушенно, а чаще беззвучно требовал перемен. Одним из «чистых листов» белой бумаги, на котором будет написан проект перестройки. Ему еще предстояло стать тем Горбачевым, который придаст этому проекту его неповторимое лицо и запишет собственное имя в историю...

«Верующий атеист»

Попав в 1985 году в обойму советников Горбачева — только что избранный Генсек искал новые лица, — я сопровождал его в большинстве зарубежных поездок и вскоре, вслед за Валентином Фалиным, возвращенным из опалы, оказался в руководстве Международного отдела ЦК. Этот отдел служил Горбачеву альтернативным МИДу и остальному партийному аппарату интеллектуальным центром, откуда он черпал свежие идеи и членов своего ближайшего окружения (именно оттуда пришли два главных политических советника Горбачева — Черняев и Шахназаров, которые вместе с ним и Александром Яковлевым начали работу над детализацией проекта реформ).

Первый документ, полученный на моем новом месте работы, — адресованное Горбачеву личное письмо имама Хомейни. В нем верховный лидер иранской революции, отмечая заслуги Горбачева в освобождении советского общества от «материалистических иллюзий марксизма», давал понять, что проявленные им «смелость и отвага» могут стать отправной точкой для «перемен в основных отношениях, на которых покоится современный мир».

При этом Хомейни предостерегал Горбачева от ловушек, расставленных Западом и Верховным Сатаной (так он именовал США), и призывал вернуть религию и Бога в советское общество. Аятолла рекомендовал советскому лидеру ислам в качестве источника освобождения народов и способа решения фундаментальных проблем человечества. Хомейни предлагал даже принять в святом городе Коме депутацию религиозных экспертов из СССР, которые по возвращении просветили бы Горбачева о непреходящих ценностях ислама.

Мне предстояло подготовить уважительный, но недвусмысленный ответ Горбачева иранскому лидеру,

который бы развеял его иллюзии насчет того, что новое советское руководство, порвав с ортодоксальным марксизмом, вступило на путь поиска другой идеологии (или заменяющей ее религии) и готово в одночасье, отказавшись от красного знамени, заменить его на зеленое.

Примерно в это же время еще один истово верующий национальный лидер обращал к Горбачеву миссионерскую проповедь совсем с другого берега, рассчитывая приютить его заблудшую душу. Это был Рональд Рейган. Как выяснилось относительно недавно, американский президент усмотрел в том факте, что младенцем Мишу Горбачева тайком от родителей крестила бабушка (о чем сам Горбачев ему поведал в один из лирических моментов их диалогов), а также что он позволял себе восклицания типа «не дай бог» или «Бог ему судья», намек на свою тщательно скрываемую от коллег религиозность и тайный сигнал бедствия, который он подавал американскому президенту. Рейган даже обсуждал с советниками, как ободрить этого «крота», зарывшегося в безбожном Политбюро, и оказать ему моральную поддержку.

Однако вопреки тому, что воображали себе представители этих двух великих мировых религий, считавшие, что, разочаровавшись в марксизме, советское руководство обратится к религии, Горбачев и его соратники были заняты выработкой собственной новой идеологии — Нового политического мышления. Его основы Горбачев действительно почти с религиозным пылом изложил в своей книге «Перестройка для нашей страны и для всего мира».

В каком-то смысле и Хомейни, и Рейган были правы, угадав в Горбачеве родственную им душу миссионера. И хотя в ответ на прямые вопросы интервьюеров бывший главный советский коммунист отвечал, что в Бога не верит, считая себя «верующим атеистом», сама эта формула допускала двусмысленные толкования. Да и марк-

сизм Горбачева, по крайней мере в том виде, в каком он его формулировал, уже расставшись с постом Генсека компартии, оказывался ближе к Евангелию и заветам Иисуса Христа, чем Карла Маркса. Особенность политической религии, окрещенной Горбачевым Новым политическим мышлением, — в том, что ее исповедовал не проповедник или пророк-отшельник, а влиятельный мировой политик, имевший реальные возможности для осуществления объявленных им постулатов.

Архимедов рычаг, с помощью которого он перевернул советскую политическую систему, поставив ее с головы на ноги, — гласность. Распахнув настежь цековские кабинеты, запустив журналистов в коридоры Кремля и сняв цензуру, организовав прямое телевизионное вещание с заседаний Пленумов ЦК и сессий нового Верховного Совета, Горбачев и Яковлев вывели политику на свет божий и одновременно впустили ее в квартиры и семьи людей.

Впервые открытые архивы, выпущенные из психиатрических больниц диссиденты, возвращенные из андроповских лагерей политзаключенные, восстановленное советское гражданство у лишенных его выдающихся деятелей культуры, высланных на Запад, — все это превратилось в новую ежедневную «Хронику текущих событий» (журнал с таким названием издавали в самиздате Наталья Горбаневская и Сергей Ковалев) и новой общественной жизни, вернувшей стране, погруженной в летаргию, пульс живого организма.

Сотни людей, как в послевоенные годы в очередях за мукой и сахаром, терпеливо ждали у газетных киосков свежих номеров «Московских новостей» и «Огонька». Интеллигенция, покинув свои привычные кухни и переключив приемники с волн «Свободы» на местные радиостанции, до сих пор вспоминает о поре, когда было «интереснее читать, чем жить».

Во время прямых трансляций заседаний на Съезде народных депутатов и в новом Верховном Совете люди, побросав работу, собирались у телевизоров, как болельщики футбольных чемпионатов. Из-за этого передачи перенесли на вечерние и ночные часы, но экономике легче не стало: приходя на работу невыспавшимися, граждане, почувствовав вкус к политике, продолжали дебаты и в рабочее время.

Общество, уже фактически смилившееся с перспективой жизни «под водой» и даже отравившее для этого своего рода «жабры», неожиданно оказалось вытолкнуто на поверхность, обнаружив существование мира, о котором слышало, по которому грезило, хотя его практически не знало, и в котором ему предстояло научиться жить. В мире со свободными выборами, возможностью получать разнообразную и часто противоречивую информацию и высказывать свое мнение. С правом выезжать за рубеж и возвращаться на родину. С шансом открыть для себя давно освоенные другими странами рабочие механизмы демократии — от парламентаризма до разделения властей. Но и в мире личной ответственности, часто безжалостной конкуренции и беззастенчивого неравенства.

За отведенные им шесть лет Горбачев и его команда добились беспрецедентной трансформации пейзажа не только советской, но и мировой политики. Среди результатов: уход советских войск из Афганистана и Восточной Европы, разрушение Берлинской стены и объединение сначала Германии, а вслед за этим и большей части Европы, поворот от состязания между сверхдержавами в гонке вооружений к реальному разоружению: уничтожению сотен советских и американских ракет и тысяч ядерных боеголовок. Итог этих лет — не только окончание холодной войны, продолжавшейся почти пятьдесят

лет, но и фактическое воссоединение мировой истории, раздвоившейся на два русла в начале XX века после русской революции.

Увы, все в нашем брэнном мире имеет свою цену. Цена, против своей воли уплаченная Горбачевым за преобращение собственной страны и мировой политики, — распад Советского Союза и его собственная отставка. Был ли он настолько наивен, что не понимал, чем рискует? Думаю, что нет. Просто видел, что, если вовремя не сменить курс, его страну и, возможно, весь мир могут ждать две катастрофы: кровавый коллапс СССР и всемирный ядерный конфликт. Если и ставить ему что-то в вину, так это избыток оптимизма и убежденность этого «верующего атеиста» в том, что политические чудеса в наш век возможны.

Его поджидало (неизбежное?) разочарование. Ни нынешняя ситуация в постсоветской России, ни обстановка в мире не дают, увы, поводов для оптимизма. В самом деле, разве о такой — сначала ельцинской, а потом путинской России, о подобном ли мире, ставшем ареной многочисленных конфликтов и уже нескольких войн, мечтали Горбачев и его соратники в первые годы перестройки, когда предлагали западным партнерам рецепты нового политического мышления? Те оказались не более надежными союзниками, чем предавшие его бывшие партийные соратники.

Сегодня, уже после отставки, Горбачев упрекает Запад не в том, что его лидеры в свое время недостаточно помогали ему (он знает, что не от них зависела судьба перестройки), а в том, что они не смогли разумно распорядиться тем уникальным шансом, который открывала миру его новая политика. В том, что восприняли порыв советского общества к демократии всего лишь как проявление внутренней слабости и готовность сдаться на милость победителя. В результате после долгожданного

окончания холодной войны вместо единого гармоничного мира, о котором мечтали Горбачев и его соратники, мы получили хаос нового мирового беспорядка, где царят не новое политическое мышление и не сила права, а право сильного и насилие экстремистов.

Под ковром политического плюрализма

Но вернемся в «серебряный век» перестройки, как называл ее первые годы Александр Яковлев. Для меня это период «медового месяца» в отношениях между Горбачевым и страной. Ему искренне аплодировали участники его встреч с населением, уже забывшие, что лидер страны может быть живым и обаятельным, говорить без бумажки и вступать в спор со своими собеседниками. Им любовалось телевидение и восхищались советские журналисты, не без труда осваивавшие забытый жанр пресс-конференций. Ему с готовностью присягала армия, рассчитывавшая обрести подлинно эффективного Главнокомандующего.

Ему намеревалась доверить свои либеральные надежды и шептать на ухо советы интеллигенция. Его рвались снабжать достоверной информацией «органы», готовые преданно служить ему как наследнику Андропова. И конечно, на него с надеждой смотрел партийный аппарат, рассчитывая, что благодаря молодому и харизматичному Генсеку партии, дискредитированной последними годами маразма ее руководства, удастся вернуть себе респектабельность в глазах общества.

Однако гармония единодушной поддержки курса перемен продолжалась недолго. Горбачеву и его единомышленникам предстояло довольно скоро выяснить, что под переменами представители разных поддерживавших и подталкивавших его сегментов советского общества

имели в виду разные, а иногда и противоположные вещи. Понятно, что воспрявшие духом «шестидесятники» в надежде приостановить сползание страны в трясины неосталинизма, связывали с новым лидером совсем не те ожидания, что партийные функционеры, видевшие в приходе к власти одного из их сверстников шанс на вакансию. Вскоре разноречивая началась и внутри самой партии.

После того как была снята крышка с «кастрюли-скороварки», в которую была превращена монолитная коммунистическая партия, под ней обнаружился экзотический бульон практически из всех политических культур, произраставших на российской почве, — от ультранационалистов с тяжелым антисемитским духом до суперлибералов, считавших, что излечение страны от травмы большевизма невозможно без международного участия.

Не имея нормального избирательного механизма, позволявшего всем политическим течениям померяться силами, их лоббисты толпились вокруг трона Генсека, пытаясь на него повлиять и взять в союзники (или заложники). На начальном этапе реформ это вполне устраивало Горбачева, игравшего роль арбитра между флангами и политическими краями, позволяя ему вручную находить баланс между позициями реформаторов и консерваторов.

Может быть, и не читая Макиавелли он следовал его совету: «Самых опасных соперников полезнее держать при персоне Государя, а не на отдалении от него». Этим, а также самонадеянным убеждением в том, что они смиряются с этим двусмысленным состоянием, объясняется то, что Горбачев сам строил себе ловушки, сохраняя в ближайшем окружении тех, кто впоследствии стал его непримиримыми врагами. Среди них — лидер консерваторов Лигачев, «атаман» радикалов Ельцин и целая гроздь будущих путчистов, начиная с Лукьянова.

На неоднократные предложения членов реформаторского лагеря открыть забрало, размежеваться в пер-

вую очередь с партийной номенклатурой — она становилась все более агрессивной и целыми «батальонами» перебегала в лагерь консерваторов — Горбачев отвечал однозначно: «рано». Его главный аргумент: «Партийный аппарат надо, как “злую собаку”, держать на “жестком поводке”». Когда Яковлев приходил к Горбачеву с предложением создания новой партии, точнее, идеей расщепить ядро большевистской системы как минимум на две состязающиеся между собой команды, тот неизменно отвечал: «Подожди, еще рано. Время не пришло».

Были у него и другие резоны: в теократически-партийном государстве, которым стал Советский Союз, уже давно не было ни прежних Советов, давших ему название, ни новых, «светских» органов государственного управления и самоуправления на местах. Партия, как кора давно высохшего дерева, служила ему основной несущей опорой и, парадоксально, тем единственным его инструментом реформ, которые должны были ее заменить, то есть устранить. Как сказал мне, объясняя эту сюрреалистическую логику политической эквилибристики Горбачева, Георгий Шахназаров, главный политический советник того времени, «мы ежедневно сталкивались с трагическим противоречием: для разрушения Системы была нужна диктатура, которая одновременно — и объект слома».

Сколько времени продолжится такая ситуация, до каких пор партийный аппарат в силу вбитых в него сталинскими репрессиями рефлексов будет послушно следовать за своим лидером, все отчетливее понимая, что его ведут на заклятие, сказать не мог никто. Трагическое противоречие усугублялось тем, что Горбачев был кем угодно, только не диктатором, и по избранному методу реформ, и по складу характера. В результате протуберанцы мини-мятежей начали все чаще вспыхивать у него под ногами или за спиной. Одним из самых опасных стал манифест Нины Андреевой.

«Пиковая дама»

Как-то раз, когда «Шеф» (Горбачев) находился в зарубежной поездке в Югославии, а мой непосредственный начальник Александр Яковлев улетел в другую сторону, в Монголию, раздувать там угли местной перестройки, я решил, что у меня выдалось несколько спокойных дней, чтобы отвлечься от ежедневных стрессов политики.

В Москве «на хозяйстве» остался второй секретарь ЦК Егор Лигачев, поручений от которого я не ждал. И напрасно.

Не успев открыть дверь в кабинет, я услышал звонок и уже по его настойчивости понял, что это нетерпеливый редактор «Московских новостей» Егор Яковлев.

— Ты читал «СовРоську»? — спросил он, не поздоровавшись.

Обычно, чтобы не портить себе с утра настроение, я не читал уныло-агрессивную, национально-консервативную «Советскую Россию», орган, руководимый давним знакомым по работе в «Комсомольской правде» Валентином Чикиным.

— А зачем, — попробовал отшутиться я, — мне достаточно одного номера на целый год.

— Срочно читай, потому что к десяти утра Лигачев вызывает к себе всех московских редакторов. Надо посоветоваться до этого.

Я вытащил «Россию» из пачки утренних газет и открыл: стало сразу понятно, что речь идет о залпе орудий большого калибра. Монументальный текст, занимавший целую газетную полосу, с заголовком «Не могу поступиться принципами», подписан некой Ниной Андреевой, преподавателем кафедры физической химии Ленинградского технологического института. Уже сам масштаб опуса и его аргументация вызывали подозрение в том, что над ним трудилась не одна рука, придавая

статье, как в «добрые» сталинские времена, «установочный характер».

«Андреева» выступала против перестройки с открытым забралом. Социализм и Отечество в опасности, — вещала ленинградская Кассандра. В руководство страны пробрались изменники, ведущие страну в тупик. Великая держава, перед которой трепетал весь мир, поставлена перед Западом на колени. Русскую нацию втаптывают в грязь отступники и «космополиты» — выходцы из «контрреволюционных народов». Для убедительности в статье приводились цитаты из Карла Маркса, разоблачающие реакционную роль мирового еврейского капитала, и Уинстона Черчилля, расхваливавшего соратника по борьбе с Гитлером — Иосифа Сталина.

Такая статья с явным антисемитским привкусом и панической интонацией, разумеется, не была бы разрешена брежневской цензурой, но в эпоху гласности в печати появлялись и не такие «политически некорректные» высказывания. Она появилась в официальном партийном издании, и уже в день публикации Отдел пропаганды рекомендовал ее для перепечатки в областных и республиканских газетах, превращая в политическую директиву. Это и подтвердил на экстренном совещании в ЦК Лигачев, призвавший редакторов газет «обратить особое внимание на утреннюю публикацию».

Вымуштрованная годами большевизма гигантская советская пропагандистская машина встала во фрунт. ТАСС разослал текст «Советской России» во все уголки страны, и воспрявшие духом местные партийные руководители, соревнуясь друг с другом, направляли в центр телеграммы с выражением горячей поддержки трудящихся масс. Часовая стрелка на политическом календаре принялась в бешеном темпе вращаться назад и замерла где-то между концом 40-х и началом 50-х. Будто вахтенный рулевой, оставленный на капитанском мостике, ско-

мандовал «полный назад», и корабль перестройки начал послушно разворачиваться.

Надо было что-то срочно противопоставить этой реваншистской публикации, дав понять, что речь идет лишь об одной точке зрения, но никак не об официальной партийной линии. Но в отсутствие в Москве Горбачева и Яковлева найти союзников оказалось непросто. Моя попытка подключить к дискуссии либерального редактора «Известий» Ивана Лаптева не удалась: «Против Лигачева мы ничего не можем».

Перебить «пиковую даму» — Андрееву — можно было только более сильной козырной картой: выступлением «Правды», а для этого требовалось решение Политбюро. Вместе с двумя моими коллегами и друзьями из яковлевского лагеря — Александром Лебедевым и Николаем Португаловым — мы подготовили развернутый комментарий к статье Нины Андреевой. Нашли и сфальсифицированную ею цитату Маркса, и контекст высказывания Черчилля о Сталине, и добавили восторженный отзыв Гитлера о Сталине, взятый из его дневников. Соблюдая конспирацию, я отдал печатать наш разоблачительный опус в персональный «самиздат» — знакомой машинистке в «диссидентском» Международном отделе.

В короткой сопроводительной записке, переданной Александру Яковлеву на аэродроме сразу после его возвращения из Монголии, значилось: «Статья Андреевой — откровенное, агрессивное выступление, в сущности, манифест сил, озабоченных характером и размахом перестройки, и выражает их стремление сдержать ее дальнейшее развитие. Это попытка сформулировать платформу для мобилизации консервативных сил в партии и в стране». Остальное от нас уже не зависело.

Вернувшийся в Москву через несколько дней Горбачев счел ситуацию достаточно серьезной, чтобы собрать двухдневное (!) заседание Политбюро, прошедшее почти

«по китайскому методу»: каждому его члену предлагалось высказать свое отношение к статье. Сложнее всех оказалось Лигачеву, не только санкционировавшему ее рассылку фактически в качестве официального партийного документа, но и участвовавшему в ее редактировании. На заседании Политбюро ему пришлось заняться самокритикой, дескать, он воспринял статью как проявление политического плюрализма и виноват в том, что «поторопился высказать личное мнение».

Фасад «единодушия» в Политбюро был восстановлен, статья Андреевой признана «политически вредной», а наш «самиздатный» материал лег в основу критической статьи в «Правде». Корабль перестройки, зачерпнувший было воду правым бортом, выправился и двинулся дальше. Однако течь в его днище до конца не была законопачена. На время отступив, лагерь консерваторов готовился к длительной осаде позиций либералов.

Александр Яковлев мне потом говорил: «Мы недооценили историю со статьей этой дурочки. На самом деле это была, разумеется, лигачевская статья. Сигнал нам всем серьезный, и после него в Политбюро уже не было единства. Тем более что Горбачев всех оставил на своих местах — и Чикина, и Лигачева».

Вскоре из ленинградского окружения Андреевой выползла гусеница националистической фракции внутри КПСС, затем оформившаяся в автономную Российскую компартию, патронируемую все тем же Лигачевым. Это был прямой вызов союзной партии и ее лидеру Горбачеву. В интервью газете «Монд» я назвал создание этой реваншистской партии «государственным переворотом» внутри КПСС, еще не догадываясь, что формулирую «самореализующееся пророчество» — до настоящего путча, который оборвет перестройку, оставалось меньше года.

В апреле 1991 года на очередном Пленуме ЦК Горбачева яростно атаквали консерваторы и военные, об-

винявшие его кто в развале страны, кто в предательстве дела социализма, кто в том, что он «бросает на растерзание контрреволюции» наших союзников в странах Восточной Европы. Не выдержав, Генсек взорвался и схватил микрофон:

— Всё, хватит. Не хочу дальше возглавлять структуру из шести или семи разных партий. Ухожу в отставку.

И вышел из зала.

Обезглавленный Пленум затих, председатель заседания объявил перерыв.

И тут выяснилось, что выращенные в закрытом террариуме его обитатели не готовы (пока) к большему, чем шипеть на своего зрителя. Они испугались остаться лицом к лицу с собственным обществом и после растерянной паузы сформировали депутацию к Горбачеву с просьбой вернуться.

Тем временем, вспомнив буйные дебаты наших молодежных ассамблей, я стал действовать, повинувшись прежним рефлексам. Вместе с редактором журнала «Коммунист» Отто Лацисом мы сделали набросок заявления реформистского крыла Пленума, готового покинуть его вслед за Генсеком. За 10–15 минут его подписала почти треть присутствовавших, включая тяжеловесов типа Вольского, Примакова и Назарбаева. В нем вчерне обрисовались контуры новой партии, способной вылететь из кокона ленинского большевизма. Не готов оказался сам Горбачев, который, как потом мне покаялся, «из-за собственного упрямства и самонадеянности» упустил предоставившийся шанс и дал себя уговорить остаться насмерть перепуганному Политбюро.

Наше заявление Вольский зачитал, но оно стало лишь дополнительным аргументом для большинства единодушно просить Генсека не бросать партию. Когда верткий заведующий Общим отделом ЦК, будущий путчист Валерий Болдин потянул к Вольскому руку за

текстом заявления с подписями, тот предусмотрительно спрятал его в карман. Как кукиш...

Превентивная революция

Вопрос «Рано? — Поздно?», иначе говоря, выбор темпа реформ, исходя из способности людей переварить перемены, в той или иной форме встает перед каждым инициатором революции сверху. Особенно перед теми, кто, стремясь навязать обществу преобразования, чтобы его модернизировать или осчастливить с помощью принуждения (все равно, царистского или большевистского), пытались изменить русской традиции. От Петра до Ленина. Не стал исключением и такой реформатор-реформист, как Горбачев.

Как иначе, чем методом проб, оперируя по живому, то есть сознательно вызывая ответную реакцию в обществе, можно определить его «болевого порог» и скорректировать темп изменений? Когда, например, переходить от популярных политических нововведений к реальным экономическим преобразованиям, которые не только заставят людей платить «цену» за долгожданную свободу, но и возложат на каждого бремя персональной ответственности, а главное, затронут интересы мощных кланов и пластов общества? Когда расставаться с еще недавними союзниками, рискуя превратить их во врагов, для того чтобы опереться на новые силы и сменить надоевшие лица?

И как быть в условиях, когда уже начатые реформы, разбудив ожидания людей, жадно потребуют, как костер, новых поленьев, а защитники старых порядков и собственных привилегий перейдут от консервативного саботажа перемен к открытому сопротивлению? Классические революции куда проще справлялись с этим пу-

тем насилия, посылая реальных или воображаемых противников на гильотину и в лагеря. Или надо действовать, как в совсем еще недавние времена: назначать послами в дальние страны или отправлять в отставку?

Конечно, ставить оценки и давать советы реформаторам проще всего задним числом. Сложность затеянной Горбачевым и его сторонниками превентивной революции-реформы состояла в ее двусмысленности. Как говорил тот же Яковлев, «кроме гражданской войны оставался единственный путь перехватить кризис до наступления его острой, быть может, кровавой стадии — это путь эволюционного слома тоталитаризма через тоталитарную партию, опираясь на ее протестно-реформаторское крыло».

А если так, то не оставалось ничего другого, кроме движения вперед на ощупь, как по тонкому подтаявшему весеннему льду, с риском в любой момент рухнуть в полынью и таким образом узнать, что не стоило торопиться. Наверное, отсюда обвинения и упреки, адресованные Горбачеву в непоследовательности, колебаниях, тактических зигзагах и непростительной, по мнению многих его критиков, нерешительности.

Для выработки идеального — теоретического — графика «реформы сверху» требовалось наличие как минимум двух важных условий. Во-первых, иметь более-менее ясную конечную цель и хотя бы примерный маршрут движения к ней, согласованный между реформаторами. Во-вторых, располагать достаточным запасом времени, в течение которого и общество, объект эксперимента, и разномастная оппозиция, неизбежно порождаемая им, готовы терпеть всю операцию и послушно следовать за лидером и инициатором перемен, не слишком осложняя ему жизнь.

У Горбачева не было ни того, ни другого. Зародыш проекта перестройки, обсужденный им вместе с Яков-

левым в общих чертах в 1983 году во время их встречи в Канаде (может быть, благодаря этому их не подслушало КГБ), сводился к трем-четырем «безусловным императивам»: утвердить верховенство закона, окончательно искоренить сталинизм, «обломать рога» милитаристскому военно-промышленному лобби и, насколько удастся, ограничить всевластие бюрократии. Этот лаконичный проект был призван сыграть роль сценария для будущей первой «бархатной» революции (термин Яковлева применительно к перестройке) против тоталитарного монстра.

Однако даже между двумя единомышленниками согласие не шло дальше первого, «разрушительного», антитоталитарного этапа реформ. После него начали выявляться «стилистические разногласия». Для Горбачева цель перестройки — спасение социалистического (на последнем этапе — социал-демократического) проекта будущего России. Мечтая о соединении социалистического идеала с демократией, о «социализме с человеческим лицом», он, в сущности, пытался повторить в Советском Союзе проект реформаторов Пражской весны и воплотить мечту ее идеолога Зденека Млынаржа.

Как говорил мне Яковлев, его расхождения с Горбачевым касались второй фазы перестройки («На первой мы оба добросовестно заблуждались насчет возможностей реформирования социализма»), которая стала для него «этапом великого лукавства»: необходимости ради осуществления перемен, выходящих за рамки социализма, утверждать, что они делаются для его спасения. Однако даже границу между этапами приходилось определять на ощупь, многократно пересекая ее то в одну, то в другую сторону.

Несмотря на свои «стилистические» расхождения с Горбачевым, в 1991 году после провала августовского путча Яковлев без колебаний вернулся в его команду, когда речь зашла о последней попытке спасения их об-

щего дела. Да и после отставки президента он встал на его защиту, решительно отвергая адресованные ему обвинения в «нерешительности»: «Нерешительный Горбачев? А полное прекращение политических репрессий и десталинизация! Утверждение парламентаризма и окончание холодной войны! Гласность и свобода слова! Где еще, как у нас, был за шесть лет реализован поворот от тысячелетнего самодержавия к свободе?»

Наблюдавший с явным сочувствием и недоверчивым восхищением за усилиями советского лидера Франсуа Миттеран как-то сказал Ролану Дюма: «Горбачев выступает в роли человека, который решил освежить краску на фасаде дома. Однако начав чистить стены, он обнаружил, что они едва держатся и нуждаются в укреплении. За стенами пришла очередь перекрытий, а потом и фундамента. Я задаю себе вопрос, где он остановится. И понимает ли все возможные последствия в случае, если он, как мне сказал, пойдет до конца?»

— Горбачев — фигура трагическая, — сказал мне Александр Николаевич. — Вначале он перегнал время, а потом оно от него убежало.

— А может быть, он пришел слишком рано? — попробовал я заступиться за автора перестройки.

— Боюсь, что слишком поздно, — с грустью ответил Яковлев.

АЛЬБОМ:

Александр Яковлев — сапер перестройки

В отличие от Горбачева, которого он всегда, даже заочно уважительно называл Михаил Сергеевич, ко мне Александр Николаевич Яковлев обращался исключительно по отчеству — «Серафимыч». Богатый нюансами русский язык позволяет таким об-

разом избежать и покровительственно-фамильярного, особенно со стороны старшего по чину, обращения по имени, и слишком формального величания по имени-отчеству. «Серафимыч, зайди, потолкуем», — обычно говорил он по телефону. Поводов потолковать находилось немало.

Это были варианты решения «проблемы Сахарова»: разрешить ему уехать за границу или вернуть из ссылки в Москву; что делать дальше с Варшавским договором, который явно не переживет улучшения наших отношений с Западом; как быть с первыми президентскими выборами в ситуации, когда избрание на эту должность их инициатора — Горбачева не гарантировано: избирать ли его всеобщим голосованием, как положено по Конституции, или Съездом народных депутатов (в виде исключения).

Я понимал, что, задавая как бы самому себе вслух эти вопросы в моем присутствии, Александр Николаевич доносит до меня и собственные сомнения, и отголоски своих разговоров с Горбачевым. Начатый ими диалог на летном поле в Канаде, в сущности, продолжался все последующие шесть лет. Он ведь и сам с собой вел постоянный диалог.

Фронтвик, воевавший в морской пехоте, убежденный коммунист первых послевоенных лет, «шестидесятник», веривший в еще не исчерпанные возможности ленинского замысла для России, фактический глава Агитпропа и главный советский пропагандист в Праге, издававший там газету войск Варшавского договора, автор пропагандистских книг, разоблачавших американских империалистов, — это все он.

И тот же Яковлев — партийный фрондер, открыто выступивший против суловского попустительства неосталинистам в защиту «Нового мира» Твардовского и поплатившийся за это разжалованием с должности заведующего Отделом пропаганды ЦК и ссылкой в Канаду. Личный друг премьер-министра Трюдо, пламенный обличитель большевизма как смертельного заболевания России, человек, завершивший незаконченную Хрущевым работу по реабилитации жертв сталинских преступлений, инициатор и главный гарант гласности, разбудившей советское общество и породившей целое поколение свободных российских журналистов.

Дождавшись перестройки и Горбачева, он часто двигался на шаг впереди него, взяв на себя рискованную роль сапера, проделывающего проходы в минных полях. Или десантника, который первым высаживается на занятом противником рубеже, — в случае неудачи им жертвуют. В совместной с Горбачевым истории случались такие ситуации: Яковлева называли и «агентом влияния» Запада, и скрытым сионистом (это с его внешностью ярославского крестьянина!), и американским шпионом, завербованным ЦРУ во время его стажировки в Колумбийском университете.

Если от ретивости КГБ Яковлева уберег Горбачев, то от агрессивных наскоков националистов и партийных консерваторов он его прикрывать не стал, пожертвовав им перед путчем, и уже агонизировавшая партия успела исключить Александра Николаевича из своих рядов.

В марте 1991 года, когда противостояние между сторонниками и противниками перемен довело напряженность в стране до грани прямого столкновения, Яковлев написал Горбачеву развернутое личное письмо. В нем он предупреждал: «Перестройка наталкивается на все более организованное и целеустремленное сопротивление всего корыстного, реакционного, злобствующего, ленивого, которое всеми силами держится за прошлые порядки... Сектантский, насквозь лживый, оторванный от реальности и живого течения общественной жизни характер этой платформы очевиден. Да правые и не тешат себя иллюзиями насчет своей способности бороться за массы. Они привыкли управлять обществом, опираясь на силу и контроль за мыслями. Поэтому им в борьбе за власть важнее заручиться поддержкой армии и правоохранительных органов, а также задушить свободу печати теми или иными способами».

Его, прошедшего войну и раненного на фронте солдата, глубоко оскорбляло то, что 23 февраля, в день Советской армии, в центре Москвы, на Манежной площади, на официальной демонстрации несли его портрет, помещенный в центре мишени с надписью: «Промоха не будет». «Я бы не хотел давать фашистам второй шанс», — заключал свое письмо бывший морской пехотинец.

Однако он на лидера перестройки не в претензии: «В ситуации, в которой мы оказались, — делился он со мной, — ра-

зобратъ, где лево, где право, порой было невозможно. Иногда, затевая что-то, мы сами не видели хвостика. Откуда нам было, например, знать, что гласность так быстро приведет к разрушению строя. Размельчит его, стащит с небес и — шмяк о грешную землю. Да и что это за строй оказался? Скелет какой-то разбившийся. Наверное, это особенность революции без революции. Может быть, даже впервые в истории. И в главном она нам удалась. Так что мне грех жаловаться».

Из «канадской ссылки» Яковлева в Москву по настоянию Горбачева вернул Андропов. Не предполагая, разумеется, что запускает червя в яблоко советской системы. Сам Яковлев в свою очередь убедил Горбачева назначить на должность председателя КГБ Крючкова — тот казался ему человеком надежным и прогрессивным. Того самого Крючкова, главного организатора августовского путча 1991 года, который публично объявил Яковлева западным «агентом влияния» и попросил у Горбачева официальную санкцию на его «разработку».

После провала путча Крючков оказался в тюрьме, а Яковлев, наблюдая прогрессирующий распад государства, готовился к худшему. В декабрьские дни 1991 года он был в депрессии и даже сказал Черняеву: «Знаешь, Анатолий, я думаю, меня убьют не одни, так другие. Если удастся, попробую уехать послем в какую-нибудь небольшую страну».

Но судьба уготовила Яковлеву сыграть в последние дни советской истории еще одну символическую и уникальную роль, не предусмотренную никакими традициями и конституционными регламентами, — единственного свидетеля, своего рода секунданта на последнем очном политическом поединке двух президентов — Горбачева и Ельцина. Именно его оба лидера избрали третейским судьей при передаче дел на их встрече в Кремле 23 декабря за два дня до официальной кончины Советского Союза. Символически приняв отставку Горбачева, Александр Яковлев в роли верховного морального авторитета совершил, таким образом, ритуал посвящения Ельцина в кремлевские владыки.

Стена Страха

Но прежде чем рухнул Советский Союз, упала Берлинская стена. Между этими двумя событиями была очевидная связь. Цель сооружения Стены — желание руководителей СССР и ГДР законопатить последний проем в «железном занавесе», разделившем Европу после Ялты. Хрущев и Ульбрихт возвели этот уродливый монумент холодной войны летом 1961 года, всего через несколько месяцев после апрельского полета Гагарина.

Трудно вообразить себе два более контрастных события. В то время как советская наука и техника дарила миру символ планетарного единения, политика СССР стремилась необратимо расколоть его на непримиримые вселенные. Стена стала конвульсивной реакцией Системы на угрозу, исходившую от опасных для нее внешних перемен. По аналогии с другой известной Стеной — Стеной Плача в Иерусалиме, Берлинскую можно было бы назвать Стеной Страха, ибо он был ее истинной сутью.

Закладывая ночью по-воровски первые камни Стены, ее строители испуганно озирались. Хрущев признался в своих мемуарах, что боялся непредсказуемой реакции Запада на эту авантюру вплоть до возможного военного конфликта. Американский президент Кеннеди после провала советско-американского венского саммита в июне 1961 года опасался новой блокады Западного Берлина. Узнав, что речь идет «всего лишь» о Стене, он с облегчением перевел дух: «В конце концов, это лучше, чем новая война за Берлин», — сказал он.

Горбачев унаследовал Берлинскую стену вместе с другими долгами своих предшественников и быстро убедился в том, что эта «заноза» серьезно ограничивает распространение его «Нового мышления». Подобно афганской войне, Стена с ее зловещим урожаем регулярных жертв среди пытавшихся бежать из ГДР давала его

западным партнерам слишком сильные политические козыри против его «наступления очарования» на позиции Запада.

И Горбачев, и Шеварднадзе, и все в их окружении понимали, что от Стены надо избавиться, не потеряв при этом лица и не принеся в жертву (раньше времени) восточногерманский режим. Думаю, что тайной мечтой Горбачева было бы проснуться однажды утром и узнать, что Стена исчезла сама собой. В сущности, так и произошло. Правда, для этого Горбачеву, верному своей тактике действовать как бы из-за спины Истории, пришлось подрыть ее фундамент так, чтобы Стена повалилась от первого дуновения политического ветра.

Когда я сидел во второй раз в жизни в зале Генеральной Ассамблеи ООН, слушая выступление Горбачева 8 декабря 1988 года, я поймал себя на том, что мысленно задаю тот же вопрос, что и в марте 1985 года во время его первой речи с мавзолея на Красной площади: «Да понимает ли он, к каким последствиям могут привести только что произнесенные им слова?» Тогда это относилось к правам человека, сейчас — к торжественному обязательству соблюдать права всех народов на «свободный выбор» своих правителей и политических систем.

По оценке проницательного Геншера, речь Горбачева была в духе Ганса Ионаса, великого немецкого и американского философа, который был вынужден уехать из Германии в 1930 году из-за того, что был евреем. Геншер, уже предлагавший своим коллегам «поймать Горбачева на слове», считал, что большая часть правящих кругов Запада не поняла ее значения. Речь Горбачева в ООН, задуманную как опровержение фултоновской речи Черчилля о «железном занавесе», первыми услышали совсем не те, кому она предназначалась, то есть его западные партнеры.

«Доктрину Брежнева», как удачно выразился тогдашний пресс-секретарь Шеварднадзе Геннадий Ге-

расимов, заменили «доктриной Синатры» — он имел в виду рефрен его знаменитой песни: «I did it my way»¹. Возможно, это была та самая ситуация, про которую говорил Яковлев: «Приняв какое-то решение, мы далеко не всегда видели его "хвостик"». «Хвостиком» декларированной Горбачевым свободы выбора стал приговор практически всем режимам Восточной Европы. После его речи исчезновение Стены становилось лишь вопросом времени.

Конечно, ни Горбачев, ни Яковлев, ни кто-либо другой в тот день, когда зал Генеральной Ассамблеи ООН стоя приветствовал советского лидера, представившего перспективу мира без насилия и войн, не мог вообразить, что осуществление свободы выбора на практике уже через несколько месяцев откроет сезон «бархатных революций» в Восточной Европе, за которыми всего через два года последуют распад СССР и отставка самого Горбачева. Ликвидация Берлинской стены, таким образом, закономерно вела к крушению советской системы.

Вполне естественно, что далеко не все руководители стран Варшавского блока испытывали равный энтузиазм по поводу отмены «доктрины Брежнева». Для одних уход советских войск из Восточной Европы означал, что они остаются один на один с собственным населением. Для других — объявление о конце эпохи дешевой советской нефти и газа стало стимулом двинуться за кредитами и финансовой помощью на Запад. Но и те, и другие должны были задавать себе тот же вопрос, как и я, слушая Горбачева в здании ООН: «Отдает ли он себе отчет в последствиях своих заявлений?» И тут же другой, связанный с первым: «Как долго удержится он на своем посту, проводя такую политику?» Похоже, единственный, кого этот вопрос не занимал, был сам Горбачев.

¹ «Я сделал это по-своему» (англ.).

Проведший долгие годы «выживания» под пятой советского «старшего брата» Янош Кадар на правах старшего коллеги, к тому же симпатизирующего реформаторским идеям Горбачева, не побоялся спросить его напрямую: «А не опасаетесь ли вы, что вас постигнет судьба Хрущева?» Горбачев в ответ рассмеялся. Ему показалось, что, сравнивая его с Хрущевым, Кадар его недооценивает. Позднее он признает «излишнюю самоуверенность» одним из своих недостатков и причин политического поражения. Но кто из поистине выдающихся исторических личностей не страдал этим недостатком? И оставил бы он след в истории, будь менее уверен в себе?

Выпестованные Кадаром «младовенгры», не пережившие травмы 1956 года и давно мечтавшие о «побеге» в Европу, в отличие от их патриарха сочли, что наступило время не задавать вопросы, а действовать, используя «окно возможностей» Горбачева.

...Мы сидели с Дьюлой Хорном, как в прежние времена тридцать лет назад, в том же будапештском ресторане «Пошта кочи» («Почтовый дилижанс»), очень популярном у членов нашей Всемирной молодежной федерации. Тогда Дьюла был одним из моих коллег, руководителем венгерского Союза коммунистической молодежи. Все изменилось за эти годы, кроме традиционного венгерского меню. Венгрия уже давно вышла из Варшавского договора и вступила в НАТО, Дьюла Хорн, который за эти годы успел побывать на постах премьер-министра и председателя социалистической партии, в 1989 году был венгерским министром иностранных дел.

— Дьюла, скажи мне, как вы принимали решение об открытии границы с Австрией в мае 1989-го, ведь тогда это была не только ваша национальная граница, но и рубеж обороны Варшавского пакта, одна из секций «железного занавеса». Вы согласовали это с Москвой?

— Ты знаешь, Андрей, — с неповторимым венгерским ударением на первом слоге, сказал Хорн, — мы с Неметом (тогда премьер-министром. — А.Г.) решили: такой шанс больше не представится. Мы были убеждены, что пока Горбачев в Кремле, можно не опасаться нового пятьдесят шестого года, но сколько это будет продолжаться, не знал никто. Кроме того, в мае мы открыли границу только для венгров. Я поставил об этом в известность Шеварднадзе за несколько дней, но разрешения мы не спрашивали, чтобы не ставить Горбачева перед необходимостью давать нам официальный ответ. По-моему, Москву это тоже устраивало.

Ситуация обострилась летом, когда мы позволили выезжать в Австрию и отдохавшим у нас на Балатоне гражданам ГДР. Это действительно стало неофициальным «проломом в Стене», и к нам сразу хлынули сотни восточногерманских туристов. Хонеккер был в ярости и жаловался на нас Горбачеву, но Москва сделала вид, что это ее не касается, а, как ты понимаешь, в одиночку Хонеккер ввести к нам войска Варшавского договора не мог. Кроме того, они ведь у нас уже были и, разумеется, ни во что не вмешивались. После этого власти ГДР запретили своим гражданам выезжать в Венгрию. Получилось, что мы, с их точки зрения, оказались уже по другую сторону общей границы Варшавского блока.

Об условиях и объемах финансовой помощи со стороны ФРГ, которую накануне этого решения Хорн ездил обсуждать с Колем и Геншером, он мне не рассказал.

После венгерского «пролома в Стене» еще один ее успешный штурм состоялся в конце лета и опять-таки не в Берлине, а на этот раз в Праге. Там сотни туристов из ГДР оккупировали, как скваттеры, здание и парк, прилегающий к западногерманскому посольству, и потребовали права беспрепятственного выезда в ФРГ. Гансу-Дитриху Геншеру пришлось приехать в Прагу, чтобы решить

эту дипломатическую головоломку. Она приняла сюрреалистическую форму: для формального соблюдения суверенитета ГДР несколько специальных поездов с гэдээровскими гражданами получили разрешение отправиться в ФРГ, но только транзитом через территорию ГДР.

Запечатанные поезда проследовали без остановок мимо оцепленных полицией вокзалов под овации вышедших их приветствовать местных жителей. Политический эффект от этой операции для властей Восточной Германии был катастрофическим, зато формальности соблюдены — граждане ГДР прибыли в Западную Германию со своей территории и с согласия собственных властей.

Другая страна соцлагеря, решившая «поймать» Горбачева на слове и воспользоваться дарованной «свободой выбора», — Польша. Очередной парадокс истории в том, что инициатором поиска политического выхода из тупика, в котором оказалась страна после введения военного положения в декабре 1981 года, стал тот, кто его вводил — генерал Войцех Ярузельский. Похоже, что, подобно Кадару, посвятившему всю свою политическую деятельность после 56 года тому, чтобы уберечь Венгрию от его повторения, Ярузельский после 1981-го ждал момента, когда сможет сбросить с плеч ответственность за применение военной силы против соотечественников. Этот шанс появился вместе с Горбачевым.

«В апреле 1989 года, — рассказывал мне генерал, — работа нашего круглого стола, за которым сидели власть и оппозиция, подошла к рубежу, когда пора было представить результаты достигнутого "исторического компромисса" на суд общества. То есть провести свободные выборы. Я понимал, что они могут дать неожиданный результат и создать беспрецедентную ситуацию внутри стран Варшавского договора — приход к власти некоммунистической оппозиции. Такое случилось бы впервые в истории стран народной демократии.

В этой ситуации я должен был застраховать Польшу от сюрпризов со стороны Москвы. Я хорошо помнил 1981 год — тогда в условиях острейшего национального кризиса передо мной был тяжелейший выбор. Я не знал, что было в головах советских руководителей. Из полученной информации следовало: ничего нельзя исключать. Поэтому весной 1989 года я поехал к Горбачеву. И получил от него полную поддержку. Когда я сказал, что не могу гарантировать результаты выборов в Сейм, он ответил: "Войцех, мы только что сами провели первые свободные выборы Съезда народных депутатов, и я тоже не знал заранее результата. И представь, небо не обвалилось. Как же я после этого могу возражать против этого права поляков"».

Позднее Горбачев написал в своих мемуарах: «Я слушал Ярузельского и думал, что это рассказ о нашем настоящем и будущем. С той разницей, что у нас все это будет идти сложнее».

АЛЬБОМ:
**Польский генерал, который заставил
отступить Варшавский пакт**

Войцеху Ярузельскому выпало пережить несколько эпох, когда национальные драмы Польши становились его личными. Вместе с тысячами соотечественников он еще в юношеском возрасте стал одной из жертв очередного раздела Польши. На сей раз между нацистской Германией и сталинской Россией. Его семья была депортирована в Алтайский край, а сам он попал на принудительные работы на угольных шахтах в Караганде. Но когда нацисты после Польши напали на Советский Союз, Ярузельский без колебаний выбрал судьбу военного и бок о бок с солдатами Красной армии вступил в схватку с общим врагом за общую По-

беду и за свою Польшу. В этой совместной борьбе, по-видимому, уже в те годы у будущего генерала и президента Польши окрепло убеждение в том, что можно быть польским патриотом без того, чтобы становиться антирусским националистом.

Уже в середине 50-х основным общественным силам в Польше стало очевидно, что навязанная стране сталинская формула развития по пути «народной демократии» терпит крах. Она могла сохраняться лишь с помощью советского военного присутствия в странах Варшавского договора и коллаборационизма мини-сталинских режимов, насажденных советскими комиссарами.

Польское общество, в числе первых узнавшее о «секретном докладе» Н.С. Хрущева, отреагировало на него массовыми выступлениями рабочих в Познани в июне 1956 года, подавленными войсками, и только очередное «чудо на Висле» — политический компромисс, заключенный Хрущевым с «ревизионистом» Владиславом Гомулкой, незадолго до этого возвращенным из тюрьмы, — спасло Польшу от советского военного вмешательства. Для Войцеха Ярузельского, оказавшегося участником кровопролитного столкновения в Познани, когда солдаты Войска Польского открыли огонь по участникам народных демонстраций, этот эпизод стал не только политической, но и личной драмой.

Пост руководителя ПОРП и руководителя польского правительства Ярузельский согласился занять (не без колебаний) в начале 80-х годов в ситуации, когда страна вплотную подошла к грани гражданского конфликта. В условиях прямого противостояния между консервативным бюрократическим режимом, постоянно оглядывавшимся на Москву, и все более радикализировавшейся оппозицией в лице «Солидарности», имевшей своих покровителей на Западе (Рональд Рейган сделал программу помощи «Солидарности» частью своего «крестового похода» против коммунизма), именно польская армия, сохранившая моральный авторитет у польского общества, олицетворяла последний шанс избежать национальной катастрофы.

Объясняя уже в посткоммунистическую эпоху свои действия в 1981 году, генерал Ярузельский признает, насколько трудным было для него решение ввести в стране военное положение. Его критики в Польше утверждают, что угроза Москвы применить

к Польше «чехословацкий сценарий» 1968 года на самом деле была блефом. Что одряхлевшее брежневское руководство, увязшее в войне в Афганистане, не могло отважиться на новую внешнеполитическую авантюру. Что и демонстративное передвижение войск вдоль советско-польской границы, и двусмысленные заверения Брежневым тогдашнего польского партийного лидера Станислава Кани в том, что намерений вводить в Польшу войска у советского руководства «пока нет», были лишь политическим шантажом. Возможно, они и правы.

Я задавал этот вопрос Черняеву и Шахназарову, присутствовавшим на заседаниях Политбюро при обсуждении «польского вопроса». Оба в один голос говорили, что направление в Польшу советских войск ни разу не упоминалось. Больше того, Брежнев даже говорил, что в случае «прихода к власти "Солидарности" придется снять поляков с советского "нефтяного довольствия"».

Однако, оглядываясь на трагический 1968 год, когда дистанция от «дружеского увещевания» Александра Дубчека тем же Брежневым до приказа об интервенции была пройдена за несколько месяцев, кто мог дать реальные гарантии Войцеху Ярузельскому, что и на этот раз «кремлевские старцы» не перейдут Рубикон и границы политической логики и здравого смысла.

Не надо забывать и о характере генерала, о личном достоинстве солдата и польского патриота. Как ответственный политик и как поляк он просто не имел права допустить такой унижительной ситуации, когда судьба его страны зависела бы от политической конъюнктуры в Москве. «Заморозить» польский кризис с помощью военного положения и, таким образом, выставить заслон любым попыткам вмешаться во внутренние польские дела — таков был его политический и личный выбор в декабре 1981 года, который надолго сделал его объектом атак и у себя в стране, и в западной прессе, немедленно окрестившей его «польским Пиночетом».

При этом даже самые яростные критики Войцеха Ярузельского признавали, что сама операция по введению военного положения в стране с 40-миллионным населением прошла практически без жертв. В других обстоятельствах как профессионал генерал мог бы этим гордиться, но вряд ли такой «успех» доставил ему моральное удовлетворение. Выступая перед своими коллега-

ми по Варшавскому договору в июле 1989 года, Ярузельский вынес сам себе безжалостный приговор: «Введение военного положения в Польше было победой с военной точки зрения, но поражением с точки зрения политической». К этому времени генерал стал политиком, но с поражениями как профессиональный военный мириться не мог.

По свидетельству М.С. Горбачева, из всех руководителей стран — членов Варшавского договора именно Ярузельский оказался лидером, с наибольшим энтузиазмом воспринявшим начало перестройки в Советском Союзе, не только потому, что разделял ее демократическую направленность, но и потому, что хорошо понимал: революция, начатая в Москве, откроет и для Польши путь к демократии и подлинному суверенитету.

Результатом переговоров с «Солидарностью» стала формула круглого стола, подготовившая выборы в Сейм. И в июне 1989 года понадобилась военная твердость генерала для того, чтобы партийная номенклатура, бесславно проигравшая выборы, признала их результаты. Обеспечив, таким образом, мирный политический «переворот наоборот» и вручив законодательную власть в стране новому легитимному Сейму, генерал имел все основания считать, что страница, связанная с кризисным 1981 годом, перевернута, и что его политическая миссия завершена. Именно поэтому он не собирался выдвигать свою кандидатуру на предстоявших летом президентских выборах.

Однако произошло непредвиденное — в ситуации хрупкого политического равновесия, в которой оказалась польская демократия, представители всех основных политических сил страны предложили генералу как гаранту продолжения демократического процесса дать согласие на участие в выборах. С личными ходатайствами о выдвижении его кандидатуры к Ярузельскому обратились и те, кого с трудом можно было заподозрить в политической симпатии к руководителю ПОРП и инициатору объявления военного положения, — лидер «Солидарности» Лех Валенса, папа Иоанн-Павел II и даже президент США Джордж Буш, находившийся в Польше с визитом летом 1989 года.

В результате Польша первой среди стран — членов Варшавского договора открыла сезон «бархатных» революций в Вос-

точной Европе, продемонстрировав миру уникальную формулу политического плюрализма: сосуществование президента-коммуниста с представлявшим антикоммунистическую оппозицию премьер-министром Тадеушем Мазовецким.

В нынешней Польше, во многом обязанной генералу Ярузельскому мирным и цивилизованным выходом из тоталитарного прошлого, он вряд ли мог надеяться на признание своих заслуг. Новые польские лидеры не смогли устоять перед искушением свести счеты с прошлым, избрав генерала в качестве его символа. Против давно ушедшего в отставку военного и политика был начат громкий и, несомненно, политический процесс, который прекратила только его смерть.

1989 — ГОД, КОГДА МИР «ВЫШЕЛ ИЗ СУСТАВА»

В одном из баров Восточного Берлина, протирая стаканы, бармен пожимает плечами: «В 1961 году они поставили Стену, чтобы все не убежали на Запад. В 1989-м для этого же они ее разрушили. Вы видите логику?» Событий, происшедших только в одном 1989 году и заслуживающих названия исторических, в более спокойные времена хватило бы на десятилетие. Он стал не годом-развилкой, а шарниром, вокруг которого повернулась история конца XX века, внезапно ускорившая свое движение, приобретя характер лавины, практически не подчинявшейся политикам. Это относилось и к Горбачеву, который дал первоначальный толчок процессам перемен, а начиная с этого года был вынужден бежать впереди событий, веря или делая вид, что он ими управляет.

Первые свободные выборы в Советском Союзе, жертвы при разгоне демонстрации в Тбилиси, вывод войск из Афганистана, танки на площади Тяньаньмэнь, многокилометровая людская «цепь памяти» в Прибалтике

по случаю 50-летия пакта Молотова – Риббентропа, смена режимов в Восточной Европе... Подводя черту под холодной войной, 1989 год стал по существу финалом политического XX века, начатого русской революцией 1917 года. Однако его самым символичным событием станет падение Стены.

...Стена упала неожиданно, как падает перестоявшее свой век сухое дерево. Разглядывая его истлевший ствол, все в один голос будут удивляться тому, что это не произошло раньше. Но если бы им задали вопрос о возможном исчезновении Стены и тем более об объединении Германии раньше, большинство тогдашних мировых политиков, включая западногерманских, сказали бы: «Не при нашей жизни». Это показал и официальный визит Горбачева в ФРГ в июне.

Михаил и Раиса были под впечатлением необычайно горячего приема, оказанного им немцами, тысячами заполнившими улицы Бонна. Вечером по заведенной традиции чета Горбачевых устроила в посольстве «чай» для группы сопровождавших Генсека советских журналистов и деятелей культуры. Еще разгоряченный энтузиазмом жителей, Горбачев объяснял его восторгами, которые пробудила во всем мире и в Германии советская перестройка.

Мы с Николаем Португаловым, рискуя испортить атмосферу политического праздника, решили напомнить шефу о проблеме послевоенного разделения Германии. Португалов отважился взять слово:

— Михаил Сергеевич, вы видели, с каким неподдельным энтузиазмом вас сегодня приветствовали тысячи немцев. Такого приема до вас не получал ни один советский лидер, а может быть, и ни один иностранный руководитель. Но вы должны знать, что за этим приемом стоит невысказанная надежда всей нации: немцы верят, что вы поможете им решить проблему национального единства.

Некоторое время молчали все, включая Горбачева. Потом он недоуменно пожал плечами:

— Но ведь они должны знать, что это сейчас невозможно, — полувопросительно сказал он.

Думаю, что точно такой же ответ могли бы дать в мае 1989 года не только он, но и Миттеран, и, разумеется, Тэтчер, и Джордж Буш, и даже Гельмут Коль. Португалов благоразумно промолчал, не вступая в полемику. Кто-то перевел разговор на другие сюжеты, но фраза Португалова продолжала проступать на стене, как надпись во время пира Балтасара. До падения Берлинской стены оставалось всего четыре месяца...

Однако для того, чтобы Стена Страха пала через 28 лет после своего возведения, понадобилось, чтобы к руководству страной в Москве пришел человек, избавленный от комплексов, которыми страдали его предшественники. Он не должен был, во-первых, быть одержим паранойей страха перед тем, что с Запада на Советский Союз обрушится внезапная агрессия.

Не только никто из переживших войну вождей СССР, но и целое поколение советских людей, отмеченных клеймом войны и не готовых ни забыть, ни простить, не могли избавиться от «синдрома 1941 года». Их послевоенная жизнь проходила под девизом «лишь бы не было войны», и для защиты Отечества они бы «за ценой не постояли».

То же относилось и к вопросу об отношении к немцам. То, что это затрагивало почти каждую советскую семью, выводило пресловутый «германский вопрос» из общего ряда дипломатических и политических дискуссий с Западом, превращая в чувствительную проблему национального сознания. Уже по одним этим, скорее психологическим, чем политическим причинам вообразить себе согласие на воссоединение Германии и устранение Берлинской стены при Андропове и Громыко было немислимо.

Горбачев, несмотря на то что его отец воевал и был ранен, а сам он пережил немецкую оккупацию, стал первым представителем поколения, способного рассуждать о вопросах войны и мира не только эмоционально, но и рационально, глядя на внешний мир открытыми глазами без предвзятости и оборонительной паранойи.

Но была у Горбачева, помимо отсутствия «синдрома 1941 года», и другая причина не препятствовать устранению Стены и желать ее исчезновения. Речь шла уже не о поколенческом, а об идеологическом разрыве с его предшественниками. В отличие от них, Горбачев верил: его «Новое мышление» может получить исторический шанс, причем не только в его стране, но и в мире. И в этом случае Берлинская стена, как и сам «железный занавес», становилась для него не щитом, необходимым для выживания, а помехой, препятствующей его распространению и возможному планетарному триумфу.

Осенью 1989 года режим Хонеккера решил использовать празднование 40-летия ГДР для того, чтобы законопатить образовавшиеся в ней бреши. Окружение восточногерманского лидера не скрывало, что вдохновлялось больше опытом КНР, тоже праздновавшей в октябре этого года свой 40-летний юбилей, и примером Тяньаньмэнь, нежели советской перестройкой, и, наверное, предпочло бы пригласить на торжества в Восточный Берлин Дэн Сяопина вместо Горбачева. Но какой же праздник победившего социализма на немецкой земле без советского руководителя, даже такого «ущербного», с точки зрения гэдээровских ортодоксов, как Горбачев. И без того уже в двусторонних переговорах Хонеккер с ним давал понять, что на родине Маркса и Энгельса больше понимают в марксизме, чем в ревизионистской Москве.

Естественно, руководители ГДР не могли, как их китайские коллеги в Пекине, возить Горбачева по вто-

ростепенным улицам своей столицы, чтобы избежать его встречи со студенческими манифестантами. Его поместили на трибуне рядом с Хонеккером, которому пришлось в течение всей официальной церемонии терпеть публичное унижение от участников демонстрации, восторженно скандировавших: «Горби! Горби!» Вторую «черную метку» пригласившему его Хонеккеру Горбачев передал во время своего выступления перед членами Политбюро СЕПГ, когда призвал к реформам и произнес фразу, вошедшую в мифологию 89 года: «Того, кто отстаёт, наказывает история».

На самом деле, как мне подтвердил присутствовавший на этом заседании советник Горбачева Шахназаров: «Горбачев относил эти слова к собственному опыту, а не призывал немцев свергать своего засидевшегося вождя. Он считал, что главным стимулом для перемен должен стать советский пример, и не собирался навязывать другим московские креатуры. Из-за этого и тянул с публичным разрывом с полностью изжившими себя лидерами — типа Хонеккера, Живкова и даже Чаушеску. Считал Советский Союз в большой степени ответственным за эти режимы и поэтому хотел дать им время для адаптации». Кроме того, как сказал мне Шахназаров, «мы тогда еще не представляли, что может так рвануть».

Эта личная деликатность Горбачева, увы, неприемлемая в безжалостном мире реальной политики, оборачивалась политическими издержками для него самого и приводила к очевидному отставанию его политики в отношении Восточной Европы. Я помню, как еще летом 1988 года, накануне приезда Горбачева в Варшаву, мы с Евгением Примаковым, как члены передовой группы, встречали его самолет на аэродроме и гадали: привезет он или нет Ярузельскому документы, подтверждающие ответственность Сталина за расстрел польских офицеров в Катыни. Не привез. Как нам сказали его помощ-

ники, большинство Политбюро, начиная с председателя КГБ Чебрикова, этому воспротивилось. В результате, хотя Горбачев и признал публично советскую вину за это преступление, сами эти документы он как «только что обнаруженные» передал Ельцину вместе с политическими козырями против себя самого.

Вплоть до осени 1989 года он, жалея чехословацкого лидера Гусака, тянул с осуждением советской интервенции против Чехословакии в 1968 году (по его мнению, чехословацкие коммунисты должны были это сделать первыми). Да и с официальной оценкой подавления будапештского восстания 1956 года выступил только, когда в Москву осенью 1991 года приехал новый премьер-министр Венгрии Анталл из антикоммунистической оппозиции.

Даже в Румынии, несмотря на политическую неприязнь и личную антипатию к Чаушеску (как мне рассказывал мой коллега, присутствовавший при встрече двух супружеских пар в Бухаресте — Горбачевых с Чаушеску, — их политический спор «только что не дошел до драки» между двумя темпераментными первыми дамами), он не стоял за спиной Илиеску и отказался следовать советам своих западных друзей — от Буша-старшего до Ролана Дюма, дававших понять, что «поймут оправданность» советского вооруженного вмешательства для смещения Чаушеску. Зато на его руках нет крови расстрелянного без суда Чаушеску, как у западных «советников» ливийской оппозиции — от свирепой расправы с Каддафи.

Пробуждение германского «вулкана»

Горбачев утверждает, что о падении Стены узнал утром 9 ноября. В это можно поверить. Поскольку события в Берлине развивались хаотически, никто в его

окружении не решился будить Генсека из-за события, которое на первый взгляд не представляло угрозы для национальной безопасности. Когда ему сказали, что ночью под напором уличной демонстрации гдээрровские власти открыли пропускные пункты на границе с Западным Берлином, он сказал: «Правильно сделали».

Все, таким образом, произошло в соответствии с его желанием — без его команды или официального одобрения чьих-то действий. Еще во время Первого съезда народных депутатов Андрей Сахаров, комментируя поведение Горбачева, сказал: «Мы никогда не знаем, какие из решений принимаются им, а какие возникают по его желанию, но как бы сами собой. Он умеет строить подобные комбинации, когда возникает "цугцванг", выражаясь шахматным языком, и получается именно то, чего он хочет».

Мой друг Дьюла Хорн правильно угадал эту особенность поведения Горбачева в щекотливых или деликатных ситуациях: «Хочешь добиться результата и уверен в политической обоснованности твоего решения — действуй сам». В данном случае Горбачеву хотя и не достались лавры лидера, лично повалившего возведенную Хрущевым стену, но, по крайней мере, ему не надо было объясняться с консервативной оппозицией и генералами в Москве по поводу того, что он лично подарил Западу за бесценнок важнейший советский стратегический козырь.

О советских генералах и их возможной реакции на произошедшее в это время думал не только Горбачев. Все западное политическое сообщество, начиная с лидеров ФРГ, оказалось застигнутым врасплох той легкостью, с которой, как бы сам собой, развязался один из наиболее запутанных узлов холодной войны и разрешился «берлинский вопрос», служивший с 1948 года поводом как минимум для двух острейших кризисов в отношениях между Востоком и Западом.

На Западе замерли в ожидании того, как перед лицом этого стратегического катаклизма поведет себя Москва. Одни опасались, что Горбачев, пусть и против собственной воли, будет вынужден восстановить нарушенный статус-кво с помощью советских танков. Другие, наоборот, того, что, если он этого не сделает, его самого устроят от власти разъяренные военные, не готовые смириться с пересмотром итогов последней войны. Результат и в том, и в другом случае был бы плачевный: утрата надежд на перемены в СССР, связанные с перестройкой, и возврат советской политики к противостоянию с Западом.

Парадоксально, что в эти дни на Западе больше, чем на Востоке, боялись того, что немцы, будь то западные или восточные, увлекшись эйфорией падения Стены, забудут о статусе побежденной нации и сами возьмутся определять свою дальнейшую судьбу. Неожиданно проснувшийся германский вулкан посреди Европы разбудил, казалось бы, сглаженные временем и годами атлантической солидарности антинемецкие комплексы и страхи. И в этой ситуации «вернувшейся истории», которую особенно остро, на уровне рефлексов ощущали Миттеран и Тэтчер, они, почти как в свое время Рузвельт и Черчилль к Сталину, повернулись к Горбачеву.

С одной стороны, как к безусловному катализатору перемен, нарушавших комфорт утвердившихся после войны европейских порядков. С другой — как к олицетворению последней военной силы и узды, способных усмирить рвавшего поводья немецкого жеребца. Годы спустя, после открытия архивов и публикации воспоминаний участников и свидетелей этих событий, по меньшей мере поучительно обнаружить в них и реплику Андреотти о том, что он так любит Германию, что предпочитает, чтобы их было несколько; и отнюдь не дипломатические выпады Тэтчер в адрес Коля как воплощения

германского реваншизма; и высказанную, правда, не публично, Миттераном уверенность в том, что «пруссские немцы никогда не смирятся с верховенством баварцев».

Все они в разных выражениях давали понять Горбачеву (Тэтчер во время беседы с ним тет-а-тет в Москве просила присутствовавшего при этом Черныева не записывать ее слова), что «проявят понимание», если он напомнит немцам о присутствии на территории ГДР колоссальной советской военной группировки и, таким образом, «приведет их в чувство».

Политическая и эмоциональная паника охватила на несколько недель западноевропейские столицы и достигла до Вашингтона, избавленного благодаря океану от антинемецкого синдрома европейцев, но всерьез озабовавшегося потерей контроля над своим самым надежным стратегическим партнером в Европе. (Самый европейский из американцев Киссинджер в разговоре с советским послом Добрыниным тоже советовал «подвигать» размещенный в ГДР советский воинский контингент.)

После неожиданно свершившегося чуда падения Стены мир затаил дыхание в ожидании развития событий. Ни в Москве, ни в Бонне, ни в Берлине руководители оказались не готовы к тому, что политика, которой, как они верили, управляют, вырвется из рук и выплеснется на улицу. Горбачеву в этой ситуации, чтобы не потерять лицо, требовалось убедить всех — и у себя дома, и за рубежом — в том, что он остается хозяином положения и никоим образом не подмят развязанной им самим стихией. Для этого надо было предостеречь Бонн от поспешных, а главное, несогласованных с Москвой шагов в сторону национального объединения. Реку Истории, внезапно покинувшую отведенное ей русло, требовалось срочно ввести в бетонные дипломатические берега. И здесь, по выражению Николая Португалова, судьба подарила ему шанс «ухватиться за мантию Истории».

В этой неожиданно взбаламученной атмосфере у него, как и у других членов московского «германского лобби», начиная с Фалина, вновь проснулись надежды заново разыграть традиционную российскую «немецкую карту» — возродить «дух Рапалло». Воскресить мечту о российско-германском альянсе, позволяющем двум мастодонтам доминировать над остальной Европой. Мечту, которая периодически оживала в советских дипломатических кругах то в форме рапальского «союза изгоев» — большевистской России и веймарской Германии, то в виде пакта Молотова — Риббентропа, то в тексте неожиданной ноты Сталина, предлагавшего в 1950 году разделенной Германии воссоединение в обмен на ее нейтрализацию.

Когда новые надежды немцев на объединение оказались разбужены уже принципиально другим, демократическим горбачевским проектом, способным превратить СССР из «военного коменданта» в привилегированного политического и, что не менее важно, экономического партнера Германии, было резонно предположить, что за «ключи» от германского единства, находящиеся в Москве, Западная Германия готова будет заплатить. «В 1989-м мы с Фалиным воспрями, как боевые кони, решив, что пришел наш час», — говорил мне Португалов.

Эту задачу, по замыслу Фалина, мог выполнить проект конфедерации двух германских государств, которые бы какое-то время существовали бок о бок. Очевидный плюс этого проекта, с его точки зрения, состоял в том, что конфедерация формально «замораживала» на неопределенное время существование ГДР, защищая ее от угрозы поглощения Западной Германией. Всем, однако, было понятно, что речь шла лишь об оттяжке и что через какое-то время эти две параллельные линии сойдутся в рамках единого государства. Оставалось внедрить эту интеллектуальную конструкцию в головы политических руководителей в обеих странах.

Поскольку Горбачев в то время еще не был готов смириться с перспективой исчезновения ГДР, оставалось подбросить ему эту идею через Коля. Так, в недрах Международного отдела ЦК, которым заведовал Фалин, родился конспиративный замысел: обойти собственно Генсека и министра иностранных дел Шеварднадзе и, взяв в сообщники немцев, уговорить Горбачева возглавить неизбежное. Орудием этого «заговора» стал Португалов, которому предстояло реанимировать неофициальный канал связи, созданный Андроповым. Я как заместитель одного (Фалина) и номинальный начальник второго (Португалова) в привилегированной позиции мог наблюдать за развитием этой невероятной интриги.

АЛЬБОМ:

Николай Португалов: «Я толкнул ногой дверь к германскому объединению»

Николай Португалов — выходец из старой русской интеллигентной семьи. Его отец, известный хирург, в предвоенное время числился в кругу «кремлевских врачей» (по счастью, он не дожил до времен «дела врачей-убийц»).

Сам Николай, поступив в МГИМО, оказался на одном курсе с Валентином Фалиным, будущим многолетним советским послом в Бонне. Он выбрал своей специальностью и судьбой Германию и, блестяще выучив немецкий язык, стал одним из самых авторитетных советских германистов. По-видимому, именно европейская образованность, темперамент и не в последнюю очередь авантюрная жилка помешали ему, как позднее и мне, сунуть шею в хомут унылой мидовской чиновничьей службы. Из оставшихся вариантов — наука, журналистика и КГБ — он выбрал два последних и стал агентом советской разведки, работавшим под «крышей» журналиста «Литературной газеты».

Зная его неспособность долго держать про себя даже профессиональные секреты (он, уже перейдя на работу в ЦК, охотно

рассказывал мне об участии в спецоперациях Комитета, вроде подготовки фальшивых мемуаров Хрущева, и не скрывал яростного презрения кадрового разведчика к «тупым убийцам» из внутренних подразделений чекистской «охранки»), я уверен, что его «двойная фуражка» была для его немецких контактов секретом Полишинеля. И скорее только добавляла ему престижа в их глазах, позволяя рассматривать Николая как канал прямой связи с Москвой.

Так оно и было: в годы, когда восточная дипломатия Вилли Брандта нащупывала возможности прямого выхода на советское руководство, чтобы обойти бетонные заграждения МИДа и его шефа Громыко, председатель КГБ Андропов по договоренности с Брежневым решил открыть неофициальный канал связи между Москвой и Бонном. Португалов стал его советской частью, его партнером в окружении Брандта — Эгон Бар.

Сообщничество двух институтских друзей — Португалова и Фалина — позволило создать невероятную по бюрократическим канонам схему: когда послу в Бонне Фалину требовалось о чем-то доверительно информировать Брежнева, он, зная о презрительном отношении своего министра к немцам, предпочитал посылать депеши в Москву через Португалова и его каналы КГБ, справедливо рассчитывая, что Андропов будет к ним более восприимчив, чем его собственный министр.

Однако с течением времени и по мере деградации кремлевского режима даже роль привилегированного посредника между двумя столицами перестала устраивать моего темпераментного друга, тем более что его шефы в КГБ требовали от него рутинной службы: сбора информации и вербовки среди его немецких коллег-журналистов «агентов влияния», готовых обслуживать советскую пропаганду. Николай тем более этим тяготился, что сам, будучи яростным антисталинистом, чаще сочувствовал не советской, а западной позиции.

Он утешался тем, что смог найти в Бонне родственную душу в среде немецких коллег, причем не по журналистскому цеху, а среди разведчиков. Будучи профессионалами, они быстро расшифровали друг друга, но вместо рапортов о противнике своему начальству заключили между собой своеобразный «пул». Оба устали играть в боевиках «плаща и кинжала», решив, что их товари-

щеские отношения весят много больше, чем их лояльность работодателям.

Конечно, Португалов, как и его немецкий друг «Шотик», по-прежнему выполнял «минимальную службу», направляя вверх и часто согласовывая с другом свои донесения, но обслуживать всерьез холодную войну был не намерен. На их уровне советско-германское примирение состоялось много раньше, чем на государственном, а история этой необычной дружбы вполне могла бы стать сюжетом романа Джона Ле Карре.

После падения Стены Николай отправился в Бонн с двумя поручениями. Одним официальным — посланием Горбачева Колю, переданным через Черныяева, и вторым, тайным — личным комментарием Фалина, адресованным помощнику Коля Тельчику, которое Николай зашил в подкладку своего старого форменного «плаща». Он должен был посоветовать Тельчику (и Колю) подумать над вариантом конфедерации двух немецких государств, давая понять, что, если они не будут слишком торопиться, «все станет возможным».

Не веря своим ушам, Тельчик переспросил Португалова, означает ли слово «все» возможность объединения Германии. И тут Николай не упустил предоставившегося ему шанса: «Я толкнул ногой дверь к германскому объединению», — возбужденно сказал он мне по возвращении. Из всего многослойного послания, полученного из Москвы, Тельчик, пренебрегая остальными нюансами, запомнил два слова: «все возможно» — и с ними ворвался в кабинет к Колю. «Если в Кремле уже исходят из неизбежности воссоединения Германии, то как мы можем от них отставать», — заявил он канцлеру.

Спустя несколько дней Коля, выступая в бундестаге, ошеломил весь мир, начиная со своего министра иностранных дел Геншера и кончая собственными союзниками — американцами, французами и англичанами, а также Горбачевым, своими «10 пунктами», — в них шла речь о «договорном сообществе» двух германских государств как этапе на пути их объединения.

Не ожидавший, что его дипломатическая «самодеятельность» столкнет подлинную политическую лавину, Фалин поспешил откреститься от «миссии Португалова», возложив, таким образом, на своего друга всю ответственность (и одновременно отдав ему главную заслугу) за неожиданное ускорение процесса герман-

ского объединения. Немцы (как Тельчик, так и Коль) повели себя честнее: в публичных выступлениях они признали, что главный импульс для формулирования знаменитых «10 пунктов» они получили из Москвы.

Сорвавшись с тормозов, на которых она было закреплена в 1945 году решениями держав-победительниц, вагонетка восстановления национального единства Германии, набирая скорость, помчалась к своей цели. Николай Португалов, как безмянный стрелочник, вовремя переведший стрелку, приветственно помахал ей вслед.

Если выпало Империей родиться...

Вынужденный скиталец Иосиф Бродский написал: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря...» Перефразировав его, можно сказать, что России «выпало Империей родиться...»

Вся историческая судьба этого крупнейшего мирового государства во многом определена его уникальной родословной. В отличие от большинства других империй, Россия не отправилась покорять заморские территории на другие континенты, а оформилась как имперское многонациональное государство, постоянно разбухая и присоединяя к своему историческому телу соседей, не успев сама пройти через стадию формирования государства-нации. В результате она стала уникальной империей без метрополии. И когда по мировому календарю пришла пора распада империй, России было некуда возвращаться и неоткуда уходить — можно было только распасться.

Неожиданными спасителями Российской империи в эпоху, когда остальные расползались по национальным швам, стали большевики, превратившие готовую обрушиться российскую Вавилонскую башню в «Башню

Татлина» — уходящий в небо коммунистического рая интернациональный проект. Но, унаследовав от царизма империю, они восприняли и классическую имперскую методику управления ею.

Эммануэль Тодд в своем эссе «После Империи», посвященном распаду американской системы, справедливо замечает: «Центр начинает обращаться с покоренными народами, как с коренными гражданами, и с коренными гражданами, как с покоренными народами. Сама логика власти ведет к всеобщей уравниловке, суть которой не свобода для всех, а притеснение всех»¹.

Это наблюдение, перекликающееся с тем, что за два века до Тодда заметил Чаадаев (царская власть ведет себя со своими подданными, как внешняя «оккупировавшая страну сила»), вдвойне применимо к советской системе, в которой уравнивающий всех гнет бюрократии был замаскирован не общим имперским знаменателем, а коммунистическим интернационализмом.

На гигантском пространстве от Балтики до Дальнего Востока, которое занимал Советский Союз, унаследовавший от российской империи целую галактику наций, народностей и национальных меньшинств, разумеется, не исчезли застарелые территориальные, межконфессиональные и межэтнические конфликты. Но если во времена царизма подавлением внутренних бунтов в «тюрьме народов», какой, по выражению Ленина, была Россия, занималась армия и охранка, то в советскую эпоху их роль взяли на себя партия и НКВД. Недаром, по свидетельству Солженицына, львиную долю политических заключенных ГУЛАГа составляли «буржуазные националисты», представлявшие практически весь многонациональный состав СССР.

¹ Todd Emmanuel. Après l'empire. Essai sur la décomposition du système américain. Paris: Gallimard, 2002. Folio actuel. P. 115.

Приход Горбачева и политика гласности всколыхнули в многонациональной стране почти забытые надежды. Открытие болезненных страниц прошлого и осуждение сталинских преступлений должно было с неизбежностью ставить в повестку дня не только вопрос о реабилитации жертв, но и об исправлении государственных ошибок и преступлений. Вслед за Прибалтикой, не смирившейся с насильным включением в состав Советского Союза на основе пакта между Сталиным и Гитлером, загорелся Кавказ с карабахскими армянами, абхазами, турками-месхетинцами. Не желая «аншлюса» с Румынией, восстало прорусское молдавское Приднестровье. В арену межнациональной резни превратилась Ферганская долина Узбекистана...

Перед Горбачевым, явно не ожидавшим, что его новое мышление проявит свой революционный характер в его собственном доме, встал, как в свое время перед Хрущевым в 1956 году, вопрос о том, как быть с принципами, когда надо спасать загоревшийся дом. Для Хрущева выбор упрощался ссылкой на холодную войну и происки империализма, а также тем, что Будапешт находился за рубежом, а не на советской территории. Горбачев не имел ни того, ни другого оправдания. Главное же, у него в отличие от Хрущева были другие приоритеты.

Если события 1989 года, включая возвращение советских войск из Афганистана и уже начавшееся свертывание советского присутствия и влияния в Восточной Европе, а также, естественно, падение Берлинской стены, еще можно интерпретировать и представлять как возвращение Советского государства в свои естественные рубежи и одновременно триумф нового политического мышления, то распространение вируса «свободного выбора» внутри СССР грозило «красной империи» степным пожаром.

Закономерные для СССР, как для любой многонациональной империи, вспышки национальных проблем на этот раз не ограничились периферией, а пришли в Москву под стены Кремля и окна Центрального Комитета. Самые дерзкие, а может, просто отчаявшиеся и опасавшиеся оказаться забытыми крымские татары, выселенные из Крыма в Среднюю Азию, разбили палаточный городок у гостиницы «Россия» и начали проводить ежедневные митинги в режиме нон-стоп в сквере напротив главного цековского подъезда, к которому по утрам подъезжало начальство. В результате впервые за свою историю этот священный для визитеров вход был забаррикадирован изнутри, как ворота в осажденную крепость.

Когда вопрос о том, как вести себя по отношению к демонстрантам, обсуждался в Политбюро, Громыко, воспитанный в старой советской школе, сказал: «Достаточно армии появиться на улицах, и демонстранты разбегутся». Горбачева явно не привлекала перспектива устраивать на Старой площади Тяньаньмэнь, и он предложил самому Громыко, ставшему к тому времени Председателем Президиума Верховного Совета, возглавить комиссию для переговоров с лидерами татарской общины. Вероятно, за всю многолетнюю карьеру Громыко это был первый случай, когда весь его дипломатический опыт понадобился «Господину Нет» для столь деликатной миссии. Компромисс (временный) был в конце концов найден, и демонстранты покинули площадь перед зданием ЦК. Однако вопрос о разрешении квадратуры круга — реформирования Союза ради его сохранения — оставался.

Задача Горбачева осложнялась сразу несколькими факторами. Помимо национализма классического, можно сказать, банального, разъедающего все империи и многонациональные государства и отражающего оби-

ды и требования угнетенных меньшинств и народов, ему пришлось столкнуться с национализмом «номенклатур». Его политические противники в разных республиках раньше его самого и его окружения осознали, каким могущественным и опасным инструментом в политической борьбе против Центра может стать национальная идея (особенно когда терпит крах заменявшая ее идеология и ослабляется страх перед репрессиями).

Этот инструмент можно использовать для разных, в том числе противоположных целей. В начале XX века большевики возглавили восстание окраин Российской империи против царского самодержавия. В конце века удельные республиканские коммунистические «князьки», все бывшие члены Политбюро, обратились к национальным девизам для того, чтобы поднять мятеж против перестройки, грозившей оставить их один на один с собственными обществами. Прав оказался один из интеллектуальных вождей польской «Солидарности» Адам Михник, когда, переиначив ленинскую формулу насчет капитализма и империализма, сказал: «Высшая стадия коммунизма — это национализм».

Как ни парадоксально, предыдущий режим устраивал их больше: ведь чтобы получить от Москвы безлимитную гарантию на сохранение у власти, достаточно было продемонстрировать лояльность очередному Генсеку. Демократизация, которую открывала горбачевская перестройка, обесценивала эти гарантии, как облигации российских займов начала века, и мандата на власть надо было добиваться от своего общества, участвуя в выборах в борьбе с конкурентами, да еще с непредсказуемыми результатами.

Когда полный благих намерений Горбачев не только декларировал, но и подтвердил своими действиями отказ от использования силы как инструмента национальной

политики, то оказался застигнут врасплох. Вместо благодарности со стороны национальных элит он столкнулся с их нетерпеливым желанием использовать этот шанс для самоутверждения и сведения застарелых счетов с соседями, не заботясь ни об успехе перестройки, ни о судьбе общего государства.

Как объяснить, что Горбачев и его команда проглядели эту опасность? Трудно вообразить, что они не отдавали себе отчета в исключительной разнородности и пестроте исторической и культурной ткани, из которой было сшито за многие века гигантское «лоскутное одеяло» Российской империи с советскими гербами, нашитыми большевиками. Ведь ни сам Горбачев — полурусский, полуукраинец, выросший в казацкой станице в предгорьях Кавказа, ни его министр иностранных дел грузин Шеварднадзе, ни главный политический советник карабахский армянин Шахназаров по идее не нуждались в учебниках истории или сталинских работах по национальному вопросу, чтобы иметь представление о мультикультурном многослойном пироге, которое представляло собой советское общество. Почему же такой неожиданностью стали для них открывшиеся в тылах перестройки партизанские «национальные фронты»?

Мое объяснение: они, как и большинство окружавших их партийных функционеров, были образцовыми *homo soveticus* во втором поколении — продуктами системы, которую взялись реформировать. Приведу характерный пример. В поисках замены Андрею Громыко на посту советского министра иностранных дел Горбачев позвонил своему давнему комсомольскому коллеге (и соседу по Кавказскому региону) Эдуарду Шеварднадзе и ошеломил его неожиданным предложением. «Но ведь я грузин», — на всякий случай напомнил своему другу Шеварднадзе. Горбачев отмахнулся: «Ты советский человек, это главное».

Уже на первых по-настоящему свободных выборах в Верховный Совет весной 1989 года больше половины всемогущих областных партийных секретарей были отвергнуты избирателями, решившими опробовать в деле обещанную им свободу выбора. Кому такое могло понравиться? Конечно, не республиканским «баронам». Немедленно сменив партийные мундиры интернационалистов на национальные халаты духовных или религиозных вождей своих наций, они решили показать Центру свою силу.

«Стихийные» национальные мятежи на юге советской империи — в Казахстане, Азербайджане, Армении и, разумеется, в Прибалтике, стали вторым после распада внешнего «пояса безопасности» СССР — Варшавского договора — испытанием и для перестройки, и для Горбачева. Достаточно легко простившийся с «внешней» советской империей в виде стран Восточной Европы, он, конечно, не мог с легким сердцем допустить распад страны, первым президентом которой его избрали совсем недавно. Перед ним во весь рост стала дилемма: жертвовать ли «вторым кольцом» окружения России, уже давно ставшим частью ее исторического имперского тела, и, значит, смириться с распадом СССР или «поступаться принципами» и возвращаться к насилию как к испытанному средству спасения государства.

Верный своему темпераменту реформатора-реформиста, Горбачев и здесь попробовал выбрать третий путь. В результате лидер-революционер, инициатор и нетерпеливый катализатор перемен, воспринимавшийся многими как пироман, оказался в статусе пожарного, заботящегося о сдерживании развязанных им самим процессов и начавшего думать о союзе с консерваторами. Но поскольку возвращение назад в сталинский Союз для него было неприемлемо, оставался путь вперед — прыжок через пропасть реформы «последнего шанса».

Сколько букв «С» уместится в названии Советского Союза?

...Сидя в мраморном зале заседаний Центрального Комитета, мы с академиком Станиславом Шаталиным, одним из авторов Программы перехода к рынку за «500 дней», с сочувствием следили за попытками Горбачева получить от Пленума ЦК согласие на заключение нового Союзного договора, текст которого ему удалось согласовать с республиканскими президентами. Один из его (лукавых) аргументов в пользу Договора — новое государство будет по-прежнему называться СССР, только одна из букв «С» будет означать «суверенных» вместо социалистических.

Разумеется, эта простодушная хитрость себя не оправдала, и вокруг нового названия развернулась бурная идеологическая дискуссия в духе описанных Свифтом дебатов между «остроконечниками» и «тупоконечниками». Одни отказывались приносить в жертву социализм, другие горой стояли за сохранение исторической советской идентичности. Поскольку было очевидно, что от суверенитета в названии Союза не откажутся республиканские вожди, в качестве компромисса родился вариант удлинения названия государства на одну букву С.

Мы с Шаталиным решили подключиться к этой схоластической дискуссии и на листке из блокнота набросали свои варианты. В конечном счете, у нас получилось: «ССССССССССССР» — Союз Советских Суверенных Самодержавных Сталинских Схожих Священных Сервильных Самодовольных Степенных Скептических Сестер Самоубийц Республик. Страстный болельщик футбольной команды «Спартак», Шаталин пробовал уговорить меня добавить еще одну букву С в честь его любимцев, но пошел на политический компромисс ради сохранения максимально широкой базы будущего Союза.

Сложенный листок академик, не доверяя цековскому персоналу, сам отнес в Президиум и положил на стол перед Горбачевым. Увы, наш расчет, что он поможет Генсеку снять стресс и расслабиться, не оправдался. Развернув и прочитав записку, Горбачев не улыбнулся. Ему было не до шуток: в эти дни судьба реального Союза уже висела на волоске. (Позднее родился еще один, на этот раз более лаконичный и идеологически нейтральный вариант — ССГ — Союз Суверенных Государств, который московские острословы немедленно предложили расшифровать как Союз Спасения Горбачева...)

Миссия Горбачева, которому предстояло отправить «на пенсию» бывшую империю, осложнялась его ответственностью руководителя второй мировой ядерной державы: он не должен был допустить ни опасного международного кризиса, ни гражданской войны на гигантской территории. То, что в конце концов последняя мировая империя, набитая, как пороховой погреб, тысячами ядерных боеголовок и накопившая за советские десятилетия и царистские века не менее взрывоопасный резерв насилия, притеснений и национальных обид, самораспустилась цивилизованным образом, выглядело как политическое чудо.

Однако тот, благодаря кому это чудо стало возможным, кто сделал все, чтобы крушение «Титаника»-СССР не стало «крупнейшей геостратегической катастрофой XX века», не был готов принимать поздравления. И сам Горбачев, и многие члены его окружения были типичными советскими людьми, убежденными в том, что «национальный вопрос» в их стране окончательно и благополучно разрешен. Горбачеву поэтому поначалу было трудно понять прибалтов, не смирившихся с насильственным включением в состав СССР, или карабахских армян, ко-

торых Сталин росчерком пера объявил жителями Азербайджана.

Он вдохновлялся примером Евросоюза как варианта новой современной «империи», соединенной «не огнем и мечом», а общим интересом. Но свой путь от империи Карла Великого до Евросоюза европейские народы прошли за несколько веков, потратив немалую их часть на междоусобные и религиозные войны и многократные переделы границ. Горбачев же намеревался перепрыгнуть пропасть, отделяющую сталинский лагерь от нового «конфедеративного единого государства», за несколько месяцев. Сам он считает, что этот гераклов подвиг был ему по силам, не вмешайся в его планы самый неожиданный из национализмов, поднявших голову из российской реальности — русский.

«Русскую карту» решили разыграть сразу два противоположных по своим полюсам лагеря — неосталинисты во главе с Лигачевым и радикальные демократы под руководством Ельцина. Одни рассчитывали восстановить монолитное союзное государство, руководимое партийным штабом. Другие, возглавив «парад суверенитетов» национальных республик, намеревались повести их на штурм союзного центра, чтобы отобрать у него властные полномочия. Их цели были противоположны, но поскольку Горбачев представлял препятствие для тех и других, они стали объективными союзниками. Лозунг возрождения русской нации они использовали как общий таран для сокрушения стен Кремля.

Первыми играть с националистическими «спичками» начали консерваторы, создавшие внутри КПСС «суверенную» российскую компартию на платформе, сформулированной еще в совместном «манифесте» Нины Андреевой и Егора Лигачева. Их формальный аргумент — из всех национальных республик только Российская не име-

ла своей национальной партии по очевидной причине: в имперском Союзе не было нужды в декоративном «национальном» костюме для русской партийной бюрократии, которая и без того управляла всей страной.

Объединившимся за спиной Ельцина радикалам экзальтация темы суверенной России внутри Союза требовалась по другим причинам. Общесоюзный центр, как и «центризм» Горбачева, стремившегося сблизить расходившиеся полюса советской общественной жизни, воспринимался ими как помеха для желаемого прорыва в постсоветский мир. Их опорным плацдармом стал российский Верховный Совет, который вслед за объявлением «независимости» России (от СССР?) провозгласил верховенство республиканского законодательства над общесоюзным.

Этому примеру с восторгом последовали парламенты и других национальных республик. Под стены советской имперской крепости были, таким образом, заложены мощные заряды. (Сам Ельцин при этом говорил своему окружению, что видит себя во главе не усеченной, а исторической, то есть имперской России, а республиканские вожди после того, как помогут ему свергнуть Горбачева, «никуда не денутся» — вернутся «под руку Москвы».)

И все же, несмотря на все попытки как правых, так и левых конкурентов Горбачева разжечь запал «русского национализма», в массовом сознании миллионов русских эти настроения, как сырые дрова, не спешили разгораться. Привыкнув к комфорту имперской нации в огромной стране и не ощущая реальной угрозы для своего доминирующего положения, русские до поры до времени достаточно безразлично относились к экзальтированным призывам «квасных патриотов» разной политической окраски защищать и возрождать нацию.

Ситуация принципиально изменилась, лишь когда здание союзного государства стало разваливаться,

а в ряде национальных республик русское население из положения «хозяев» переходить в статус «нежеланных гостей», гонимых и дискриминируемых меньшинств. При этом у большинства, в отличие от колониальных поселенцев других империй, обосновавшихся на заморских территориях, не было другой исторической родины или метрополии, куда они могли бы вернуться.

Многие русские впервые начали ощущать себя самостоятельной этнической и культурной общностью и задумываться над своей идентичностью, только когда им пришлось заново определять границы своего государства, а их страна перестала называться СССР. Сложные этапы национального взросления и формирования государства-нации, которые большинство других крупных европейских народов прошли в прошлые века и сопровождались войнами с соседями и внутренними конфликтами, выпали на долю жителей постсоветской России в конце XX века — в эпоху массовых коммуникаций, ядерного оружия и необходимости оглядки на права человека.

В результате после распада СССР под древним названием «Россия» миру явилась исторически молодая держава, страдающая всеми комплексами переходного возраста, с ломающимся голосом и не вполне понятной ей самой родословной («страна — подросток», по выражению Маяковского), которой к тому же пришлось смириться с радикальным сокращением своей территории и умерить стратегические амбиции. Причем все это — не в результате проигранной войны, как, например, Германия и Япония, а гордясь неоспоримым статусом победителя.

Вот почему если до 1989 года Горбачев сам задавал темп переменам и управлял событиями, то начиная с 1990 года из-за начавшегося необратимого «национального оползня» почва в буквальном смысле начала уходить у него из-под ног.

В похоронной команде

Между тем развязка приближалась. Как часто бывает в сценариях истории, главные действующие лица узнали об этом *post factum*. Еще в начале 1990 года казалось, что у перестройки впереди блестящее будущее. Избранный на Съезде народных депутатов первым президентом СССР Горбачев, казался, посрамил предостережения Кадара и окончательно обезопасил себя от повторения судьбы Хрущева — отныне даже, если партийные ретрограды захотели бы свергнуть его на очередном Пленуме ЦК, он все равно оставался легитимным главой государства. Бросая вызов своим оппонентам, Генсек решил созвать очередной съезд партии, чтобы «дать последний шанс» реформистски настроенным рядовым членам.

...Не будучи делегатом съезда, я получил гостевой билет в Кремлевский дворец и не без труда нашел себе приставное место на галерке в максимальном удалении от трибуны. Как наблюдательный пункт оно было даже удобно. Ничто не напоминало отлаженный ритуал прошлых съездов: ни приветствий пионеров, ни оваций стоя в момент появления на сцене членов Политбюро. Зал гудел, как растревоженный осиный рой. Не изменился только заведенный еще в сталинские времена режим «спецобслуживания» делегатов съезда, которых щедро кормило и пило Управление делами.

Партийную номенклатуру разъярила недавняя отмена парламентом знаменитой 6-й статьи советской Конституции, закреплявшей статус КПСС как правящей партии, и она требовала «личных отчетов» от наиболее ненавидимых консерваторами союзников Горбачева — Яковлева и Шеварднадзе. Оба, выстояв в этом унижительном символическом аутодафе, заверили враждебно гудевший зал, что не собираются выдвигать свои кандидатуры в новый состав партийного руководства. Покинул тонущий пар-

тийный корабль, демонстративно хлопнув дверью, и лидер радикалов Ельцин: у него, как и у Горбачева, за это время появилась альтернативная политическая база вне партии, чем он не преминул воспользоваться.

Понаблюдав за тем, как Горбачев совершает чудеса политической эквилибристики, заставляя зал «единодушно одобрять» акты партийного самоубийства, я незаметно (не так эффектно, как Ельцин) покинул зал. Оказалось, поторопился.

Когда на следующее утро, как обычно при входе в свой подъезд, я полез в карман за удостоверением, чтобы предъявить охране, бравый дежурный в форме, взяв под козырек, дал понять, что проход для меня свободен. Я, мысленно пожав плечами, решил, что, зная меня не первый год, он проявил любезность. Несмотря на немалый цеховский стаж, я был наивен: любезности в этой системе просто так не оказывались.

Следующий сюрприз ждал меня в лифте. В кабине, заполненной в утренний час, сотрудники предупредительно освободили место и, как по команде, почтительно поздоровались (даже те, кто обычно меня не замечал). Просиявшая секретарша торжественно встала из-за стола при моем появлении, что было уж совсем необычным. Все прояснил, видимо, давно звонивший телефон — мой коллега поздравлял с избранием (заочным, поскольку в момент выборов меня в зале не было) в члены Центрального Комитета.

Чтобы понять мое изумление, граничившее с растерянностью, надо напомнить, что в советской вселенной титул полного члена ЦК был синонимом олимпийского небожителя.

Примирило со смутившей меня новостью то, что на этом съезде (ни я, ни остальные его участники еще не знали, что он окажется последним для этой партии) выборы проходили по-новому. И хотя сам список, как

в былые времена, жестом кудесника достал из кармана Горбачев, кандидатуры публично обсуждались, а некоторые в ходе тайного голосования были отвергнуты (предусмотрительные Яковлев и Шеварднадзе, таким образом, избежали нового унижения). Моя фамилия не была настолько известной, чтобы ее забаллотировали, хотя достаточное для того, чтобы удовлетворить мое самолюбие, число голосов «против» я получил.

Оставалось выяснить, кто посоветовал Горбачеву внести меня в список. За объяснением я отправился к Яковлеву. Он пребывал в приподнятом настроении, видимо, потому что наконец сбросил с себя партийные вериги.

— Что же, Александр Николаевич, вы сами в кусты, а меня определили в похоронную команду? — атаковал я его с порога.

Он ухмыльнулся:

— Ничего, ничего, помучайся, как я. В любом случае, недолго осталось.

Но вряд ли даже он, сводивший с собственным партийным прошлым не только политические, но и личные счета, представлял себе, насколько мы оба были правы.

...1991 год начался тревожно. Едва начав новый виток карьеры в ранге партийного вельможи, я был близок к тому, чтобы вслед за Александром Яковлевым ее окончательно оборвать. В начале января в столице еще советской республики Литвы Вильнюсе при штурме спецотрядом «Альфа» телецентра, находившегося под контролем оппозиции, погибло 13 человек.

Горбачев несколько дней молчал, потом выступил перед Верховным Советом, осудив применение насилия и выразив соболезнование семьям погибших. Он собирался поехать на похороны и попросил Яковлева подготовить проект выступления. Поездка не состоялась.

Утверждали, что его убедил не ехать председатель КГБ Крючков (один из организаторов вильнюсской спецоперации) под предлогом невозможности обеспечить его безопасность. Яковлев мне говорил, что, по его мнению, Горбачева отговорила от поездки Раиса Максимовна, опасаясь, что жертвой провокации или «спецоперации» может стать он сам.

По дороге из Кремля, где я слушал двусмысленное выступление Горбачева, я зашел в кабинет Черныева и сказал ему, что не могу принять предложение, сделанное им несколько дней назад от имени президента, — возглавить Международный отдел Аппарата Президента.

— Знаете, Анатолий Сергеевич, на мой век хватило Будапешта в 56-м, Праги в 68-м и Афганистана в 79-м. Я надеялся, что при Горбачеве такое не повторится.

Черныев не стал меня отговаривать. В неожиданном приступе откровенности он поведал, что сам уже было написал после вильнюсских событий личное письмо Горбачеву с просьбой освободить от должности. «Но секретарша Тамара, печатавшая текст, заперла его в сейфе и велела мне идти объясняться с Горбачевым лично. Отставку он не принял, сказав, чтобы я не устраивал истерик, ведь он не отступил от своей главной цели. Но вас я понимаю», — заключил он.

И хотя мой переход в Кремль не состоялся, в ЦК я решил пока остаться. Не потому, что боялся начинать новую жизнь, а из-за того, что подумал: поскольку самой возможностью выбирать я обязан Горбачеву, значит, должен вернуть ему долг. Случай для этого вскоре представился.

...Весна 91-го оказалась еще более хмурой, чем зима. К республиканским мятежам против Центра, возглавленными Россией, добавилось обострение противостояния между противоположными политическими флангами —

консерваторами и радикалами. В марте оно чуть не вылилось в кровопролитие на улицах Москвы. Единственное, в чем сходились те и другие, — это в требовании отставки Президента. Одни предлагали немедленное объявление Верховным Советом чрезвычайного положения, другие требовали передачи власти коллективному «боярскому» совету из республиканских президентов.

Политический кризис усугублялся экономическим коллапсом. Цена на нефть на мировых рынках, основной источник наполнения государственного бюджета, обрушенная еще рейгановской администрацией, не поднималась выше 10 долларов за баррель. (Горбачев говорил мне позднее: «Если бы я мог опереться, как в свое время Путин, на нефть ценой выше 100 долларов, большая часть политических проблем перестройки была бы решена».) Возвращаться к пополнению казны за счет массивной продажи водки, как делали до него советские вожди, включая Андропова, Горбачев не хотел.

Из июльской поездки в Лондон на саммит «большой семерки», куда советского лидера пригласили впервые, Горбачев вернулся с пустыми руками. Президент США Буш сказал в своем окружении: «Этот парень ведет себя так, будто мы ему что-то должны. Но мы не можем инвестировать американские деньги в нерентабельные проекты».

Действительно, после того как Горбачев расстрелял почти все свои «патроны», выведя войска из Афганистана и Восточной Европы, ликвидировав нацеленные на Европу ракеты СС-20, согласившись с вступлением объединенной Германии в НАТО и поддержав в ООН военную операцию США против Саддама Хусейна, он перестал представлять в глазах прагматических лидеров США товарную ценность. А ведь всего лишь год назад, боясь, что соблазненная перспективой объединения

Германия готова будет заплатить за него Москве своим нейтралитетом, Бейкер клялся Горбачеву, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток» и, готовясь к приему советского лидера в Вашингтоне, собирался «обеспечить ему Рождество в июне».

Окончательный экономический приговор союзному государству вынес российский парламент, проголосовавший за прекращение отчислений от сбора республиканских налогов в союзный бюджет (за исключением нескольких статей, о которых надо было торговаться). В Москве дело не дошло до «марша пустых кастрюль», как в Чили при Альенде летом 1973 года, но гул от касок бастующих шахтеров, которыми они стучали по мостовой, проникал в окна Верховного Совета.

Там в начале лета с фактическим ультиматумом, адресованным собственному президенту, выступили сразу три силовика — министры обороны, внутренних дел и председатель КГБ. При поддержке премьера они требовали для правительства чрезвычайных полномочий для «наведения в стране порядка». Прохода между Сциллой и Харибдой у Горбачева больше не оставалось, его центристская политика исчерпала себя, надо было выбирать лагерь, с которым двигаться дальше.

После того как его двусмысленный альянс с консерваторами зимой чуть было не привел к Тяньаньмэню на улицах Москвы, он решил окончательно рвать с партийной номенклатурой и заключил пакт с республиканскими президентами. После нескольких сессий круглого стола по формуле 1 + 9 (союзный президент вместе с лидерами девяти республик) в Ново-Огареве выработали новый Союзный договор, превращавший СССР в конфедерацию независимых государств. На этих условиях Горбачева поддержал и его главный соперник Борис Ельцин. Оставалось установить, что делать с двумя будущими си-

ротами союзного государства — Верховным Советом и, главное, КПСС, которая, по замыслу Сталина, служила цементом (или цепью), скрепляющим формально суверенные советские республики.

Горбачев решился расколоть партию на социал-демократическое и большевистское крыло и предоставить консерваторов своей судьбе. Для объявления номенклатурной знати этого «пренеприятного известия» был созван Пленум ЦК, который должен был принять решение провести в ноябре очередной партийный съезд.

Но к решающей схватке готовился и другой лагерь. В самый канун Пленума все та же «Советская Россия» опубликовала новый манифест под названием «Слово к народу», подписанный десятком имен «патриотически настроенных» политиков, генералов и даже деятелей культуры, призывавший к народному сопротивлению плану развала страны, задуманным «безответственными политиками и парламентариями».

... Как член ЦК теперь я имел право на место в одном из первых рядов помпезного мраморного зала, похожего на увеличенный мавзолей и выстроенного внутри Кремля для того, чтобы Брежневу не требовалось покидать его, переезжая в здание ЦК ради каких-то формальностей. Не скажу, что я чувствовал себя уютно в окружении матерых секретарей обкомов и генералов, составлявших традиционное ядро членов ЦК, но пикантность ситуации даже поднимала мне настроение.

После того как Генсек представил в докладе новую платформу партии, в сущности, официально закрепляющую ее разрыв с большевизмом и даже марксизмом, — своего рода вариант советского «Бад-Годесберга»¹, —

¹ Бад-Годесберг — имеется в виду Годесбергская программа германских социал-демократов, которая была принята на внеочередном партийном съезде СДПГ в Бад-Годесберге 15 ноября 1959 года и озна-

«спущенный с поводка» зал набросился на своего еще недавно неприкасаемого партийного босса. Поход против нового Договора и «идеологического предательства» канонов коммунизма возглавил председатель Верховного Совета, который подлежал роспуску согласно будущей Конституции, Анатолий Лукьянов. По окончании его речи зал стоя приветствовал его, как стая своего нового вожака.

Когда накал антигорбачевской истерии достиг апогея, а явное меньшинство его сторонников предпочло не ввязываться в баталию на чужом поле, я не выдержал и послал в президиум записку с просьбой дать мне слово. Уже сам по себе мой демарш отражал новую реальность, утвердившуюся за несколько лет перестройки в каменном лабиринте цековского аппарата.

Как мне рассказывал Горбачев, посвятивший несколько лет жизни хождению по кабинетам партийного бункера, в брежневские времена не только списки выступавших на пленумах, но и темы, которые они должны были затронуть, тщательно выверялись в организационном отделе ЦК. «Свободное творчество» сводилось только к комплиментам и восторженным эпитетам в адрес первого лица, в чем, разумеется, выступавшие состязались. Не очень надеясь получить слово, я попросил его, главным образом чтобы оправдать для себя самого свое присутствие в этом зале. «Раз уж вы меня выбрали, вам придется меня выслушать», — мысленно говорил я депу-

меновала смену курса руководства СДПГ от социалистической рабочей партии к так называемой народной партии (Volkspartei). В 1-й части программы были перечислены «Основные ценности социализма»: свобода, справедливость и солидарность. Далее указывается: «демократический социализм» имеет три исторических корня — это христианская этика, гуманизм и классическая философия. Упоминания о марксизме, присутствовавшего во всех социалистических программах ранее, более не встречается.

татам. Кроме того, надеялся хотя бы одним диссонансным голосом разрушить впечатление, будто весь состав Пленума восстал против линии Генсека.

Вопреки моим ожиданиям, слово мне дали. На трибуну я поднимался, как на баррикаду. Опубликовав на следующий день текст моего выступления, «Правда» в скобках после нескольких пассажей пометила: «шум в зале». Мягко сказано. Зал взревел, стоило мне назвать статью в «Советской России» провокационной. Переждав выкрики и топот, я закончил свою речь словами: «Мне не хотелось бы дожидаться дня, когда аббревиатура КПСС будет расшифровываться как Консервативная Партия Советского Союза, потому что тогда на смену реформаторам к власти неизбежно придут радикалы». Радикалы действительно вскоре пришли. Сначала коммунистические, потом демократические — и тех, и других я бы взял в кавычки.

И все-таки в тот раз до окончательного разрыва между Горбачевым и партией дело не дошло. Каждый из лагерей готовился разрубить затянувшийся узел на свой лад и в соответствии со своим календарем. Это мне подтвердил сам Лукьянов. В разговоре со мной через несколько лет (уже после выхода из Лефортовской тюрьмы) он утверждал, что к «любительскому путчу помощников» в августе 1991-го он отношения не имел.

— Так серьезные перевороты не готовят, — сказал он презрительно.

— А что в таком случае готовили «серьезные люди»? — спросил я.

— Собрать чрезвычайный съезд партии в сентябре и сменить Генерального секретаря, — ответил Лукьянов.

Преемником Горбачева на этом посту должен был стать он сам. Ноябрьский график Горбачева и сентябрьский съезд Лукьянова опередил ставший роковым август...

Кстати, история с моей дачей тоже закончилось плачевно. Через несколько дней после произнесенного на Пленуме моего «слова к партийному народу» и политического «самоожжения» ночью она сгорела. Пожарные, поливая из брандспойтов оставшиеся мне на память печную трубу и фундамент, не исключали поджога. Времени проводить дознание не было — грянул августовский путч. А после него нас с женой выдворили и из казенной дачи, поскольку и сам ЦК, и моя в нем должность, и прилагавшиеся к ней «пряники» приказали долго жить. О чем я не сожалел.

Путч или шутиха?

...По традиции мой день рождения в начале июля мы отмечали с самыми близкими друзьями, и каждая такая встреча выливалась в «капустник». На 1991 год пришлась круглая дата — мое пятидесятилетие. Пришлось сделать уступку принятым ритуалам и собрать не только привычный интимный круг, но и разнообразных коллег по политическим приключениям, с которыми меня свела за последние годы эпопея перестройки.

Был среди приглашенных и Геннадий Янаев, с которым меня связывало скорее прошлое — наша общая работа в молодежном движении, чем его нынешняя функция вице-президента СССР и первого по Конституции заместителя Горбачева. Янаев оказался единственным, кто не пришел на празднование без объяснения причин. Через несколько дней я понял почему.

...Когда телефонный звонок врывается в ваш сон, он на некоторое время становится его частью. Голос мамы, сказавший одну фразу: «Горбачева арестовали», напрочь отбил охоту проснуться. Первое слово,

пришедшее на ум, прежде чем я его сам себе произнес, было: «Доигрались!»

Видимо, оно подсознательно жило во мне вместе с тоскливым предчувствием, что однажды удачливый сон перестройки прервется грохотом сапог и барабанным боем. Я включил телевизор — передавали «Лебединое озеро». Вперемежку с сообщениями о внезапном заболевании Горбачева, делавшим «невозможным выполнение им обязанностей главы государства», зачитывали Заявление Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), возглавленного Янаевым (стало ясно его отсутствие на моем юбилее), и лукавое «личное письмо» спикера парламента Лукьянова. Из него следовало, что, хотя Президент ему старый друг, спасение Отечества дороже.

Как и Горбачев, я находился в отпуске, но не в Крыму, а на партийной даче в 50 километрах от Москвы. Торопиться было некуда. «Первый день они потратят на отлов горбачевцев в Москве, — прикидывал я. (Позднее моя догадка подтвердилась: для «временного сосредоточения» наиболее известных соратников Президента были предусмотрены казармы на нескольких военных объектах неподалеку от Москвы.) На следующий день доберутся сюда. Значит, по крайней мере, есть день для того, чтобы понять, имеем ли мы дело с «чилийско-пиночетовским вариантом» или со специфическим «русским блюдом».

В пользу последнего говорил тот факт, что исполняющим функции «заболевшего» главы государства объявили Янаева, которого мне трудно было представить в роли Пиночета.

Судя по тону деклараций ГКЧП (оказывается, и его провидел Евгений Шварц в своей сказке «Голый король», написанной в 1934 году, назвав ВКБП — Временным Комитетом Безопасности Придворных), можно было предположить, что стрелять начнут не сразу. Прежде попро-

буют напугать всех, чтобы в наступившей тишине провести чрезвычайный Пленум ЦК или сессию Верховного Совета и сместить Горбачева, как Хрущева, «за допущенные ошибки», а лучше «освободить по его просьбе».

Однако очень скоро выяснилось, что пять лет перестройки не прошли даром. Напугать путчистам удалось только республиканских вождей, от среднеазиатских партийных секретарей до украинского президента Кравчука, которые немедленно «вытянули руки по швам» в ожидании дальнейших указаний из Москвы и были готовы завтра так же ревностно служить ГКЧП, как еще вчера перестройке.

Неопределенной, по крайней мере, в течение суток оставалась ситуация вокруг Ельцина: был ли он заодно с путчистами или должен быть арестован. Как мне рассказал уже выйдя на свободу после ареста сам Янаев, обе версии были возможны. Путчисты, конечно, рассчитывали, что непримиримая вражда между Ельциным и Горбачевым позволит им привлечь российского президента на свою сторону посулами большей республиканской автономии. С целью вербовки Ельцина в аэропорт, куда тот должен был прилететь в ночь путча после поездки в Казахстан, снарядили представительную депутацию с министром обороны Язовым и премьером Павловым. В случае отказа Ельцина должны были интернировать.

План рассыпался по банальной и специфически русской причине: после проводов с обильными возлияниями на аэродроме в Алма-Ате с Назарбаевым российский президент был не в состоянии не только что-то обсуждать, но и говорить. В результате заключение антигорбачевского пакта отложили до утра. «А наутро он нас обманул», — рассказывал Янаев. Действительно, утром следующего дня вербовать Ельцина в сторонники путча было поздно. Его окружение успело ему объяснить, какие политические козыри неожиданно упали ему в руки в ситуации

фарсового путча. Арестовывать же его председатель КГБ Крючков уже не решился, потому что весь первоначальный сценарий заговора начал рассыпаться и арест грозил уже ему самому.

Карты заговорщикам смешал решительный отказ Горбачева предоставить им свободу рук для «наведения порядка» и приостановки действия Конституции. Горбачев, к которому в Крым была отряжена специальная депутация, назвал членов самозванного ГКЧП авантюристами и потребовал его немедленного роспуска. После этого интернировать решили его, изолировав от внешнего мира тройным кольцом оцепления и военными кораблями в море и лишив средств связи с внешним миром и «ядерного чемоданчика».

После того как депутация ГКЧП вернулась ночью 18 августа в Кремль с пустыми руками, там воцарилась паника. Как вспоминал Валерий Болдин (член ГКЧП, помощник Горбачева): «Мы все растерялись, в дороге с аэропорта молчали, в Кремль вошли, как роботы». Чтобы придать фактически совершенному государственному перевороту видимость легитимности, путчисты бросились разыскивать вице-президента Янаева и послали два(!) вертолета за председателем парламента Лукьяновым, который предусмотрительно, для того чтобы обеспечить себе алиби, удалился из Москвы. Задача того и другого состояла в том, чтобы ввести ГКЧП в конституционные рамки.

Вот что рассказал мне, выйдя на свободу после амнистии, о событиях той ночи в Кремле сам Янаев: «Меня до полуночи "топтали", уговаривали, угрожали: сделаем без тебя, но пролитая кровь будет на тебе... Я отказывался, предлагал возглавить ГКЧП Лукьянову. Он сказал: ты по Конституции второе лицо. Болдин добавил: мы уже все повязаны, и у тебя один выбор — или идти со всеми, или

отправляться в Лефортово. Я в конце концов согласился, хотя знал, что приношу себя в жертву при любом исходе. Может быть, из-за этого на следующий день на пресс-конференции у меня действительно дрожали руки».

Когда три дня спустя арестовывают Янаева и действительно везти его в Лефортово в его кабинет в Кремле явился член Президентского совета при Горбачеве Вениамин Ярин, Янаев крепко спал на диване, рядом стояла пустая бутылка виски. Ярин ему сказал: «Ну, вот, сейчас я поеду тебя сажать, а был бы ты умнее, приехал бы освобождать».

Судьба путча (и Горбачева) решилась в ночь с 19 на 20 августа, когда группа «Альфа» готовилась штурмовать Белый дом, центр сопротивления путчу, возглавленный Ельциным и окруженный символическим кольцом безоружных москвичей. Перед этим заместители руководителей трех силовых ведомств — Минобороны, МВД и КГБ — совершили последнюю инспекционную поездку и явились к своим шефам с выводом: штурм может кончиться «морем крови». Все трое отказались участвовать в операции. После этого маршал Язов, не советуясь ни с кем из своих коллег по плачевному ГКЧП, выругался и приказал начать вывод войск из Москвы: «Я, старый дурак, не для того воевал на фронте, чтобы, ввязавшись в авантюру с этими пьяницами, стрелять по своим гражданам. Полечу в Форос виниться перед Горбачевым и Раисой Максимовной».

Тем временем генерал Лебедь, направленный Язовым окружить Белый дом танками, заявил Ельцину, что, если тот объявит себя верховным российским главнокомандующим, он будет выполнять его приказы. Ельцин понял: когда политика разыгрывается «онлайн» на весь мир перед телекамерами «Си-эн-эн», танк лучше использовать не как боевую технику, а как импровизированную трибу-

ну и, забравшись на броню, зачитал свой Указ об объявлении путчистов государственными преступниками.

Так завершился «эрзац-путч», а члены просуществовавшего три дня ГКЧП, спасаясь от возможной расправы в Москве, полетели в Форос искать защиты у Горбачева. Обратно они возвращались уже под арестом.

Несколько лет спустя, проводя собственное расследование этой политической психодрамы, чуть было не кончившейся национальной трагедией, я спросил Крючкова, почему путчисты не применили силу. Его ответ: «Мы не хотели быть диктаторами». Однако на допросе, записанном на видеокамеру и попавшем в руки журнала «Шпигель», он признавал свою вину в государственной измене и не исключал, что как военного человека, нарушившего присягу, его приговорят к высшей мере наказания. Профессиональный юрист Лукьянов дает свою версию: «Это не был ни заговор, ни государственный переворот, а попытка спасти закрепленный Конституцией общественный строй».

Пытался представить ГКЧП невинной пропагандистской акцией, а самого себя и коллег «новыми декабристами» и Янаев: «Мы с самого начала условились, что постараемся избежать кровопролития. Вообще, идея пригнать танки в город была глупостью — они ведь были без боекомплекта и должны были просто попутать население».

Не столько танки без боекомплекта, сколько отсутствие лидера у заговорщиков, готового взять на себя ответственность за пролитие крови, превратило эту авантюру в ловушку для самих путчистов. В интервью для «Монда», которое мне удалось дать в первые часы путча Бернару Гетта по телефону с моей дачи (к нашему обоюдному удивлению, международную связь не отключили), я предсказал, что «при первой жертве среди граждан-

ского населения путч лопнет». Так и произошло: случайно попавшие под гусеницы танка в центре Москвы три защитника Белого дома стали символическими жертвами, вызвавшими массовое возмущение и испугавшими самих инициаторов заговора.

Было у путча еще три жертвы «с другой стороны». Застрелился слишком поздно понявший, что ввязался в авантюру, министр внутренних дел, бывший коллега Янаева по комсомольской карьере латыш Борис Пуго. В своем кабинете в Кремле повесился, чтобы избежать позора ареста и суда, маршал Ахромеев, прошедший и войну, и афганскую кампанию. Выбросился из окна своего дома, по официальной версии Прокуратуры, последний управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина.

Путч провалился, но Горбачев не победил. (Помимо политического удара он перенес и семейную драму: в дни заточения в Форосе, когда Раиса Максимовна узнала о том, что члены ГКЧП намерены представить «медицинское подтверждение недееспособности Президента», она перенесла микроинсульт, и у нее на некоторое время была парализована половина тела.) Как считают Михаил Сергеевич и их дочь Ирина (врач по специальности), пережитый стресс стал толчком для ускоренного развития роковой болезни, приведшей к ее преждевременной смерти несколько лет спустя. Для меня, кстати, это самый убедительный ответ всем, кто во время путча и после него пытался обвинить Горбачева в закулисной манипуляции путчистами.

...Сохранив после путча формально свою должность, Горбачев, по сути, проиграл главную ставку — надежду на то, что принципиальные перемены в России станут результатом реформы, а не революции. Смена власти, спровоцированная путчем, с последовавшим распадом СССР оборвала его проект эволюционной «реформы

сверху». И вместе с ним упразднили должность Главного Реформатора.

Однако не была ли в принципе эта «миссия невыполнима»? Хотя, с другой стороны, не подтвердил ли путч, что Горбачеву все-таки удалось главное, к чему он стремился: «дотащить советское общество до рубежа, за которым невозможно возвращение вспять»? В одном из наших разговоров он сказал мне: «Понимаешь, Андрей, моей задачей было выиграть время для перемен, начавшихся внутри общества». Было ли это его замыслом с самого начала или стало итогом размышлений над собственным опытом? И в какой мере это удалось, если посмотреть на современную Россию. Трудно сказать, может быть, и ему самому.

АЛЬБОМ:

Раиса Горбачева — первая советская леди

Первое впечатление от появления Раисы Максимовны на номенклатурном небосклоне — она другая, разительно непохожая на окружавших ее советских партийных жен. Подтянутая, изящная — большая редкость для тогдашних русских дам ее возраста, — воплощение современной образованной женщины. Проведя много лет вдали от столицы, она не выглядела провинциалкой, одевалась модно и со вкусом, словно на нее работали лучшие мировые стилисты, хотя ее обслуживала безвестная советская портниха из провинции, открытая ею самой.

Я помню, с каким ревнивым и недоверчивым скептицизмом встречал жену нового советского руководителя Париж. Compliments в адрес Раисы законодателя мировой моды Ива Сен-Лорана были тем ценнее, что французской прессе пришлось признать: чтобы выглядеть безупречно, не обязательно одеваться у парижских модельеров. Достаточно иметь безошибочный вкус.

Раиса стала истинной «первой леди» еще до того, как Михаил Сергеевич Горбачев — первым Президентом СССР. Мир

открыл Раису в декабре 1984 года, когда неизвестный на Западе партийный секретарь приехал в Лондон на политические смотрины к Маргарет Тэтчер. Уже тогда она изменила сложившийся стереотип не только номенклатурной жены, но и советской женщины. Необычными были и ее образованность, и собственные суждения, которые она не стеснялась высказывать вслух. Ее обстоятельность и дотошность советской преподавательницы истмата создавали проблемы и для тех, кто готовил ее к очередной поездке, и для принимавших ее за рубежом хозяев: московская гостыя могла в Лондоне неожиданно завести разговор о Юме и Гоббсе или огоршить Нэнси Рейган вопросом о том, кисти какого художника принадлежит портрет в гостиной Белого дома.

С жадным аппетитом типичного советского человека, знавшего о внешнем мире понаслышке, она из каждой зарубежной поездки возвращалась, как в молодые годы из музея, с тем же описанным блокнотиком, заполненным не только именами и впечатлениями, но и просьбами о содействии и помощи.

Но советская первая леди, отказывавшаяся быть неприметной партийной женой, не могла не вызывать раздражения и пересудов у себя дома. Ее желание быть не тенью своего государственного мужа, а самостоятельной личностью уже казалось вызовом в советской России с ее непростыми культурными традициями и тогдашними политическими табу. Только мужественному человеку было под силу высоко держать голову, идя сквозь строй агрессивной толпы, и выглядеть уверенной в себе и привлекательной вопреки всем испытаниям. Мало кто понимал, что она считала посильную помощь мужу своей гражданской миссией и собственным вкладом в перестройку.

Горбачев называл Раису «секретарем» их семейной партийной ячейки и поверг собственную страну в шок, когда в интервью американскому телевидению на вопрос Тома Брокау: «Что вы обсуждаете с женой, Михаил Сергеевич?», ни минуты не колеблясь, ответил: «Всё». Многих советских телезрителей тогда поразило именно то, что Горбачев не постеснялся открыто заявить об этом всему миру. (Насколько мне известно, это был единственный случай, когда, вымарав его ответ из своего отчета, газета «Правда» подвергла цензуре собственного Генсека.)

Вслед Раисе раздавалось обывательское шипение, ее ранили стрелы слухов, вроде подхваченной Ельциным сплетни о мифической «золотой карточке», которой якобы Раиса расплачивалась в ювелирных магазинах Лондона. «И это, — говорил мне потом Горбачев, — в то время когда мы с Раисой вообще не представляли, как они выглядят. Для нее это было особенно оскорбительно: когда мы жили в Ставрополе, она сохраняла квитанции об оплате продовольственных «заказов» в обкомовской столовой, а переместившись в Кремль, с такой же щепетильностью добивалась от Гохрана расписок и квитанций за сдававшиеся ею в казну подарки, полученные во время официальных визитов».

В одном из редких интервью Раиса пожаловалась: «Ну, смотрите, приходит приглашение от Нэнси Рейган, и в нем четко указано, в каком платье, да еще и не похожем на ее собственное, я должна появиться на приеме в Белом доме. Надеть я его могу только раз, потому что все вокруг следят, во что жена первого президента СССР одета. Не дай бог, если кто заметит, что она дважды в одном и том же наряде. В личной жизни мне это платье никогда больше не понадобится. Значит, даже ненужные вещи надо было приобретать на собственные средства, то есть из семейного бюджета. Иногда даже хотелось закричать: на свои я шью, на свои, не завидуйте!»

Думаю, что вынужденный уход Горбачева из Кремля не был для нее такой драмой, как поражение его политического замысла, оборванного августовским путчем. После пережитого в Форосе она сожгла всю накопившуюся за долгие годы совместной жизни переписку с мужем — уезжая в командировки, он еще со времен своего ставропольского секретарства привык писать ей ежедневно, — сказав Горбачеву, заставшему ее в слезах над сожженными письмами: «Не могу допустить и мысли о том, что чужие руки и глаза будут копаться в нашей жизни».

Наша последняя встреча с ней состоялась в помещении Фонда Горбачева. В это время я работал над своей книгой о перестройке и попросил ее об интервью. Поколебавшись и попросив передать ей заранее вопросы для беседы, Раиса Максимовна в конце концов согласилась. Мы условились о дне встречи. Накануне вечером мне позвонили и передали ее просьбу перенести наш разговор на несколько дней, поскольку ее срочно увезли

в больницу. Как выяснилось, именно в это время началось стремительное развитие ее страшной болезни.

В Фонде Горбачева остались неиспользованными пакетики с семенами льна и пузырьки с загадочным экстрактом «красного корня», присланные в Москву с далекого Алтая местными жителями, уверявшими в письме, что эти снадобья должны ее обязательно вылечить. «Мы с Раисой прожили сорок шесть лет, и сорок из них ходили с ней на прогулку каждый день, где бы ни оказались, — рассказывал мне Горбачев. — В любую погоду, в метель, в снег и в дождь, но Раиса особенно любила метель. Я говорил: “Послушай, метель же”. А она: “Нет, пойдём”. Шли — и я привык к метелям. Раиса умерла, я перестал гулять».

Лаче – последний ужин

После путча я уже не имел права сказать «нет» Горбачеву и принял его предложение стать членом президентского аппарата и пресс-секретарем. В эти же дни к нему вернулись Яковлев и Шеварднадзе.

Вернулись мы все не потому, что верили вобретение перестройкой «второго дыхания». После того как во главе «игорного стола» советской политики после августа сдавать карты уселся Борис Ельцин, роль Горбачева и союзного центра резко снизилась. Хотя наши кабинеты по-прежнему находились в Кремле и охрана привычно салютовала нашим служебным машинам, влетающим в Боровицкие ворота, создавалось впечатление, будто мы оказались на спасательном плотике после кораблекрушения.

В этих условиях нашей целью было: постараться спасти, что удастся из демократических завоеваний перестройки, сохранить направление движения, заданное ею развитию страны и конечно же выиграть время — несколько дополнительных месяцев, недель, пусть даже дней, чтобы оттащить общество от пропасти сталиниз-

ма, куда оно чуть было не рухнуло в августе. Из всех нас, пожалуй, только сам Горбачев верил (или делал вид), что ничто не потеряно, и, как и положено капитану терпящего бедствие корабля, старался зарядить всех оптимизмом.

В задачи моей пресс-службы входила помощь Президенту создавать впечатление, что проект перестройки, сорвавшийся в пике в августе, удалось выровнять у самой земли и что полет по прежнему курсу продолжается. Мы старались, как могли. Позднее Анатолий Черняев сравнит работу нашей пресс-службы с игрой оркестра на палубе уже наполовину затопленного «Титаника».

Как пресс-секретарь я, естественно, сопровождал Президента в его последней зарубежной поездке в Испанию на открытие Мадридской конференции по Ближнему Востоку и на юг Франции в Лаче по приглашению Франсуа Миттерана. Эти визиты оказались прощальными.

В Мадрид Горбачев полетел, несмотря на полную неопределенности обстановку в Москве, не потому что ожидал там реального дипломатического прорыва (хотя сам факт, что на конференции удалось усадить за один стол Арафата и Шамира, а также лидеров большинства арабских стран, — уникален). Будучи сопредседателем конференции вместе с Джорджем Бушем, он рассчитывал набрать дополнительные козыри в своем противостоянии с Ельциным и хотя бы отчасти компенсировать потерю личного престижа в стране после путча.

Как минимум с точки зрения психотерапии поездка была успешной. На ужине, который дал испанский король в честь своих гостей, Горбачев услышал то, что хотел и от короля, и от испанского премьера Гонсалеса, и, главное, от «дорогого Джорджа». Они в один голос выражали поддержку сохранению единого государства. Американский президент заявил даже, что предпочитает иметь дело с «единым и ответственным» союзным Центром (при условии, что его будет возглавлять Горбачев),

чем с непредсказуемым и «ненадежным» российским президентом, не говоря уже о расколе советской супердержавы на несколько ядерных осколков.

Но при всей доброй воле и безусловной личной симпатии к Горбачеву западные лидеры не могли не только решить за него проблемы его страны, но и публично высказать то, о чем говорили ему за королевским столом. Если бы их аргументы услышали у него дома, в тогдашней российской атмосфере это скорее навредило бы Горбачеву, чем помогло.

...Так уж получилось в недолгой истории горбачевской дипломатии, что и первый свой официальный зарубежный визит в октябре 1985 года, и последний, ровно за два месяца до своей отставки, он совершил по приглашению Франсуа Миттерана во Францию. Я сопровождал его в обоих случаях — первый раз в качестве члена политического эскорта, в последний — как ближайший советник, присутствовавший вместе с Черняевым на личных беседах двух лидеров в интимной атмосфере миттерановской «дачи».

У Франсуа Миттерана было несколько причин пригласить Горбачева на неформальную встречу. Во-первых, внешнеполитическая. Франция вновь, как в эпоху холодной войны, почувствовала себя оттесненной на второй план новым вариантом американо-советского «дуумвирата». (На Мадридскую конференцию Париж даже не пригласили.) Заезд Горбачева из Мадрида в Лаче, чтобы «отчитаться» перед Миттераном за Мадрид, позволял снять дипломатическое недоразумение.

На самом деле Горбачев просто не учел, что подобный формат конференции может ранить самолюбие Миттерана. Для него Мадридская конференция под американо-советским патронажем, возвращавшая Москву за стол переговоров по ближневосточному урегулированию, была стратегической «платой» Вашингтона за со-

ветское голосование в ООН, давшее зеленый свет войне американцев против Саддама Хусейна.

Второй, на этот раз внутривнутриполитический мотив для приглашения Горбачева — желание Миттерерана загладить собственный непростительный политический промах в августе, когда «флорентиец», вопреки своему опыту и темпераменту, по непонятным причинам поторопился смириться с московским путчем и в выступлении по телевидению, в сущности, «похоронил» Горбачева, заявив о своих контактах с «новыми советскими руководителями».

Позиция Миттерерана, до сих пор едва ли не самого большого «болеельщика» Горбачева среди лидеров Запада, за исключением Тэтчер, труднообъяснима, если учесть, что даже Буш, правда, подталкиваемый в спину испанцами — Гонзалесом и королем, — высказался крайне негативно в адрес путчистов и потребовал сведений о судьбе Горбачева еще до развала ГКЧП.

На мой взгляд, эта очевидная оплошность умудренного опытом французского президента на самом деле — не результат циничного конформизма и тем более безразличия к тому, кто усядется на кремлевский трон и с кем обитателю Елисейского дворца придется иметь дело. Думаю, торопливость Миттерерана, о которой он наверняка впоследствии пожалел, была вызвана его интеллектуальным высокомерием.

Убежденный, что от истории нельзя убежать, он просто не мог поверить, что «смертельный номер», который выполнял Горбачев под куполом шапито перестройки, пытаясь утвердить демократию в России, обремененной царистской и большевистской историей, может закончиться благополучно. И поэтому при первом же сообщении об августовском «несчастном случае», жертвой которого стал Горбачев, он должен был с сожалением, но и с внутренним удовлетворением сказать себе: «Ну вот, я был прав».

Но поскольку путч развеялся и Горбачев вернулся, Миттерану пришлось оправдываться перед набросившейся на него прессой. От кого, как не от самого Горбачева ему лучше всего было получить публичное «отпущение» его августовского греха. Отсюда и желание заполнить Горбачева в интимном, почти семейном формате Лаче (Михаилу и Раисе, как им сказал Миттеран, отвели спальню, «в которой обычно спали дети»), не забыв при этом организовать из амбара фермы, переоборудованного под студию, прямую телетрансляцию дружеского общения двух президентов для вечернего информационного журнала.

Сам Горбачев, отлученный от всей информации во время своего заточения в Форосе, был даже не в курсе «предательства» французского коллеги. Когда я уже в качестве его пресс-секретаря рассказал ему о нападках французской прессы на поведение Миттерана во время путча, он был искренне удивлен: «Знаешь, Андрей, после того как меня предали люди из самого близкого окружения, включая давних друзей (он явно имел в виду Лукьянова), разве я могу быть в претензии к иностранцам, для которых все, что происходит у нас, — все равно китайская грамота. К тому же я очень уважаю Миттерана и как европейского политика, и как друга».

Говоря это, он не лукавил. Он действительно почитал Миттерана не только как ветерана европейской политики, но и как своего рода наставника. Горбачев не забыл, что именно французский президент представил его западному миру в качестве своей находки. Помню, как после своего «крещения» перед журналистами на пресс-конференции, организованной Миттераном в Елисейском дворце в октябре 1985 года, — сам он тогда практически молчал, давая возможность высказаться своему гостю, — Горбачев сказал нам: «Ну вот, вся спина мокрая, как после комбайна».

За прошедшие годы эти два весьма разных государственных лидера сблизились не только политически, но и лично. Они вместе обнаружили ту основу во франко-российских отношениях, которая всегда служила базой их сердечной «антанты», своеобразной вольтовой дугой между двумя оконечностями Европейского континента, переброшенной поверх опасной для обеих Германии.

И хотя Горбачев был доволен услышать от Миттерера в Киеве после падения Берлинской стены пожелание общими усилиями «притормозить марш Коля» к объединению Германии, он оценил и откровенность французского президента, сказавшего ему уже через полгода в Москве: «Даже понимая и разделяя многие ваши опасения от вступления объединенной Германии в НАТО, я не смогу их высказать вслух перед своими атлантическими союзниками, начиная с США». «Ни вы, ни я уже ничего изменить не сможем, а в случаях, когда я знаю, что завтра мне все равно придется сказать "да", я предпочитаю сегодня не говорить "нет"». Горбачев усвоил урок и даже опередил Миттерера и Буша, подарив немцам воссоединение из своих рук.

Миттеран, как мне говорил Ролан Дюма, был «обво-рожен» Горбачевым не столько из-за его внешней, сколько внутренней политики. Конечно, как у любого социал-демократа, у него вызывал симпатию «раскаявшийся большевик» Горбачев, хотя публично и не отрекавшийся от Ленина, но на практике делавший все, чтобы порвать с ленинским наследием, мечтая вернуться в «золотой век» европейского социалистического движения, еще не пораженного большевистским расколом.

Не исключаю, что в явной «слабости», которую не стеснялся демонстрировать к неординарному советскому руководителю Миттеран, присутствовала отчасти и личная благодарность за то, что тот оказался способен изумить этого уже отвыкшего чему-то удивляться патри-

ция, называвшего главным качеством профессионального политика невозмутимость.

...Мы шестером — два президента, переводчики и по одному советнику с каждой стороны — сидели за круглым столом около большого крестьянского очага. Вечерняя беседа Миттерана с Горбачевым проходила в просторном с высоким сводом сарае, переделанном под уходящую несколькими стеллажами к потолку библиотеку. Миттеран явно гордился своим деревенским «логовом»: «Сейчас, если бы я захотел купить ферму с этим участком, у меня бы не хватило средств: цена на землю здесь выросла в 60 раз». Он при этом не уточнил, не связан ли этот рост цен с тем, что он сам тут поселился.

Великодушно приняв объяснения Горбачева по поводу формулы Мадридской конференции, Миттеран скептически оценил ее перспективы, после чего собеседники перешли к главному сюжету — сохранению единого советского государства после путча, его возможный распад вызывал беспокойство не только у Горбачева, но и у французского президента.

«В интересах Франции, — говорил Миттеран, — существование на северо-востоке Европы полюса центральной власти. Если дойдет до распада всего, что создано вокруг старой России со времен Петра I, это будет исторической катастрофой для всей Европы». (Двадцать лет спустя этот термин применительно к исчезновению СССР употребит не присутствовавший в Лаче Владимир Путин.) «Прошедшие столетия научили нас тому, что Франция, расположенная на юго-западе континента, нуждается в союзнике, и любое нарушение баланса будет иметь дестабилизирующий эффект и послужит приглашением силам, которые не скрывают своих амбиций».

«Мы большие друзья с немцами, — продолжал он, — но я верю в постоянство истории и считаю опас-

ным, если к востоку от Германии возникнет мягкое подбрюшье. Это всегда служило соблазном для Германии проникнуть туда, даже мирно. Поэтому я из тех, кто желает вам успеха в восстановлении Союза на новой и демократической основе. Понимаю, что вы стремитесь к этому как патриот своей страны и как президент. Я прихожу к тем же выводам, исходя из наших национальных интересов на основе истории, которую пережил Европейский континент»,

Ветеран европейского строительства, в сущности, развивал голлистскую концепцию независимой от США Европы «от Атлантики до Урала», используя неожиданный шанс для ее реализации, который открывал демонтаж коммунистического режима в СССР. «Перемены, которые вы предпринимаете в вашей стране, помогут Европе стать тем, что вы называете "Общим Европейским домом"». После поражения сталинистов в Москве Миттеран, как спасательный круг, бросал Горбачеву, тонущему в море внутренних проблем, проект своей Европейской конфедерации.

«Франция никогда не будет поощрять ослабление России. Это была позиция де Голля даже во время Сталина. Тем более это оправдано теперь, когда ваша страна демократизируется. Рано или поздно полная Европа образуется. Она должна строиться вместе с Россией. Когда Гавел спросил меня: неужели вы хотите ее строить вместе с коммунистической Россией, я сказал ему: с такой, какой она будет».

Горбачев жадно впитывал эти рассуждения патриарха европейской политики. Как бы хотелось, чтобы эти доводы Миттерана были услышаны у него дома теми, кто в его попытках сохранить единое союзное государство видел только его желание сохранить свой пост. «Мой взгляд на будущее Европы — это соединение потенциалов Запада и Востока. Единая Европа, стоящая на двух

опорах: Европейское сообщество и обновленный Советский Союз, соединенные структурами ОБСЕ», — откликнулся он.

Миттеран вернул его с высот дальних горизонтов на землю:

— Я тоже за это. Но первая опора уже существует, а вот перспектива второй пока неизвестна.

Горбачев ответил:

— Когда я встречался с папой Иоанном-Павлом II в Ватикане, он мне сказал, что Европа должна дышать обоими легкими — западным и восточным. Как поляк и славянин он это особенно хорошо понимает. Я вижу свою задачу в том, чтобы укрепить вторую опору Европы на Востоке.

Я был заворожен этим неторопливым диалогом двух выдающихся политиков, с принципиально разным опытом, в котором сошлись два, казалось бы, необратимо разделенных с начала XX века русла европейской истории. У меня было впечатление, что Миттеран на склоне политической жизни испытывал удовлетворение от того, что не только нашел собеседника, пришедшего «с холода» из, казалось бы, потерянного для остальной Европы мира, но и мог передать ему в виде завещания свой амбициозный проект объединенного континента.

Для Горбачева, пережившего и пик надежды на возможный триумф бескровной революции в его стране, и унижение путча, благословение Миттерана возвращало веру в успех и спасало от одиночества. Если бы он был верующим и искал исповедника, он бы, я думаю, обратился к Миттерану. Получилось же, что тот принял последнее причастие первого и последнего советского президента. В тиши Лаче они оба вслух грезили о новой Европе и о возможном будущем мире. И оба не знали или не хотели верить в то, что этого мира уже не будет.

От перестройки до «тройки»

После того как, собравшись на секретную встречу 8 декабря в белорусском лесу, три президента пока еще советских республик — России, Украины и Белоруссии — договорились распустить Советский Союз, Горбачев оказался перед самым трудным выбором в своей жизни политика. Он был законно избранным Президентом союзного государства, главой второй мировой ядерной державы и Верховным главнокомандующим колоссального по мощи военного арсенала. Как-то в одной из поездок уже после отставки он сказал мне: «Представь, в ракете, которую американцы называют "Сатана", а мы — Р-36М, заключена мощь ста Чернобылей. В одной ракете! А у нас их были тысячи! Когда ты это знаешь, да еще на таком посту, как я был, то не можешь чувствовать себя нормальным человеком».

К его официальным полномочиям главы государства весной 1991 года добавился мандат всенародного референдума — свыше 60% населения в девяти республиках Советского Союза (прибалты, Грузия и Молдова в нем не участвовали) высказалось за сохранение федерального государства. Обновленный вариант Союзного договора, превращавший СССР в конфедерацию, был в ноябре согласован в Ново-Огареве. По окончании этих трудных переговоров сам Борис Ельцин, выступая перед прессой, которой я пообещал «мировую сенсацию», стоя рядом с Горбачевым, произнес: «Договорились, будет единое конфедеративное государство».

И вот новый «путч»! Его участники сами понимали, что нарушают Конституцию и могут быть арестованы, подобно августовским путчистам, как государственные преступники. Не случайно место их секретной встречи было выбрано неподалеку от польской границы — в случае чего оттуда было легче перелететь в Польшу на вертолете.

О подписанных ими документах, аннулировавших Договор о создании СССР в декабре 1922 года, Ельцин предпочел сам Горбачеву не сообщать — эту миссию поручили белорусу Шушкевичу, которому два других президента запретили давать Горбачеву какие-либо комментарии. Пока он, всхлипывая от эмоций и выпитого для храбрости спиртного, сообщал союзному Президенту о решении, принятом за его спиной, Ельцин звонил Джорджу Бушу и докладывал о самоубийстве исторического противника США.

Горбачев позвонил мне в машину — я возвращался домой после концерта в консерватории — сообщить о белорусском сюрпризе и попросил с утра быть у него в приемной. В Москву уже ночью прилетел казахский президент Назарбаев, и, когда я вошел в кабинет Президента, он звонил Ельцину, вызывая его в Кремль с объяснениями. Тот нервно спросил: «А вы меня там не арестуете?» «Ты что, с ума сошел?» — поразился Горбачев. «Я-то, может быть, и нет, а вот вокруг вас может найтись кто-то прыткий», — сказал Ельцин, пообещав, тем не менее, прибыть через четверть часа.

Ельцин не зря опасался — чудом избежав ареста в августе, он понимал, что, с правовой точки зрения, он и его сообщники бросили вызов Конституции и крупно блефовали. В сущности, он провоцировал Горбачева на открытый политический конфликт, который в тех условиях мог привести к кровопролитным столкновениям между сторонниками обоих президентов, с непредсказуемыми последствиями вплоть до гражданской войны.

После окончания встречи еще одной тройки хмурый Назарбаев сразу отправился на аэродром. В своем заявлении для журналистов он не скрывал уязвленность тем, что три «славянских брата», односторонне разорвав коллективные договоренности, достигнутые в Ново-Огареве, поставили не только союзного Президента, но и ази-

атские республики пред свершившимся фактом и тем самым бросили вызов их национальному достоинству. Ельцин встречу не комментировал. Позднее он жаловался, что Горбачев с Назарбаевым учинили ему подлинный допрос.

Зайдя к Горбачеву сразу после ухода Ельцина, я застал его в задумчивости. «Что можно сказать прессе, Михаил Сергеевич? — задал я свой ритуальный вопрос. — Там уже целая толпа журналистов со всего мира». Горбачев, тщательно подбирая слова, начал: «Скажи, что на встрече обсуждалась информация Президента России. Условились, что инициатива (*он сгделал ударение на слове "инициатива"*) лидеров трех республик будет разслана Президентом СССР в парламенты всех союзных республик для рассмотрения одновременно с уже начавшимся изучением проекта нового Союзного договора». На этом он остановился.

В заявлении, опубликованном несколько часов спустя, Горбачев упомянул, что не исключает проведения всенародного референдума по вопросу о судьбе Союза. Именно эта фраза вызвала наибольшее число вопросов ко мне на брифинге для печати. Журналистов интересовало, намерен ли Президент дезавуировать решения, принятые в Беловежской Пуще. Когда и на территории каких республик может быть проведен референдум, одним словом — с помощью каких политических или, возможно, властных или даже силовых приемов собирается он защищать союзное государство и самого себя.

Очевидно, что меня тоже интересовал ответ на этот вопрос, но поскольку на этот счет Горбачев мне не дал инструкций, я сказал то, что думал сам: «Я уверен, что он не будет защищать свой пост и свою власть ценой риска нового раскола общества, провоцирования в нем дополнительных политических и тем более вооруженных конфликтов».

Конечно, бросая вызов Президенту Союза, Верховному Совету и Конституции, Ельцин учитывал ослабленную позицию Горбачева после августовского путча. Помимо политического унижения лидер страны был лишен таких важнейших рычагов управления советским государством, какими всегда были партия и КГБ, скомпрометированные своим соучастием в путче. Не мог он опереться и на своего министра обороны маршала Шапошникова, перебежавшего в лагерь заговорщиков.

Тем не менее, если бы состязание Горбачева с Ельциным разворачивалось на одном поле — борьбы за власть, то у Президента СССР скорее всего не возникли бы проблемы с нейтрализацией беловежских заговорщиков с помощью остававшихся лояльными к нему военных и отрядов специальных сил. Их представители давали ему понять, что они готовы выполнить его любое указание, направленное на сохранение единого государства.

Но амбиции Горбачева шли значительно дальше, чем победа в соперничестве с Ельциным за пост в Кремле. Не для того он шесть лет всеми способами пытался «оттащить» страну и советское общество от царистско-сталинского прошлого, чтобы усесться на штыках в президентском кресле и стать заложником тех самых сил, от всевластия которых надеялся избавить страну. И пост в Кремле, и сам Союз были ему необходимы как рычаги для его Проекта — демократического переустройства страны и, почему бы нет, мировой политики.

Однако, как известно, судьба даже самой возвышенной цели часто разбивается о методы ее достижения. Проблема Горбачева состояла в том, что в стране, приученной своей историей к тому, что все радикальные, в том числе и прогрессивные реформы проводились с помощью насилия, он осмелился предложить обществу осуществлять перемены без принуждения, опираясь на Закон, народное волеизъявление и демократические институты.

В сложившейся ситуации Горбачев мог ждать помощи в спасении Союза и Перестройки только от созданных им самим парламентов и общества, которому подарил, практически навязал беспрецедентную свободу. Но после шести лет «революции обещаний», как однажды назвал Перестройку сам Горбачев, советское общество устало ждать результатов, которые все время откладывались.

Он стал очередной жертвой разочарования народа во вчерашних кумирах и связанных с ними надеждах. Явление это, разумеется, не только русское — история почти всех революций знает оплеванных недавних вождей и свергнутых идолов и статуй. В России эта неистребимая переменчивость народных привязанностей усугублялась специфически русской чертой: готовностью верить в чудо.

Вера в чудо Перестройки пришла на смену выветрившейся вере в чудо коммунизма. Но поскольку и она не сотворила чудес, общество потребовало новых имен, способных если не принести конкретные результаты, то хотя бы дать новые обещания.

Не дождавшись поддержки от новых институтов власти, республиканские парламенты с советским единодушием одобрили решения беловежской «тройки» — Горбачев был вынужден склониться перед результатами своих собственных трудов. «Что же мне еще было делать, — говорил он мне, — посылать танки расстреливать те самые парламенты, на создание которых я положил столько сил?»

Два года спустя сменивший его в Кремле Борис Ельцин, столкнувшись с вызовом, брошенным ему российским парламентом, без колебаний под улюлюканье собравшейся толпы зевак отправил танки стрелять прямой наводкой по тому самому Белому дому, который не решились штурмовать неудавшиеся путчисты августа 91-го.

Самый длинный день

25 декабря — день рождения моей мамы. Поэтому он был для меня семейным праздником задолго до того, как я узнал, что это Рождество — главный праздничный день для миллионов католиков. Начиная с 1991 года, эта дата в календаре стала и днем кончины, последним днем почти семидесятилетней истории Советского государства. Так получилось, что к этому совпадению я имел непосредственное отношение. Но начнем по порядку.

После приговора Союзу, вынесенного беловежской «тройкой» (словно по традиции сталинских времен), для членов окружения Горбачева ключевым вопросом стала дата объявления о его неминуемой отставке. Обсуждая это с Яковлевым, Черняевым и Шахназаровым, я видел, что наши мнения совпадали. После всего, что было сделано для страны и мира, Горбачеву оставалось последнее, но, может быть, самое трудное: достойно уйти, не затягивая и не создавая впечатления, будто он цепляется за власть и, главное, не дожидаясь унижительной ситуации, когда решение о его отставке примут за него его политические соперники. Своими советами в эти дни мы ему не докучали, понимая, что оставшуюся часть президентского пути Горбачеву предстоит пройти в одиночестве, смягченном, может быть, лишь поддержкой жены.

Вопрос этот, тем не менее, становился все более актуальным. Стараясь угодить своему боссу, обслуга Ельцина бросилась публично пинать еще не поверженного, но уже безвластного и поэтому безопасного Президента СССР. Так, тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев в интервью германскому «Бильду», отвечая на вопрос о будущей судьбе союзного президента, заявил: «Горбачев не прокаженный, и мы найдем для него работу». Другой приближенный Ельцина министр печат-

ти и информации Михаил Полторанин снисходительно заметил: «Ему не надо опасаться участи Хонеккера». По роду должности именно мне выпадало передавать Горбачеву эти укусы. Выслушав меня, Горбачев ограничился лаконичным: «Знаешь, Андрей, то, что они так себя ведут, убеждает меня в том, что я все сделал правильно». Над вариантами его прощальной речи уже работали его помощники.

Публично о своей предстоящей отставке Горбачев впервые упомянул в моем присутствии в телефонном разговоре с Гельмутом Колем в канун созванной в столице Казахстана Алма-Ате встречи 11 лидеров еще советских республик: «Если процесс формирования Содружества независимых государств конституируется, я уйду в отставку и не буду надолго откладывать мое решение», — сказал он германскому канцлеру. Я посмотрел на часы — это произошло 20 декабря в 10 часов 45 минут по московскому времени. На следующий день, получив сообщение о том, что республиканские лидеры, проигнорировав его обращение, подтвердили намерение образовать Сообщество независимых государств, заменив им Советский Союз, Горбачев вызвал меня и сообщил: «Собирай прессу на вечер 24 декабря. Тянуть незачем».

И тут мне представился шанс просунуть ногу в готовую захлопнуться дверь истории. Горбачев мог не знать о значении сочельника в семейном календаре каждой католической семьи. В том году было, разумеется, не до праздника, но я все-таки сказал Президенту: «Михаил Сергеевич, только не двадцать четвертого. Ведь этот вечер для миллионов католиков по всему миру — чуть ли не главный семейный праздник. Дети навещают родителей, все обмениваются подарками, желают счастья и здоровья, а тут такая драматическая новость. Вы выступаете по телевидению — все забудут и о Христе, и о подарках. Настроение будет совсем не праздничное».

Горбачев выслушал мою тираду и почти в виде рождественского подарка мне сказал: «Ну, хорошо, отложим на день. Но не позже». Так мне выпало продлить на 24 часа историю Советского Союза. Большого для этого государства я сделать не мог.

Утром 25-го, не забыв поздравить маму, я погрузился в подготовку прощального выступления Президента, — оно должно было транслироваться в прямом эфире на всю страну и через «Си-эн-эн» на весь мир. Горбачев в этот день приехал в Кремль позже обычного и закрылся в своем кабинете. Я зашел к нему около трех часов дня с пачкой последних газет. В одной из них сообщение о его предстоящей отставке размещалось под пушкинской строкой: «Нет, весь я не умру!» Горбачев усмехнулся и продолжил: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит».

Он достал текст выступления и начал его перечитывать вслух, внося в текст последние коррективы. Среди добавлений было и одно, сделанное по моему предложению. В параграф о демократических завоеваниях последних лет Горбачев дописал: «От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом».

Вошедший секретарь сообщил, что телефонисты готовы соединить Горбачева с президентом США. Джордж Буш с Барбарой на Рождество уехали в Кемп-Дэвид. Горбачев пожелал им обоим хорошего Рождества и сказал: «Джордж, вы можете спокойно праздновать, с передачей ядерной кнопки проблем не будет». Из секретариата Ельцина ему сообщили, что российский президент придет в его кабинет за ядерными кодами сразу после окончания речи Горбачева.

За десять минут до 7 часов — объявленного времени прямого эфира — он вышел из кабинета. Президентом СССР он в него больше не возвращался. Во время его выступления с купола здания Совета Министров в Кремле было спущено красное полотнище с серпом и моло-

том, развевавшееся над одной шестой частью земной суши в течение почти 70 лет...

Закончив свое выступление словами: «Желаю всем самого доброго», Горбачев дал интервью «Си-эн-эн», показав телезрителям только что подписанный им Указ о передаче права на применение ядерного оружия Ельцину. Теперь ему оставалось самому выполнить последний Указ Президента СССР.

В приемной его уже ждали маршал Шапошников, только что назначенный Ельциным российским министром обороны в награду за то, что он вовремя сменил своего босса, два незаметных офицера в штатском, носившие повсюду за Президентом «ядерный чемоданчик». И — неожиданная новость: Ельцин передумал приходить, как обещал, за ядерными кодами в кабинет Горбачева и предлагал встречу с уже бывшим президентом на нейтральной территории — в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

Я был уверен, что эту идею подбросил Ельцину кто-то из его окружения, когда стало ясно, что в исторической драме ухода первого и единственного советского президента Горбачев, даже проиграв сопернику, остается главным героем. Ельцину вместо триумфатора отводилась роль второго плана. На этот раз резко отреагировал Горбачев, отказавшись от предложения Ельцина и сообщив, что передаст ему все необходимое через министра обороны.

Пока происходила эта непростая техническая процедура, я ехал, как обещал своим друзьям французским журналистам, на интервью в московскую студию «Антенн-2». На вопрос: «Что все-таки произошло с Горбачевым — сам ли он ушел в отставку, отправлен ли в нее или низложен?» я сказал, что Горбачев низвергнут теми процессами, которым сознательно дал дорогу, и сегодня он может одновременно и испытывать удовлетворение

от того, что ему удалось осуществить в стране грандиозную реформу, и опасаться за свою дальнейшую судьбу.

В служебной машине раздался звонок, из приемной Горбачева сообщили, что он хочет меня видеть. Я вернулся в Кремль. За накрытым столом в Ореховой гостиной, примыкавшей к его кабинету, вокруг Горбачева сидели четверо его ближайших соратников. Наверное, Президент хотел, чтобы в этот исторический вечер прощальный ужин в Кремле выглядел по-другому, но если за столом кого-то и не хватало, то, по крайней мере, не было никого лишнего. Ни один из республиканских президентов, ставших неожиданно для них самих главами суверенных государств, в этот вечер ему не позвонил. Тень нового «босса» — Ельцина — уже накрыла Кремль своим колпаком. Полный текст выступления Горбачева опубликовала только одна «Рабочая газета»...

Через два дня, вопреки предыдущей договоренности о том, что Горбачев до конца недели мог пользоваться своим кабинетом, чтобы разобрать документы и сделать последние звонки, помощник Ельцина сообщил, что Борис Николаевич намерен уже завтра занять «свой кабинет». Табличку на стене с надписью «Президент СССР М.С. Горбачев» сняли ночью. А в половине девятого утра Ельцин в компании трех приближенных вошел в пустой кабинет, сел в президентское кресло, подергал ящики письменного стола и дал команду открыть бутылку виски, чтобы отметить событие. Взятие Кремля состоялось. С тех пор ни в этом кабинете, ни в коридорах Кремля я не был.

Отчего вымирают мамонты?

Если подводить итоги «главы Горбачева» в истории России XX века, то наверняка как его сторонники, в основном зарубежные, так и критики, главным образом

российские, на первое место поставят никем, в том числе им самим, не ожидавшийся стремительный распад Советского Союза. До сих пор, даже спустя четверть века, это событие можно причислить к загадкам истории.

Подобно загадочному Тунгусскому метеориту, «комета Горбачева», промелькнув по небосклону российской и мировой политики, — не забудем, что вся эпопея перестройки заняла неполных семь лет, — оставила после себя поваленный в радиусе многих километров таежный лес и глубокий кратер, за прошедшие годы успевший наполниться грязной водой. Как объяснить то, что случилось с целой страной, с грозной супердержавой?

На мой взгляд, дело не в недостатке объяснений, а в том, что их слишком много. В известной притче о том, каким себе представляют слона слепые, рассказывается, что тот, кто ощупывал его хобот, сказал, что слон длинный и круглый, тот, кто потрогал уши, сказал, что он плоский и тонкий, а тот, кому достался хвост, сообщил, что он короткий и напоминает морковку. Произвести аутопсию «мамонта», которым был Советский Союз, миссия не из простых и открывает дверь для самых разных версий о причинах его смерти. И это при изобилии готовых ответов, которые, правда, сильно разнятся в зависимости от того, кого вы об этом спрашиваете.

Например, большинство американских политиков и экспертов с редким для этой среды единодушием утверждают, что могильщиком Советского Союза стал Рональд Рейган и анонсированная им, хотя никогда и не реализованная, Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), больше известная как программа «Звездных войн». Полагают, что советская экономика либо окончательно обанкротилась, когда СССР попробовал состязаться с США в разработке такой программы, либо что советские руководители (имеется в виду Горбачев) выбросили белый флаг и сдались на милость Запада уже из-за одной только вероятности ее создания американцами.

Для восстановления исторической истины напомним, что еще во времена Андропова комиссия советских специалистов во главе с академиком Евгением Велиховым, изучив американский проект, пришла к выводу, что программа СОИ в предлагавшемся виде неосуществима, и в случае ее частичной реализации она будет настолько уязвимой, что Советскому Союзу не составит труда ее нейтрализовать с помощью более дешевого «асимметричного ответа».

Согласно другой версии, объявляющей Рейгана главным триумфатором над советской «империей Зла», ему удалось поставить СССР на колени, убедив короля Саудовской Аравии (в обмен на американские «Аваксы») обрушить с помощью резко увеличенной продажи нефти ее цену на мировом рынке и тем самым обескровить советский бюджет, наполовину состоявший из доходов от ее экспорта.

Как ни парадоксально, но с версией американцев об их решающей роли в развале Советского Союза охотно соглашались самые заядлые антиамериканисты — российские националисты и коммунисты, объясняющие крах советского государства кознями ЦРУ и... его скрытого агента в высших эшелонах советской партии и государства Михаила Горбачева. Последний председатель КГБ Крючков, правда, не дошел до объявления Президента, назначившего его на эту должность, завербованным иностранным агентом, но назвал «предателем» и привел в подтверждение цитату из подслушанного его службами разговора между Горбачевым и Яковлевым, в котором «они оба откровенно говорили о том, что являются убежденными социал-демократами, но из тактических соображений пока не готовы в этом признаться».

Версию о преобладающем «американском следе» для объяснения распада СССР опровергает один из самых компетентных американских специалистов по

СССР, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок. По его словам, после прихода Горбачева к власти и начала его масштабных реформ оба американских президента-республиканца, Рейган и Буш, считали сохранение советского союзного государства отвечающим национальным интересам США.

Буш дошел до того, что весной 1990 года, когда парламенты прибалтийских советских республик один за другим начали принимать декларации о независимости, неофициально (поскольку американский Конгресс ему бы этого не позволил и не простил) попросил Коля и Миттерана обратиться с посланием к председателю литовского Сейма Ландсбергису с просьбой «не форсировать» процесс отделения Литвы от Советского Союза.

Есть, однако, помимо американцев и другие кандидаты на титул «киллеров» СССР. По версии, бытующей во многих мусульманских странах, СССР подписал себе смертельный приговор, вторгшись в 1979 году в Афганистан и бросив вызов не только тамошним исламистам, но и всему мусульманскому миру.

Наряду с мусульманами напоминают о своей роли и католики. По мнению многих из них, именно папа-попьяк Иоанн-Павел II, произнесший еще за десять лет до распада СССР свое знаменитое «Не бойтесь!», обращенное к миллионам верующих, прежде всего в странах Восточной Европы, вынес приговор и коммунистическим режимам в этих странах, и советскому «старшему брату». (Примечательно, что эту же фразу позднее произнес и сам Горбачев, правда, адресовал он ее сторонникам перестройки СССР, а не его ликвидации.)

Считают, что приложили руку к исчезновению главного исторического соперника Запада и секретные службы, завербовавшие ценных перебежчиков: трофеем французов стал подполковник КГБ Владимир Петров с кодовым именем Farewell, англичане заполучили пол-

ковника Олега Гордиевского, проходившего под псевдонимом Ovation. Правда, ни тот, ни другой, несмотря на свою информированность, предсказать скорое исчезновение СССР не смогли.

Но все-таки находятся и те, кто, помимо внешних причин кончины Советского Союза, вспоминают о внутренних. Правда, и здесь разброс объяснений весьма широк. Участники диссидентского движения справедливо напоминают о своем бесспорном вкладе в расшатывание системы. Пожалуй, больше причин, чем у других, вспомнить о пророчестве грядущего катаклизма было у Андрея Амальрика, написавшего в 1969 году книгу под названием «Просуществует ли СССР до 1984», где он предрекал распад СССР (в результате возможной войны с Китаем). Однако и Амальрик, ошибшийся на семь лет, скорее всего позаимствовал дату кончины Советского Союза из романа Джорджа Оруэлла «1984», а не вывел из анализа советской ситуации. Даже Александр Солженицын, чей «Архипелаг» действительно стал мощным толчком, потрясшим опоры строя, образно сравнивал себя с «теленком, бодавшимся с дубом», и вряд ли рассчитывал дожить до того, как этот дуб рухнет.

Отвлекаясь от политических и геостратегических рассуждений, многие считают причиной того, что СССР не пережил 1991 года, конфликт личностей, характеров и амбиций: схватку между Горбачевым и Ельциным. Этот конфликт прошел различные стадии — от публичного конфликта на Пленуме ЦК осенью 1987 года и демонстративного выхода Ельцина из КПСС в 1990-м до решения российского правительства прекратить перечислять собранные в Российской Федерации налоги в бюджет союзного государства. По мнению экономического советника Горбачева академика Николая Петракова, именно это «решение стало для СССР фатальным ударом».

Пожалуй, единственное, в чем сходятся критики и сторонники Горбачева, — и те, и другие ставят ему в вину передачу власти в стране Ельцину, его антиподу во всем — от характера до политических и нравственных ориентиров. Это выглядело, как будто бы в русской версии известного романа Стивенсона доктор Джекилл и мистер Хайд на самом деле были двумя совершенно разными персонажами и один добровольно уступил место другому.

Понимая, что этот личный конфликт приведет к драматическим политическим последствиям, советники Горбачева делали неоднократные попытки подтолкнуть двух бывших союзников, ставших антагонистами, к примирению. Не удержался от этого и я в очередном разговоре с Михаилом Сергеевичем. Горбачев, которому уже надоело выслушивать подобные советы, устало ответил: «Все вы не понимаете, это бесполезно. Я его знаю, он не успокоится, пока не дорвется до власти».

Сам Ельцин по-своему подтвердил эту характеристику Горбачева. Будучи еще председателем российского республиканского парламента, он оказался в Париже и был приглашен вместе с Александром Зиновьевым в знаменитую телепередачу Бернара Пиво «Апостроф». Отбиваясь от наскоков советского диссидента, считавшего его не демократом, а амбициозным аппаратчиком, Ельцин, вспомнив свое прошлое профессионального волейболиста, сказал: «Разница между волейболом и политикой в том, что в политике надо бить не по мячу, а по противнику».

Валерий Боддин, ставший в августе 91-го путчистом, а до этого ближайший конфидент и секретарь Горбачева, который, по словам Раисы, «только что в спальне у нас не ночевал», рассказывал, как он по инициативе Горбачева устроил ему встречу с оппонентом «с глаз на глаз»

(в его присутствии). «Она ничего не дала, да и не могла дать: Ельцин не мог забыть не столько унижения от "публичной казни", которой был подвергнут на Пленуме ЦК в октябре 1987 года, когда он осудил "славословие" в адрес Генсека, сколько собственной слабости, когда написал Горбачеву письмо, в котором каялся за свое "незрелое поведение" и просил отпустить его на пенсию».

Горбачев поначалу пригрозил Ельцину «больше не пускать его в политику», но потом, остыв, отвечал предлагавшим ему отправить этого потенциально опасного соперника куда-нибудь послом: «Нет, ребята, так нельзя. Он же политик. Его нельзя просто так выкидывать». Понимая, что в обстановке накалившихся отношений между ними любой инцидент с Ельциным бросал бы тень на него, он наказывал шефу КГБ Крючкову: «Смотри, если хоть волос упадет с его головы, будешь отвечать». В итоге он счел конфликт исчерпанным и оставил Ельцина в Москве, где его вскоре привлекли в свой лагерь радикальные оппоненты Генсека, рассчитывавшие, как признавался Гавриил Попов, использовать его как таран для взлома кремлевских ворот.

На самом деле за этим, ставшим роковым для судьбы демократии в России конфликтом личностей кроется более серьезная проблема. Из истории известно, что в любой подлинной, заслуживающей этого названия революции на смену тем, кто свергает предыдущий режим, приходят те, кто пользуется ее результатами. Первые, как правило, — романтики и идеалисты (нередко и фанатики), вторые — циники и прагматики. Часто первые становятся жертвами вторых, если сами не успевают превратиться в мошенников и палачей.

Нет сомнения, что перестройка, начавшись как попытка реформы, стала подлинной революцией (или, если угодно, контрреволюцией по отношению к Октябрьскому перевороту). Главными актерами ее первого полити-

ческого этапа стали «шестидесятники» и диссиденты. Это они расшатывали, разрушали и в конечном счете демонтировали режим. Однако при этом, часто сами того не осознавая, они представляли уже другое общество — то, которое приобрело новое качество в процессе модернизации и породило до сих пор невиданную разновидность *homo soveticus* — советский средний класс.

На том этапе он по большей части состоял из интеллигенции — этого сплава остатков и наследия русской культуры с «продуктами самого режима», вскормленными его добротной и вполне демократической системой образования. Новые российские «западники», романтические энтузиасты очередной попытки европеизации России, вдохновлялись (часто идеализированным) обликом и примером Европы и Америки. Они верили в возможность «хорошей конвергенции», как наивные сердечники, мечтающие о том, чтобы их кровь была заполнена только «хорошим» холестерином. Их флагманом и неожиданно весьма эффективным полководцем и стал Горбачев. Один из голосов этого поколения Анатолий Черняев закончил свой исповедальный дневник словами: «Мы, по крайней мере, не воровали!»

Однако в затылок этому отряду демократически настроенных идеалистов, веривших в то, что коммунизм для России — не выжженное пепелище, которое надо скорее оставить в прошлом, а еще так и не испытанное будущее, — нетерпеливо дышали другие. Более многочисленная часть «нового класса», порожденная извращенной и аморальной системой, уже ни во что не верившая, не имевшая ни иллюзий, ни идеалов, ни моральных тормозов и мечтавшая об одном — стать собственниками. Причем любой ценой. Их философию сформулировал один из интеллектуальных лидеров этого слоя — экономист Гавриил Попов: «Даже если одним из путей к созданию класса собственников станет взяточничество

и воровство, от него не надо отказываться, поскольку он ведет к разрыву с коммунизмом».

Специфика этой части ущербного постсоветского среднего класса, состоявшего из аппаратчиков номенклатуры, подпольных дельцов, криминальной obsługi режима и поросли амбициозных авантюристов, типа Остапа Бендера, не имевших возможности реализовать себя в замороженном болоте советского застоя, заключалась в том, что их путь в класс собственников шел не через труд, талант и знаменитую «протестантскую этику» самоограничения, а через школу морального разврата, приспособленчества и паразитизма. Именно они дали современной России новую «партию власти», которая сменила выродившуюся КПСС.

Можно, конечно, усмотреть и в этом, пусть и неприглядный, признак исторического прогресса. Да и кто в конце концов возьмется спорить с Иосифом Бродским, воскликнувшим: «Ворюга мне милей, чем кровопийца». Этот класс будет тоже стремиться к конвергенции с Западом, только «конвергенции отрицательной» — соединению негативных черт того и другого строя. Ее результатом, заимствовавшим у ультралиберальной версии капитализма его неразборчивость в средствах, отсутствие социальной ответственности и бесстыдное социальное расслоение общества, и стал российский вариант олигархической экономики, объединивший беспредел унаследованного от большевизма политического авторитаризма с купеческим пиром нуворишей.

Существует, правда, целая школа аналитиков, считающих: поскольку подлинные революции не совершаются в «белых одеждах», вакханалия ельцинского этапа приватизации государства и растаскивания по карманам национальных богатств страны — неизбежное продолжение горбачевской политической революции, сломавшей тоталитарный строй. Больше того, что именно

Ельцин и его окружение взяли на себя неблагодарную, грязную, но необходимую миссию, осуществив социально безжалостный этап «шоковой хирургии» и добив в Беловежье смертельно раненное в августе союзное государство.

Не случайно, напоминают они, Горбачев до последнего тянул с экономической реформой и связанными с ней непопулярными мерами, отказывался отпустить цены и цеплялся за фикцию общесоюзного государства вопреки его начавшемуся неконтролируемому распаду. Получается, что, как уже бывало, по выражению Н. Бердяева, в истории, «зло взяло на себя выполнение той работы, которую отказывалось или не могло выполнить добро». И что поэтому Горбачев с Ельциным как бы дополнили друг друга, навсегда войдя в российскую историю вместе чуть ли не под одним именем — «Горбельцин».

Эта внешне привлекательная интеллектуальная конструкция на самом деле страдает двумя изъянами. Во-первых, игнорирует моральный аспект, присутствует, что бы об этом ни говорили, и в политике, и в истории, и в человеческой деятельности. От того, что добро и зло исстари сопровождают человека, они не перестали быть антиподами. В конце концов, ни один из проектов, замешанных на зле, не обеспечил человеку и человечеству таких прорывов к вершинам его возможностей, как те, что опирались на добро. Возвращаясь к эпопее выхода России из коммунизма, приходится признать, что печать, которую наложил на этот процесс ельцинский этап, дискредитировала само понятие демократии и либеральной рыночной модели и привела к почти необратимой утрате российским обществом веры в ценности личной свободы и социальной справедливости.

Другой аргумент, не позволяющий поставить вместе и тем более вровень Горбачева с Ельциным, еще очевид-

нее. Ельцин во всех отношениях вторичен, он — роковой и ставший фатальным для своего автора продукт горбачевского проекта. Без Горбачева Ельцин не только никогда бы не стал символом новой российской демократии, но не существовал бы и как политик. «Если бы, — говорил мне Яковлев, — не дай бог, он бы все-таки дорвался до власти в советские времена, то его хватило бы только на то, чтобы завинтить сталинские гайки». Вот почему, став радикальным «демократом» исключительно из-за соперничества с Горбачевым, Ельцин придавал поистине большевистский оттенок новому историческому этапу в жизни России, связанному с его именем.

В отличие от него Горбачев не только первичен, он уникален. Его, кроме прихоти природы и русско-украинских корней собственных родителей, породил сплав казачьей вольности Юга России, здравого смысла потомственного крестьянина, стихийного демократизма человека «из низов», который, по его собственным словам, «не боится упасть вниз», с вольнодумством Московского университета и атмосферой, начатой Хрущевым и не доведенной до конца десталинизации страны, общества и советского человека.

Пожарный или пироман?

Если сложить вместе все перечисленные причины саморазрушения СССР (в каждой из которых есть своя доля правды), можно только подивиться тому, что это искусственное идеологическое государство (недаром название этой страны не было привязано к географии, а ее государственным гербом было изображение земного шара), отягощенное годами, если не веками накопленного насилия, не рухнуло раньше. Почему же это застало всех, включая давно боровшихся против него, врасплох?

Представим, что Горбачев не уехал в отпуск 4 августа или что еще раньше после «мятежа» своих силовиков в Верховном Совете уволил будущих путчистов, как они того, безусловно, заслуживали. Что бы изменилось? Наверное, удалось бы избежать *этого* путча и его прямых последствий — ведь очевидно, что именно путчисты, объявившие своей целью спасение СССР, стали его главными разрушителями. Однако ответ на другой вопрос — удалось ли бы сохранить, пусть в реформированном виде, прежнее (или хотя бы усеченное) союзное государство — не так очевиден.

Сам Горбачев продолжает и сейчас настаивать на том, что роспуск Советского Союза был исторической ошибкой и что единое государство можно было сохранить. Но, справедливо обличая августовских и декабрьских путчистов, он не вправе забывать о своей ответственности. И хотя по-человечески его можно понять — главе государства трудно смириться с клеймом его «разрушителя», — может быть, спустя почти четверть века ему стоит признать очевидное: именно он, Михаил Горбачев, и его попытка реформы советского общества разрушили прежний Союз. И если ему психологически трудно этим гордиться, то, по крайней мере, нет причины этого стесняться, ибо всякий раз, когда надо было выбирать между спасением бюрократического государства и демократическим процессом, Горбачев, пусть и не без колебаний, выбирал демократию, предпочитая свободу принуждению.

Нельзя забывать, что покоилось это Государство-Партия на своих «трех китах»: мессианизме коммунистического проекта, безжалостном репрессивном режиме и атмосфере «осажденной крепости», которую создавала в стране партийная пропаганда. Начав перестройку этой идеально отлаженной боевой машины, Горбачев стал разбирать одну за другой ее несущие элементы.

Он не побоялся поставить под сомнение «божественное» или, говоря языком Агитпропа, «научное» обоснование коммунистической доктрины. Решительно размежевался со сталинизмом и, таким образом, лишил номенклатуру, а значит, и самого себя инструмента государственного насилия, которым, как уздой, многие годы управляли страной Россией ее правители.

Наконец, политикой военной разрядки с Западом и началом процесса разоружения он выбил из-под ног второй мировой сверхдержавы ее главную подпорку — страх, внушаемый ею внешнему миру и собственному населению. Достаточно было Горбачеву снять с советского общества стискивавший его «обруч» внешней военной угрозы и заявить о неделимости безопасности всего человечества перед лицом общих вызовов, как загнанные внутрь многочисленные проблемы многонациональной страны поднялись на поверхность.

Главное же, допустив свободные выборы, он оборвал династическое правление партийных жрецов. Из-за этого сегодняшние археологи советской цивилизации имеют все основания перенести дату реальной кончины Советского государства с декабря 1991 года на март 1990-го, когда Съезд народных депутатов проголосовал за изменение 6-й статьи Конституции, лишив КПСС бессрочной лицензии на монопольное правление страной.

Так что получается, главным разрушителем не только тоталитарной системы, но и сросшегося с ней государства был сам его руководитель, «максимальный шеф», выражаясь языком кубинской революции. И главная его заслуга состоит в том, что он добился этого результата цивилизованными, политическими методами, избежав и гражданской войны, и вспышек насилия, и сведения счетов, которые, как правило, сопровождали распад большинства мировых империй. Советское государство, по словам профессора Американского университета

в Париже Холла Гарднера, «вспыхнуло, как наполненный гелием дирижабль, и рухнуло, не оставив оболочки».

«Парадокс Горбачева» в том, что и его противники, и многие его сторонники считают: затеянная им перестройка завершилась провалом. Стала «катастрофкой», по выражению Александра Зиновьева. Парадокс усиливается тем, что одни проклинают Горбачева за то, что он смог осуществить, другие — упрекают в том, что не выполнил всех обещаний. Да и сам инициатор перестройки признает, что потерпел поражение. Надо ли напоминать, что нынешняя Россия и современный мир на световые годы отличаются от оптимистической перспективы, которую рисовали проекты демократического обновления страны и миражи нового политического мышления. В чем причина?

Задним числом просчеты и иллюзии Горбачева нетрудно перечислить — он не уклоняется от этого сам. Он наивно поверил в готовность партийной номенклатуры послушно подняться вслед за ним на эшафот подлинно демократической реформы. В отличие от романтично настроенного Генерального секретаря и нескольких его сподвижников, его остальное окружение вовсе не горело желанием придать человеческое лицо «реальному социализму», то есть повторить плачевный, с его точки зрения, опыт Пражской весны.

Вторая иллюзия инициаторов перестройки — их вера в то, что большинство советского общества созрело для разрыва с веками феодального подчинения бюрократическому государству и готово на жертвы ради обещанной свободы. Это заблуждение обернулось потерей Горбачевым и его командой их главного ресурса: массовой поддержки населения, которое, устав ждать обещанных плодов перемен, отвернулось от туманного демократического проекта еще до того, как он оказался под гусеницами танков в августе 1991 года.

Обманулся Горбачев и в своих надеждах на возможную поддержку его проекта западными партнерами. Он не ждал от них «Рождества летом», но искренне верил, что его усилия по обезвреживанию такого зловещего «фугаса», как советский тоталитарный режим, должны встретить понимание и поддержку за рубежом. Что Запад в трудный переходный момент — от милитаризованной административной экономики к рынку — поделится с его страной «дивидендами мира», полученными от устранения советской угрозы. Иначе говоря, что помощь России в трудном излечении от последствий большевистского эксперимента будет воспринята в мире как глобальная проблема. Он просчитался.

Вместо поощрения за решимость самостоятельно порвать с коммунистической догмой и принять универсальные демократические ценности постсоветская Россия оказалась оттеснена на периферию мировой политики. Вместо приглашения к строительству «общего европейского дома», о котором мечтал Горбачев, ей пришлось наблюдать, как этот «дом» расширяется и достраивается без нее. Не только зона традиционного присутствия и влияния России, но и сама территория бывшего СССР стала объектом борьбы за передел «советского наследия» и полигоном для новых аванпостов НАТО.

В этой ситуации итог внешнеполитической революции, осуществленной Горбачевым и позволившей ценой его односторонних уступок добиться радикальных прорывов в ядерном разоружении, ликвидации раскола Германии и роспуска Варшавского договора, воспринимается внутри нынешней России в лучшем случае как наивность, в худшем, как предательство национальных интересов.

Но могло ли все закончиться иначе? Допустим, что все пошло не по худшему, а по лучшему, с точки зрения Горбачева, сценарию. Что не упали цены на нефть. Что при-

балты и кавказцы отложили свои требования об автономии или выходе из СССР. Что Ельцин согласился лояльно сотрудничать с союзным Президентом. Что интеллигенция, раньше смиренно обслуживавшая советскую власть, готова благодарно с усердием помогать перестройке.

Наконец, что Запад, не столько проникшись состраданием к Горбачеву, сколько осознав собственный долгосрочный интерес (на чем настаивал Миттеран), предложит Советскому Союзу новый «план Маршалла»... Список можно продолжить, но уже из упомянутого видно, что из гипотетической истории мы переместились в фантастическую. И для такой истории скорее всего понадобились бы и другой Запад, и другой Ельцин, но и другой Горбачев. Какой?

Другой Горбачев?

Спустя несколько лет после распада СССР я оказался на российско-американском семинаре, где встретился лицом к лицу с главными участниками августовского путча. Они почти все провели три года в тюрьме, а в 1994 году, вскоре после расстрела Ельциным российского парламента, были освобождены по амнистии.

По замыслу организаторов семинара, они должны были наконец объяснить, какие цели ставили, готовя путч, и почему фактически разбежались, едва столкнувшись с непредвиденным сопротивлением. На вопрос, почему они не применили силу, каждый на свой лад объяснял, что создание ГКЧП не имело целью ни захват власти, ни отстранение от нее Горбачева и что танки в Москву были введены лишь для психологического эффекта.

Все при этом обвиняли Горбачева в «слабости», противопоставляя ему «решительность» Дэн Сяопина, не остановившегося перед пролитием «малой крови» на

Тяньаньмэнь, чтобы избежать впоследствии «большой». На мой вопрос, что помешало им, имея всю репрессивную мощь государства, применить ее самим вместо «слабого» Горбачева, я услышал: «Мы не хотели быть диктаторами, мы заранее договорились не допускать кровопролития». Янаев даже сказал, что лично он «нежный и ранимый человек, которому претит любое насилие».

Так выяснилось, что для настоящего путча недостаточно танков в городе, нужен еще и свой Дэн Сяопин. Или, на худой конец, Ельцин, расстрелявший собственный парламент. Неудача московских горе-путчистов, стало быть, в том, что среди них своего Дэна не нашлось, а Ельцин вместо того, чтобы их возглавить, предпочел другой лагерь.

Примечательно, что сожаление о том, что Горбачев не повел себя как Дэн Сяопин, наряду с путчистами часто высказывают и западные аналитики. Горбачева они характеризуют как наивного реформатора — любителя, который не смог удержать контроль за развязанными им самим процессами. Вслед за консервативными оппонентами Горбачева они исходят из того, что реформы в России могут осуществляться только авторитарным лидером, способным навязать стране свою волю, подкрепив ее, если требуется, не только подавлением оппонентов, но и принуждением колеблющихся.

Тезис убедительный. Россия действительно, за редкими исключениями, не знала других вариантов модернизации, чем реформы «сверху», по принуждению. Даже по-европейски воспитанная выдающаяся преемница Петра Екатерина Великая, начавшая под влиянием своих французских «советников» — Вольтера и Дидро с игры в либерализацию российской государственной системы, на практике вернулась к традиционному русскому «кнуту» и назидательно объясняла автору Французской энциклопедии, что Россия уже в силу своих огромных

размеров обречена на управление деспотическими методами. «Если бы мой "Наказ" политической реформы (так и не состоявшейся. — А.Г.) был во вкусе Дидро, он должен был бы перевернуть в России все вверх дном», — писала самая «западная» российская царица.

Проблема в том, что из каждого очередного витка такой форсированной модернизации, укреплявшей престиж государства и осуществленной часто на пределе ее сил, страна выходила ослабленной. Как правило, «количественная» модернизация не только не сопровождалась «качественной», затрагивающей общество, но чаще всего происходила за его счет. Наверное, поэтому Александр Галич предостерегал: «Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь суммы, не бойтесь мора и глада, / А бойтесь единственно только того, кто скажет: "я знаю, как надо"».

В полной мере это относится к амбициям большевиков, стремившихся пришпорить развитие страны с тем, чтобы не только догнать, но и перегнать остальной мир. На этом пути она добилась впечатляющих результатов. Стала из аграрной индустриальной, в массе своей образованной, возглавившей «второй мир» и пославшей человека в космос.

Однако к началу 80-х страна, претендовавшая на то, чтобы возглавить прогресс человечества, выбросив западный мир «на свалку истории», все дальше отставала от современности. Неуклонно расширявшийся разрыв между универсальным историческим временем и внутренним «советским летоисчислением», в котором была обречена жить огромная страна, не мог существовать бесконечно. Преобразовав с помощью палочной модернизации прежнее общество, большевики сами вызвали в нем эффект отторжения системы. И если согласно пророчеству Маркса и Энгельса, сформулированному в «Коммунистическом манифесте», буржуазия «производит прежде всего своих собственных могильщиков»,

то и советский правящий клан породил своего могильщика. Горбачев стал его лицом.

Думаю, даже если бы новый Генсек попытался стать советским Дэн Сяопином, как желали пучкисты, или Пинчотом, как предлагали некоторые российские неолибералы, ему не удалось бы спасти Советский Союз. Это государство стало жертвой как минимум двух заложенных в его основание амбиций.

Первая — реализовать коммунистическую утопию социальной униформизации общества. (Утопии вообще плохо реагируют на попытки их практического осуществления.) Вторая — спрямить российскую историю: превратить отсталую, аграрную, полуфеодальную страну в передовую мировую супердержаву, способную бросить вызов в стратегическом противостоянии всем потенциальным соперникам — от возглавленного американцами НАТО до Китая и даже мусульманского мира (в последние брежневские годы).

Даже взятые по отдельности эти претензии были неосуществимы. Соединившись же вместе в виде arrogantной и самоуверенной политики шамкавшего и выродившегося режима, они только ускорили его терминальный кризис и крах всего государства. Большевицкий проект, лежавший в основе величайшей исторической фальсификации XX века: претензии с помощью волюнтаристского рывка встать во главе мирового прогресса, несмотря на неимоверные жертвы ее населения, завершился закономерным фиаско, а воплощавший его Советский Союз попросту надорвался.

...Горбачев оказался редкой птицей среди российских реформаторов — человеком, убежденным в том, что по-настоящему глубокие перемены достигаются не «железной рукой», а высвобождением внутренних сил самого общества. Работая над биографией Горбачева, я выбрал в качестве эпитафии цитату из Евангелия: «Я пойду так медленно, как пойдет скот и пойдут дети».

Он сам формулировал эту идею по-крестьянски: «Что быстро делается, долго не служит».

Сделать такой выбор бывшему комсомольскому вожаку и партийному функционеру было, надо думать, не просто. Его осторожность, стремление пропустить общест-во вперед, дав ему возможность созреть для перемен, скорее толкать его сзади, чем вести за собой, восприни-мались многими как нерешительность и непоследова-тельность.

Если же попытаться хотя бы пунктиром обозначить главные перемены, происшедшие за эти годы в бывшем СССР и во всем мире, зигзаги «нерешительного» Горба-чева выгнутся в прямую линию, натянутую, как тетива. Назову то, что, по моему мнению, составляет «нераствори-мый остаток» — итог — перестройки. С ней Россия нагнала всемирную историю и после десятилетий добро-вольного отшельничества воссоединилась с остальным миром. Она откусила от «яблока» свободных выборов и гласности, включив право на свободу слова и инфор-мации в список общественных приоритетов. Перестройка реабилитировала все жертвы сталинских репрессий и освободила политических заключенных. Она вернула верующим храмы и реально гарантировала свободу со-вести и религиозных объединений.

Через тридцать лет после того, как Хрущев раздал паспорта колхозникам, советские граждане наконец окончательно вышли из крепостной зависимости от го-сударства, получив вместе с заграничными паспортами право свободно выезжать из страны. Именно Горбачев похоронил химеру планируемой до абсурда государст-венной экономики, гарантировал право собственности и легализовал частную инициативу и свободу предпри-нимательства.

Перестройка опровергла представление о том, что Россия самой историей приговорена к управлению само-державным или авторитарным режимом, и доказала, что

ее общество способно самостоятельно освободиться от тоталитаризма.

Наконец, *last but not least*¹, не забудем, что, отказавшись от претензий на альтернативную цивилизацию и подчинение своей идеологической доктрине всего мира, Москва взяла на себя инициативу прекращения холодной войны, чуть было не завершившейся третьей мировой.

... Даже тем, кто, как я, переживал эти сейсмические потрясения советской реальности и мировой политики на «капитанском мостике» в Кремле, иногда хотелось вцепиться в подлокотники кресел. Мы ощущали себя пассажирами гигантского «боба» — саней, несущихся по обледенелому желобу с вертикальной горы без уверенности, что нас не перевернет случайно подвернувшееся или подложенное на дорогу препятствие. Без какой-то гарантии, что рулевой наших саней еще в состоянии контролировать их скорость и сумеет вовремя затормозить в экстренной ситуации.

Не надо забывать, что и самому Горбачеву пришлось пройти вместе с освобождаемой им страной путь внутреннего освобождения. Войдя в перестройку энергичным ставропольским партийным секретарем, за которого имели все основания единодушно проголосовать бывшие члены брежневского Политбюро (и будущие путчисты), он в отличие от них вышел из нее, по существу, другим человеком.

Уже в ходе реализации его проекта ему приходилось не раз отказываться от первоначально заявленных целей. Уже не «очеловечивание» большевизма и даже не слом прежней системы, а преодоление, «выдавливание» сталинизма из прежнего *homo sovieticus* стало амбицией перестройки. Задача не столько политическая, сколько

¹ Последнее по порядку, но не по важности (*англ.*).

психологическая, экзистенциальная. Так перестройка из проекта политической и экономической реформы превратилась для Горбачева в замысел подлинной *культурной революции*. Сегодня он говорит то, что не мог сказать, будучи Генсеком и Президентом: «Чтобы получить задуманные результаты, сроки перестройки надо измерять 1–2 поколениями».

Советское общество, которому большевики обещали скорый приход на «Землю обетованную» коммунизма, вряд ли согласилось бы отложить в очередной раз исполнение надежд на лучшую жизнь. Видимо, поэтому горбачевская перестройка оказалась больше геополитической, чем национальной. Переделать мир, как выяснилось, значительно проще, чем Россию. Да и слушателей, и единомышленников у Горбачева до сих пор за рубежом больше, чем дома.

Кто же этот атипичный Генсек, который привел свою партию к отречению от монопольной власти, и Президент государства, подготовивший его распад?

С какой репутацией останется в истории XX века человек, вольно или невольно, но радикально изменивший ее курс: политика, по неосторожности открывшего дверь переменам и безуспешно пытавшегося ее захлопнуть, или вестника из будущего, посланием которого мы пренебрегли, упустив шанс помочь человечеству вступить в качественно новый этап своей истории?

Для меня очевидно, что в лице Горбачева Россия потеряла своего последнего «западника», продолжавшего идущую еще от Петра линию на соединение российского развития с европейским. Что же касается Запада, то с уходом Горбачева он лишился возможности пристыковать Россию с ее немереными ресурсами и стратегическим потенциалом к Европе, что позволило бы создать новый мощный полюс влияния на мировую политику в условиях, когда после нескольких веков безудержной

экономической и культурной экспансии западный мир вынужден перейти к самообороне и заботе о выживании перед натиском новых мировых игроков.

АЛЬБОМ:
Горбачев: «Свобода выше власти»

...Впервые мы встретились с Михаилом Сергеевичем лицом к лицу в лифте в ноябре 1985 года во время его первой встречи с Рональдом Рейганом в Женеве. Охрана не доглядела, а я, член группы консультантов, сопровождавших лидера, так торопился с какой-то справкой к своему непосредственному шефу, что с разбегу влетел в лифт, заблокированный охраной для Горбачева. Не знаю, как ей положено поступать в таких случаях — выкидывать живым или на всякий случай пристрелить, поскольку моя скромная личность им неизвестна, но, пока они колебались, Горбачев вошел в лифт и дальше решения принимал уже он.

«Поехали», — распорядился он, приняв меня, очевидно, за выделенного для сопровождения дипломата. Я нажал единственную кнопку — в советском представительстве в Женеве всего два этажа. Охрана зло смотрела на меня из-за плеча Генсека. «Ну, как настроение?» — успел завязать он светский разговор, чтобы не ехать молча между этажами. «Приподнятое, Михаил Сергеевич, — бодро отрапортовал я. — Ждем с нетерпением результатов вашей завтрашней встречи», — успел я его напутствовать перед тем, как двери открылись. «Ты знаешь, я тоже, — доверительно поделился он со мной. — Ну, пока. До скорого».

У меня будет с ним еще много встреч вплоть до последней (в его официальном статусе) в декабре 1991 года, когда я в роли последнего пресс-секретаря Президента СССР провожу его на политический «эшафот» — в телевизионную студию в Кремле, где его ждали десятки советских и иностранных журналистов и телекамер, перед которыми он произнес речь об отставке.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич как-то сказала: «Типичный советский человек — homo sovieticus — стал

продуктом воздействия двух главных воплощений советского государства: тюрьмы и детского сада». Горбачеву-реформатору выпала тяжелейшая задача — освободить своих сограждан от наследия того и другого, и, как выяснилось, распахнуть ворота тюрьмы оказалось легче, чем закрыть двери детского сада. Видимо, поэтому, объясняя «слалом» перестройки, Горбачев так охотно ссылается на пример Моисея, водившего евреев по пустыне в течение 40 лет в ожидании, пока за эти годы подрастет новое, не знавшее рабства поколение. Для его «марш-броска» через «зону», облуженную большевистским экспериментом, ему было отведено немногим больше шести лет, за которые и его собственная страна, и весь мир неузнаваемо изменились.

Но вернемся в 1985 год. Во время первой короткой встречи самое сильное впечатление на меня произвели глаза Горбачева — черные, блестящие, теплые глаза южанина, излучавшие одновременно любопытство к окружавшему его миру и нетерпение. Глаза человека, горящего желанием поработать над этим миром, чтобы в нем что-то немедленно исправить. Конечно, при этом он уже вполне вошел в роль одного из самых могущественных людей на планете, и поэтому из его глаз исходило подмеченное Львом Толстым «сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха». Впрочем, может, мне тогда все это показалось.

Второй раз глаза Горбачева меня поразили в августе 1991 года, когда я увидел его в Кремле через несколько дней после возвращения из трехдневного заключения в Форосе. По контрасту с первым впечатлением они мне показались потухшими глазами человека, которого лишили внутреннего источника энергии. И вместе с ней той безусловной уверенности в успехе и в себе самом, которой он заряжал окружающих даже в самые драматические моменты политической психодрамы перестройки...

Это был день его «отречения» от поста Генсека предавшей его партии: собравшееся в день объявления ГКЧП Политбюро призвало партию и всю страну «соблюдать спокойствие и порядок» и даже для приличия не задало путчистам вопроса о состоянии и возможной судьбе своего Генсека. Большинство его членов к этому времени считали «предателем» самого Горбачева.

Поразительно, что с большим пониманием, чем его коллеги по партии, к Горбачеву как искреннему коммунисту отнесся тот самый американский советолог Адам Юлэм, с которым я polemизировал в своей институтской юности. Он написал: «Горбачев верил в социализм, в отличие от его оппонентов консерваторов, которые, не веря во внутренние ресурсы системы, держались за принуждение...»

В последние дни, проведенные в Кремле после «беловежского путча», когда обесточенный состав СССР двигался вперед уже по инерции, у Горбачева после шести лет, прожитых в урагане перемен, неожиданно обнаружилось свободное время, которое он мог потратить на встречи «для души». В один из вечеров Анатолий Черняев привел к нему «на чашку чая» двух своих многолетних друзей — философа и литературного критика Юрия Карякина и скульптора Эрнста Неизвестного. Пятым участником чаепития «шестидесятников» был я.

Говорили о разном, больше вспоминая, чем строя прогнозы на будущее. В какой-то момент глаза Горбачева зажглись, напомнив мне встречу с ним в 1985 году, и он, стукнув по столу кулаком, воскликнул: «А все-таки, ребята, в главном мы их одолели!» Кто были эти «ОНИ», — прежняя номенклатура, недавние незадачливые путчисты, отступившаяся от своего Генсека партия или «прогладевшее Горбачева» КГБ, никто не спрашивал. Все и так было понятно...

В мой личный альбом воспоминаний, связанных с Горбачевым, за эти годы к памятным эпизодам официальных саммитов и международных переговоров добавились и неожиданные сцены из частной жизни этого одного из самых публичных и знаменитых персонажей на нашей планете.

Уже после его отставки в одной из совместных прогулок по Парижу — выполняя обещание, данное внукам еще Раисой, Горбачев привез их на встречу Нового 2000 года — мы оказались в районе Бобура. Одна из девочек заинтересовалась сувенирами, разложенными на асфальте уличным торговцем, и расстроилась, узнав, что дедушка не взял с собой денег. «Не переживай, — сказал ей Михаил Сергеевич, — вот сейчас встану на углу, сниму шляпу, увидишь, мне подадут».

Миновал Центр Помпиду и спустившись по эскалатору в подземные коридоры Halles de Paris, мы проходили мимо лестницы, на ступенях которой дремал живописный клошар. Разбуженный нашей иностранной речью, он открыл глаза и увидел перед собой необычный кортеж, состоявший из Горбачева, его телохранителя, двух внучек и меня с Аленой. Нимало не удивившись, он без излишней спешки поднялся на ноги, вытянулся во весь рост и, приложив два пальца к широкополой шляпе, отдал салют: «Мой Президент!»

Я поздравил Горбачева с этим неожиданным жестом признания и вспомнил, как еще несколько лет назад сопровождал его в Ватикан на встречу с Иоанном-Павлом II. Папа, который по заведенному протоколу ждет посетителей в своих покоях, вышел для встречи Горбачева в приемную. В своем окружении он потом, как мне передали, сказал: «Для этого человека мне захотелось это сделать».

Сам же «этот человек», когда мы как-то остались одни после целого дня интенсивных дебатов на Форуме новой политики, организованном Горбачевым, вдруг неожиданно сказал мне: «Знаешь, Андрей, я бы сейчас уже не променял свою нынешнюю свободу ни на какую самую высокую должность». Я ненадолго задумался: какую же должность он мог бы считать достаточно высокой после тех, которые занимал и от которых добровольно отказался. И ничего не придумал. Просто принял к сведению сформулированный им, как итог целой жизни, урок: «Свобода выше любой власти». Вывод редкий и неожиданный в устах политика. Уникальный для того, кто использовал находившуюся в его руках власть, чтобы пожертвовать ею для освобождения общества.

Историк Александр Аврех, размышляя об итогах перестройки десять лет спустя после отставки Горбачева, написал в «Независимой газете»: «Когда я пытаюсь сравнивать наше нынешнее состояние с тем, что было при Горбачеве, то вторая половина 80-х представляется неким сном. Никогда не идеализировал Горбачева... Но я благодарен ему за "сон". Теперь мне ничего не снится...»

ЧАСТЬ III

РОССИЯ ПОСЛЕ КОММУНИЗМА, МИР БЕЗ СССР

Я родом из Атлантиды...

Михаил Гефтер

...Мне предстояло в 50 лет начать новую главу своей биографии и самому окунуться в иную реальность, появлению которой я, как мог, содействовал. Весь нажитый за предыдущие годы багаж смысла волна, и приходилось учиться выживать в чуждой среде. Это возвращение в исходную точку без должности и зарплаты можно было расценивать как фиаско профессиональной карьеры, но и как шанс изменить жизнь, выбраться из прежней советской «колеи».

От этого вызова нельзя было уклониться, — если уж судьба позволила мне не только мечтать о другой жизни, но и содействовать перемене участи миллионов людей, надо было быть последовательным и разделить с ними неопределенное будущее. Мое решение начать все с чистой страницы безоговорочно поддержала жена, больше меня верившая в мои способности найти себя в незнакомой ре-

альности, хотя и меньше представлявшая трудности, поджидавшие нас за порогом Кремля на руинах развалившегося государства. Но мы, дети войны, видели и не такое.

После отставки Горбачев пригласил меня работать в основанном им Фонде политических и социальных исследований. Думаю, в том числе и чтобы не оставлять меня безработным, — мы оба понимали, что с новыми российскими властями «служебного романа» у меня не получится. Я поблагодарил и отказался — не потому, что намеревался оборвать наши отношения, напротив.

Я сказал ему, что после завершения «проекта Горбачева» должен начаться процесс осмысления его последствий как для постсоветской России, так и для мировой политики. «В этой работе, Михаил Сергеевич, я буду чувствовать себя свободнее, не являясь вашим сотрудником». Он, еще не привыкший к тому, что Президенту кто-то отказывает, поначалу насупил, потом махнул рукой. Наши личные и, смею считать, дружеские отношения, которым уже больше четверти века, от этого, я думаю, только выиграли.

Несколько моих зарубежных друзей по молодежному движению — одни за это время стали профессорами, другие — журналистами или политиками, — взволнованные событиями у нас в стране и на мировом телеэкране, звонили мне после отставки, приглашая приехать с лекциями или просто «отдышаться» после происшедшего. Эти короткие поездки позволили нам снять стресс последних месяцев и взять паузу для размышлений о том, чем дальше заниматься.

В конце концов я решил вернуться к тому, что меня привлекало с институтских времен и чему изменил ради политики: журналистике и исследованиям актуальной истории. Став обозревателем «Московских новостей» и сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, я смог, как естествоиспытатель,

тель, поставивший опыт на самом себе, одновременно переживать обрушившиеся на Россию и мир перемены и комментировать их.

Подлинным подарком судьбы, как мы с женой осознали впоследствии, стало неожиданное предложение из Японии от моего бывшего коллеги по молодежной эпохе. Он прислал приглашение университета в Киото прочесть курс лекций по истории международных отношений.

Эта возможность отключиться от лихорадки послесоветской «смуты», в которую погрузилась Москва, позволила с облегчением сменить помпезные декорации кремлевского «двора» на тишину средневекового киотского монастыря (мы поселились в «игрушечном» традиционном японском домике на соседней с ним территории) и всколыхнула во мне давнее влечение к Востоку, чуть было не определившее выбор профессии и судьбы еще в юношеские годы.

В университете я читал лекции по-английски (спасибо моей московской школе) и по мере приближения к событиям последних лет мог все чаще вплетать в изложение мировых событий собственные воспоминания и эпизоды моей политической биографии. Это увлекало, но иногда до такой степени запутывало бедных студентов, — для большинства Вторая мировая война была почти Средневековьем, — что один из них как-то попросил меня поделиться моими воспоминаниями о Ялтинской конференции.

Год, проведенный в Японии, «на другой планете», как мы потом называли нашу киотскую «космическую одиссею», дал шанс, отдалившись от разлагавшегося тела советского «мамонта» и освободившись (насколько это было возможно) от эмоций, осмыслить, что произошло с моей страной и какой отпечаток этот исторический катаклизм может наложить на последующую историю.

...После работы в киотском университете я вернулся в Москву, и передо мной вновь встал один из роковых

и безнадежных «русских вопросов»: «Что делать?» Не было и речи о сотрудничестве с новой кремлевской властью во главе с Ельциным. Да и в ее глазах я был настолько «замаран» принадлежностью к команде Горбачева, что меня, почти как облученного радиацией выходца из чернобыльской зоны, требовалось подвергнуть процедуре «обеззараживания» или поместить в длительный карантин. В постсоветской России я стал жертвой негласной политической «люстрации». В советские времена она практиковалась в отношении диссидентов часто в форме запрета на работу по профессии или на выезд за границу. Поскольку в постсоветскую эпоху границы оставались открытыми, мы с женой этим воспользовались.

АЛЬБОМ:
«Ни коло, ни дворо»

Францию мы выбрали не только потому, что оба знали французский язык. К этому времени в Париже вышли в переводе две мои книги (одну из них, «Падение Кремля», я написал в Киото). Многие мои соотечественники, даже не знающие французского, думаю, согласятся со мной: Франция с ее литературой и историей для мало-мальски образованного русского человека — безусловная вторая культурная родина. (Не случайна фраза Маяковского «Я хотел бы жить и умереть в Париже...» Не простая прихоть судьбы соединила Владимира Высоцкого и Марину Влади.)

Франция стала и второй, вынужденной политической родиной, а не просто спасительной пристанью и для нескольких волн послереволюционной российской эмиграции, не говоря уже о диссидентах и об усыновленных ею талантах, ставших звездами мировой культуры — от Шагала до Нуриева. Мы, разумеется, не обозначали своим приездом новую эмиграционную волну, тем более что само это понятие потеряло прежний фатальный привкус. Мой сын на телефонные звонки после нашего отъезда по наитию

использовал формулу из давно забытой досоветской истории: «Папа вышел в отставку и уехал за границу».

И хотя наш отъезд не напоминал ни «прыжка» на свободу Рудольфа Нуриева, ни «выдавливания» из СССР Андрея Синявского, уже поселившись во Франции, мы в полной мере оценили справедливость слов Александра Герцена, объяснявшего, почему он уже не вернется в Россию. Не идеализируя Европу, особенно после жестокой расправы с революциями 1848 года, Герцен писал:

«Зачем же я остаюсь?.. Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:

*Человеческому достоинству,
Свободной речи.*

...Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа... У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине...»¹

Это слова Герцена о контрасте между Европой XIX века и тогдашней царской Россией. В советскую эпоху этот разрыв превратился в пропасть. В горбачевские годы появилась надежда, а за ней и реальная возможность ее ликвидировать — короткое время, когда люди моего поколения, и мы с женой в их числе, могли гордиться тем, что были гражданами этого государства. В ельцинские времена, и в частности после событий 1993 года, вернувших Россию в колею «самодержавного» правления, эти исторические скобки закрылись.

Две чеченские войны и приход к власти Владимира Путина убедили даже тех, кто предпочитал сомневаться, что Россия вступила в очередной цикл политической реакции. И все же разница с прошлым была налицо. Пережитый страной в годы перестройки «политический ренессанс» доказывал, что «иное дано», и российское будущее — не навсегда ее прошлое...

¹ Герцен А.И. С того берега. Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. С. 13—15.

Когда мы выбирали Париж своим пристанищем, нас с Аленой привлекал и непоседливый характер французов (готовность в одиночку покорять океан и пустыни), и мушкетерская храбрость, и солидарность «всех за одного», стремление осчастливить мир и пригреть всех страждущих, и, не в последнюю очередь, не знающая рамок насмешливость, готовность смеяться надо всем, а значит, ниспровергать любой авторитет, — начиная от власти и вплоть до верховных: Бога и Смерти.

Я приехал в Париж в качестве корреспондента журнала «Новое время» и по чистой случайности нашел квартиру в квартале, традиционно заселявшемся русской эмиграцией. В том самом районе улицы Пасси, где в разное время жили Мережковский с Гиппиус, Шаляпин, Алексей Толстой, Бунин... Где до сих рядом с метро Ля Мюет за османовскими фасадами прячется бревенчатая русская изба — экспонат Всемирной парижской выставки.

Наша первая квартира на улице Николо (мы ее называли «Николо, ни дворо») размещалась над открытым еще до войны русским рестораном и бакалейной лавкой «Le Regal» («Пирушка»), в котором регулярно собирался «клуб» русских эмигрантов. И где, по утверждению хозяйки, успешно торговавшей блинами и икрой, но не знавшей ни слова по-русски, нередко бывала Брижит Бардо, что подтверждала висевшая на стене фотография. По уикендам здесь допоздна играл цыганский ансамбль, и когда в нашем внутреннем дворике разносилось «Две гитары за стеной...», нам казалось, что мы не в XVI квартале Парижа, а в Москве той эпохи, когда гостиница «Советская» еще называлась «Яром». Вы верите в случайные совпадения? Я — нет...

Исчезновение «Атлантиды»

Одно из главных последствий распада СССР — то, что река мировой истории неожиданно для всех вышла из бетонных берегов, в которые была заключена после Второй мировой войны страхом перед угрозой ее повторения, да еще в ужасающем ядерном варианте. Однако, подобно

внезапно обрушившемуся многоэтажному зданию, Советский Союз оставил после себя облако пыли, груды мусора и целый ворох вопросов. Первый из них: почему гигантский советский корабль, выдержавший немало исторических бурь и потрясений, вдруг перевернулся и ушел на дно? Ведь многим казалось, что сплав России с коммунистической идеологией, из которого был изготовлен его корпус, делал его непотопляемым. Нельзя же всякий раз, когда кульбиты российской истории озадачивают остальной мир, да и самих россиян, прятаться за универсальное объяснение Тютчева: «Умом Россию не понять».

За этим вопросом тянулись другие, неожиданные, например: а можно ли вообще называть большевистский опыт, пережитый Россией, подлинно коммунистическим или хотя бы левым? Или: если советский социализм был скорее постфеодальным, чем посткапиталистическим, то каким в таком случае может стать очередной, не имеющий исторических аналогов российский «посткоммунистический капитализм»?

Эти вопросы имели значение не только для историков или политических семантиков, готовых погрузиться в дискуссии о точном определении всех этих терминов. Ответы на них во многом определяли выбор дальнейшего пути новой Россией и характер ее отношений с остальным миром. Как, впрочем, и сам облик XXI века, который неизбежно зависит от того, какие уроки мы вынесем из XX-го.

Это касается и вопроса о холодной войне, завершившейся то ли с падением Берлинской стены, то ли с концом Советского Союза. Была ли она столкновением противоположных мировых цивилизационных проектов, борьбой Добра и Свободы с «империей Зла» или просто идеологической формой соперничества мировых центров силы? Ведь, если верно последнее, то, видимо, в этом объяснение того, что, оставив одну холодную вой-

ну в прошлом, мы открываем для себя новую, пусть и под другим названием и с другими игроками.

Еще одна причина задуматься над вопросами, поставленными исчезновением «советской Атлантиды», касалась не только России и ее сателлитов. Многие страны бывшего «третьего мира» вслед за Советским Союзом соблазнились надеждой перехитрить историю и попытались использовать коммунизм как своеобразную «машину времени», чтобы одним скачком преодолеть свою экономическую и культурную отсталость и догнать остальной мир.

В результате в течение XX века едва ли не большая часть человечества (достаточно напомнить о Китае) попробовала примерить на себя коммунистические одежды, а после краха Советского Союза в той или иной форме пережила похмелье. То, что могло стать мировым триумфом марксизма (на центральной площади Москвы напротив Большого театра до сих пор высится памятник основателю научного коммунизма с высеченной на нем цитатой из Ленина: «Учение Маркса всеильно потому, что оно верно»), превратилось в его всемирные похороны. Почему произошло то и другое?

Одно из объяснений: если сопоставить различные интерпретации и воплощения марксизма, он выглядит как своего рода «швейцарский складной нож» — набор инструментов и приспособлений, которыми можно пользоваться в зависимости от сиюминутной необходимости. В нем содержатся и убедительная уничтожающая критика капитализма, и социальная утопия, и политический проект, и методика завоевания и особенно сохранения власти, и пособие по тоталитаризму для начинающих диктаторов, позволяющее его критикам сравнивать коммунизм с фашизмом. Упрощая, можно свести марксистский проект к сочетанию двух его ипостасей: коммунизма-цели с коммунизмом-средством.

Любопытная особенность разнообразных попыток воплощения этой давней человеческой мечты о «земном рае»: чем дальше от места (и исторических условий) появления марксизма — Западной Европы — они были предприняты, тем меньше связи имели с тем оригинальным «брендом», который появился под сводами Лондонской библиотеки в середине XIX века. Достаточно сравнить режимы, помимо России и Китая, выступавшие под его знаменем, — от Вьетнама, Северной Кореи и Камбоджи в Азии, Кубы, Чили и Никарагуа в Латинской Америке до Анголы и Мозамбика в Африке (не забывая об Афганистане после «апрельской революции» 1978 года).

Уже из этого пестрого букета «инкарнаций» марксизма в политической истории XX века видно, что универсальная марксистская «отмычка» позволяла тем, кто к ней прибегал, представлять себя жрецами Истории, которые пытались решать самые разнообразные национальные проблемы или вести банальную борьбу за власть. При том что преобладающая часть задач, решавшихся под прикрытием марксистских лозунгов, не имела ничего общего с целями и обещаниями, сформулированными в марксистской доктрине. Нас в этом контексте будет интересовать, разумеется, прежде всего Россия — страна, посвятившая коммунистическому эксперименту большую часть своей истории в XX веке и заплатившая за этот опыт самую высокую цену.

Кстати, моя неожиданная новая встреча с Адамом Юлэмом четверть века спустя лишний раз заставила меня пожалеть о том, что в свои студенческие годы я погорячился, обличая его как махрового антикоммуниста. Он ведь потому с таким сочувствием отнесся к Горбачеву, что прочитал в горбачевской позиции подтверждение своего тезиса о том, что коммунизм — не что иное, как «детская болезнь» развивающихся обществ на пути к индустриализации. И уже поэтому исторически легитимен,

несмотря на варварский облик, который принимает в развившихся им странах, и издержки, которые вынуждено платить за коммунистический вариант «модернизации» переживающее его общество.

Вернув историческое оправдание коммунизму, хотя и отправив его в уходящую историю, Юлэм одновременно объяснил и закономерность перестройки как подтверждения того, что советское общество достаточно повзрослело, чтобы освободиться от своего «доиндустриального политического корсета». Правда, думаю, сам Горбачев вряд ли был бы доволен, узнав о такой поддержке. Ведь его представление о коммунизме, как у правоверного советского марксиста, воспитанного на ленинских работах, состояло в том, что коммунизм не предшествует индустриальному капитализму, а приходит ему на смену.

Сегодня даже Горбачев, уже не стесняющийся объявлять себя социал-демократом, считает, что «роман» России с коммунизмом окончательно закончился. Но с каким итогом? Чем в конечном счете завершилась для коммунизма его «русская кампания»? Только ли «Березиной»? Ответы разнятся. У многих французов на памяти формула Жоржа Марше о «глобально позитивном итоге» коммунизма в Советском Союзе.

Вскоре после моего приезда в Париж известный французский телеведущий Жан-Мари Кавада пригласил меня участвовать в телепередаче на канале «Франс-3» на тему, в значительной степени спровоцированную «Черной книгой коммунизма» под редакцией Стефана Куртуа. Ее участников усадили по обе стороны воображаемой разделительной линии. Я оказался в лагере «защитников» коммунизма между Робером Ю, тогдашним Генсеком Французской компартии, и знаменитым поэтом и певцом Жаном Ферра, известным своими симпатиями к коммунистам. Соседство с «Жаном де Франс» (таким высоким титулом наградила пресса певца после

того, как он посвятил своей родине одну из самых проникновенных песен «Ma France»¹) меня более чем устраивало. После передачи он пригласил к себе в гости в деревню в Ардеше и там подарил для передачи Горбачеву свой диск с песней «Le Bilan»². Потом перезванивал, спрашивал, удалось ли мне перевести Горбачеву ее слова. Я подтвердил, что это сделал.

В своем «Итоге» Ферра жестко допрашивал большевиков от имени тех «осиротевших» приверженцев коммунистического мифа, которые не могли простить своим старым товарищам то, что они извратили и скомпрометировали их идеал: «Когда я слышу разговоры о «позитивном итоге», я задаю себе вопрос о цене, которой он оплачен. Спросили ли о ней те миллионы мертвых, спертых в расход?»

На самом деле, Ленин и его последователи использовали «швейцарский нож» марксизма вовсе не для того, что имели в виду его творцы Маркс и Энгельс. Не для «снятия» проблем системного кризиса, в которые уткнулось развитие западноевропейского капитализма, а как доктрину мобилизации отсталой страны, находившейся на стадии «крепостнического капитализма» (термин Михаила Гефтера), на форсированный марш вдогонку за другими индустриальными обществами. Отбросив коммунизм-цель, они свели его к коммунизму-средству.

Нельзя сказать, что Ленин, которому удалось поднять знамя коммунизма над одной шестой частью земной суши, не осознавал этого исторического подлога и не испытывал от этого некоторой интеллектуальной неловкости. Незадолго до смерти, уже пораженный неизлечимой болезнью, он, судя по его последним статьям, начал понимать, что временный «военный коммунизм»,

¹ «Моя Франция» (фр.).

² «Итог» (фр.).

с помощью которого он рассчитывал спасти советскую власть не только от внешней угрозы, но и от внутреннего краха, скорее отдалял Россию от изначального коммунистического проекта, чем приближал к нему. Получалось, как в известной истории с двумя мужиками, пошедшими в лес на охоту. Один из них вдруг услышал, что его приятель кричит из чащи: «Иди скорей сюда, я медведя поймал». «Так тащи его сюда», — отвечал первый. «Не могу, он не пускает».

Проявлением замешательства Ленина и стал НЭП, в сущности, — первый нереализованный проект *перестройки* советского коммунизма, который должен был узаконить два еретических отступления от его собственного первоначального политического выбора: рынок и неизбежно связанный с ним как минимум экономический плюрализм. Видимо, в этом, «гипотетическом», не состоявшемся Ленине и кроется объяснение той привязанности к нему, которую не стеснялся демонстрировать, вопреки настоятельным советам его сторонников, автор другой, состоявшейся перестройки — Горбачев...

После смерти Ленина Сталин уложил рядом с ним в мавзолей на Красной площади и мумифицированный марксизм, вычленив из этого учения его самый сомнительный составной элемент: исторический детерминизм, который должен был освятить своим авторитетом увековечение монопольного правления Россией орденом большевистских «меченосцев». Главная цель Сталина, как писал бывший убежденный коммунист Лев Копелев, — «восстановление империи, великой державы, а все социалистические и коммунистические лозунги... — только идеологические средства».

И все-таки Маркс нашел способ отомстить задним числом русским марксистам за произвольное обращение со своим детищем и попытку подсунуть подделку

вместо фирменного товара. Когда Горбачев на заре перестройки попробовал вернуться к цели коммунистического проекта в том виде, какой вычитал ее из Маркса, отвергнув недостойные, по его мнению, и извращающие саму цель средства, «зрелый и реальный» советский социализм взорвался ему в лицо. Явно непредусмотренное авторами марксистской доктрины, но заложенное ими самими в ее основание, это противоречие привело к закономерному саморазрушению их амбициозного проекта «штурма неба».

Эфемерный Черненко и его усердные идеологи и не подозревали, насколько правыми они окажутся. Разрыв между коммунистическим идеалом и советской реальностью на самом деле оказался мощным источником энергии. Правда, не созидательной, а взрывной. Именно все более очевидный контраст между анонсированными целями коммунистической революции, обещавшей освобождение человеку труда и изобилие всему человечеству, и унижительной реальностью репрессивного режима, обрекавшего население на фактически принудительный труд под присмотром партийной и полицейской элиты, превратился в главное внутреннее противоречие советской большевистской модели.

По этой же линии проходит, на мой взгляд, принципиальный водораздел между фашизмом и коммунизмом, несмотря на сопоставимое количество жертв того и другого и трудно различимую разницу в методиках тоталитарных режимов, вдохновлявшихся этими соперничавшими проектами мировой экспансии. Не одним только авантюризмом фюрера, втянувшего Третий рейх в войну на два фронта, можно объяснить то, что западные демократии заключили спасительный для них, хотя и временный, союз против нацизма с СССР, а не с гитлеровской Германией. Подтверждение логичности такого союза

пришло много лет спустя после их общей победы. Советский коммунизм взорвали его внутренние противоречия после того, как он оказался лицом к лицу с собственными обещаниями, в то время как фашизм мог быть сокрушен только преобладающей внешней силой.

Капитализм после коммунизма

Однако похоже, самым посткоммунистическим режимам еще рано окончательно простаться с Марксом. Не исключено, что им придется перечитывать марксистский анализ капитализма именно потому, что их общества, возвращаясь из светлого «коммунистического будущего», как правило, оказываются у истоков капитализма. На его «дикий» и циничной стадии первоначального накопления. Той самой, которая превратила 1848 год в Европе в год революций и выхода в свет «Коммунистического манифеста».

Но если анализ тогдашнего капитализма Марксом и Энгельсом вряд ли применим сегодня в развитых западных странах (хотя переживаемые ими нынешние кризисы и заставляют многих перечитывать труды основоположников марксизма), то он может пригодиться в государствах, после десятилетий «строительства социализма» открывающих для себя мир драматических социальных контрастов, сверхэксплуатации и отчуждения человеческой личности.

Психологический шок, который пережили миллионы бывших советских граждан в рамках жизни одного поколения, связан не только с их внезапным переходом из эпохи цветного телевидения в черно-белую реальность мира XIX века. Вместо того чтобы оказаться внутри сверкающего западного супермаркета, на что многие надеялись, они столкнулись с миром «дикого капитализ-

ма», представшего перед ними в облике, не сглаженном ни опытом политических компромиссов (результата классовых боев), ни реформизмом социал-демократов, ни амортизаторами государства социального благодеяния — ответа западного капитализма на «угрозу с Востока».

Пожалуй, в худшем положении оказались отсталые общества советских среднеазиатских окраин, в наибольшей степени выигравшие в советский период от модернизации, вырвавшей их из феодализма, а теперь отброшенные назад в статус стран «третьего мира». Полученная ими в результате распада союзного государства независимость обернулась ударом по выросшим за эти годы средним классам и интеллигенции, разрушением систем образования и социальной защиты и возвращением большинства населения в полуфеодалную зависимость от власти, а нередко и к условиям рабовладельческого труда.

Но и российское общество, заплатившее за правление «утопии у власти» 70-ю годами искалеченной истории, оказалось жертвой нового жестокого социального эксперимента. Особенность ельцинского режима, пришедшего на смену советской власти, в том, что он ухитрился соединить два радикализма: ультралиберализм по поставленным целям и большевизм по методам. Через столетие после того как Западная Европа переболела искушением социал-дарвинизма, как постыдным заболеванием, в него со всего размаха и с той же безоглядностью, как в свое время в эгалитаристскую утопию коммунизма, ухнуло российское общество. С той разницей, что если коммунистический проект поначалу была готова поддерживать значительная часть населения, поверившая на слово большевикам, то программу «шоковой терапии» новая власть взялась осуществлять не спрашивая никого.

Как мне рассказывал Григорий Явлинский, «Ельцин дал добро на программу радикальной реформы российской экономики, не читая ее. Главное для него было подтвердить образ преобразователя-радикала, который не колеблется и не топчется на месте, как Горбачев». В результате правительство Гайдара размахистым толчком отправило маятник российской истории из одной крайней точки — послереволюционного «военного коммунизма» в сторону «полувоенного капитализма».

Окружавшие Бориса Ельцина в ту пору «чикагские мальчики», ставшие хорошо оплаченными советниками первых российских олигархов, оправдывали драматическую социальную цену, которую они предложили заплатить обществу за переход от советской государственной экономики к рыночной, ссылаясь на примеры других посткоммунистических стран Восточной Европы. Поскольку те тоже пережили разные варианты «шоковой терапии», она выглядела как неизбежная входная плата в вожделенное «общество потребления». Наслушавшись их обещаний, Ельцин всенародно поклялся, что максимум через полгода после начала реформ, которые свелись к введению свободных цен и началу обвальной приватизации, Россия по уровню жизни встанет вровень с развитыми западными странами. «Если этого не произойдет, положу голову на рельсы», — пообещал Президент россиянам.

Ко времени распада СССР большая часть стран Восточной и Центральной Европы, еще недавно входивших в СЭВ, начиная с Польши, пережившей шок реформ Бальцеровича, действительно прошла жесткую школу приобщения к рынку, заплатив за прощание с патерналистскими режимами «народной демократии» драматическим снижением уровня социальной защиты. Некоторые из них, переправившись вброд через ров либеральных реформ, уже выбирались на «европейский берег».

Однако обещать подобные же и скорые результаты российскому обществу означало по наивности или умышленно игнорировать принципиальные различия между той и другой реальностью.

Два важнейших фактора помогли восточным европейцам (к тому же не всем) относительно быстро преодолеть трудности переходного периода и начать интегрироваться в мировую экономику. Первый — то, что срок их «отсидки» в коммунистическом лагере измерялся примерно 40 годами — периодом жизни одного поколения. В их социальной и профессиональной памяти еще сохранились воспоминания о предыдущей жизни и рефлексы, необходимые для выживания и преуспевания в условиях рынка. Иначе говоря, за спиной у них оставалось относительно недавнее историческое прошлое, куда они могли вернуться.

Вторым, а для ряда этих стран первым по значимости, был не экономический, а психологический фактор: надежда на национальное возрождение. Крах коммунистических режимов, даже возглавленных собственными национальными вождями, эти общества воспринимали как освобождение от навязанной им чуждой советской модели. Ради этого они были готовы перетерпеть и неизбежные тяготы перехода к рынку, и обострение социального неравенства.

Именно этот национальный фактор, усиленный бесцеремонным давлением со стороны России на свои бывшие окраины, поднял мощную вторую волну отчуждения от бывшей «метрополии» на этот раз уже не среди народов Восточной Европы, оказавшихся после Ялты под советской «пятой», а в отколовшихся от исторической России молодых независимых государствах — Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Украине и далее по списку...

По понятным причинам постсоветское российское общество было лишено этих компенсационных факто-

ров. Оно не могло опереться на национальный духовный подъем, сдобренный давними антирусскими настроениями (как, например, у поляков и прибалтов), не имея внешней «оккупационной» силы, на которую можно списать свои беды и с восторгом от нее освободиться. К тому же оно вообще в своей массе не было уверено в том, надо ли ему радоваться избавлению от прошлого режима или воспринимать его крах как очередное национальное бедствие.

Что же касается возможности адаптации к новой реальности, то и здесь принципиальная разница с соседями по соцлагерю очевидна. Проведя под властью большевистской утопии практически 70 лет, российское общество, как приговоренный к пожизненному заключению и неожиданно освобожденный узник, вышло «на волю», не имея семьи, адреса и профессии. Воспоминания о прошлой, дореволюционной жизни у тех, кто дожил до новой, выветрились или вымерзли в общесоюзном ГУЛАГе. Носители предпринимательской культуры и просто инициативные люди были практически поголовно «раскулачены» или перевоспитаны в школах коллективизма и иждивенчества. Те же, кто за фасадами идеологических догм отваживался заниматься реальной экономикой, делали это с риском для жизни, уходили в подпольный бизнес или в «денщики» к местной или центральной власти.

Поскольку в отличие от восточноевропейских собратьев у российских новообращенных рыночников не было и не могло быть ни воспоминаний, ни представлений об облике современного капитализма, а возвращение в дореволюционный «крепостной капитализм» в конце XX века было бы слишком экзотическим, они стали адептами капитализма «номенклатурного». Причудливого русско-советского сочетания монополизма властных решений (права подписи) с монопольным, из-

бавленным от какой-либо конкуренции частным владением наиболее прибыльными кусками национального хозяйства (правом «распила»).

Берег, куда в результате проведенных рыночных реформ выбралась после крушения Госплана российская экономика, оказался отнюдь не европейским, а диким побережьем неизвестной страны «третьего мира», не отмеченным на географических картах и в экономических справочниках. Ближайшей страной по аналогии, пожалуй, можно назвать Чили в эпоху Аугусто Пиночета, ставшую первым полигоном теоретиков Чикагской школы Мильтона Фридмана.

Главные признаки складывавшегося в России режима — лишенный конкуренции и правовой защиты «дикий рынок», контролируемый «на паях» властью и криминальными структурами и, соответственно, заражающий коррупцией всю государственную систему, а также невиданное, даже по меркам стран «классического» капитализма, социальное расслоение. Страна, которая в течение большей части XX века претендовала на то, чтобы служить для всего мира примером социальной справедливости, сегодня по имущественному неравенству бьет все мировые рекорды. Нынешняя Россия уступает по разрыву в доходах между самыми обеспеченными гражданами и малообеспеченными слоями только нескольким офшорным островам Карибского бассейна. Иначе говоря, одна шестая часть земной суши превращена в «райский заповедник» для уникального клана, объединившего освобожденную от оглядки на оппозицию и общественное мнение власть и не знающих конкуренции миллионеров.

Борис Ельцин и его «мальчики» повторили чилийский сценарий не только в области экономики. Осенью 1993-го, ровно через двадцать лет после бомбардировки чилийской авиацией дворца Монеда в Сантьяго, танки,

посланные российским Президентом, прямой наводкой расстреляли Белый дом, который в 1991 году был штабом сопротивления «потешному путчу» советской номенклатуры. (В это время я читал лекции в киотском университете, и когда мы с женой, как и миллионы телезрителей во всем мире, смотрели прямую трансляцию очередной российской драмы по «Си-эн-эн», нам казалось, что наш хрупкий японский домик у стен монастыря Мио Синдзи содрогается при каждом выстреле танкового орудия.)

Конечно, засевшие в Белом доме лидеры российского парламента, бросившие вызов Президенту, ничем не напоминали марксиста-идеалиста Альенде. Впрочем, и сам Ельцин не был готов надеть сапоги чилийского генерала. (Только в 1999 году он передал установленный им в эти дни режим бывшему подполковнику советского КГБ Владимиру Путину в обмен на пожизненный иммунитет от возможного судебного преследования для себя и членов своей семьи.) Тем не менее по многим параметрам последствия того и другого штурма можно сравнивать (начиная с жертв, число которых в Москве бывший зам. председателя КГБ Леонид Шебаршин оценивал в 800–1000 человек). Результат усмирения парламента — растоптанные ростки разделения властей и восстановление традиционного для российской и советской истории единоначалия — был закреплен принятием новой Российской Конституции, легализовавшей абсолютистский президентский режим и открывшей царскую дорогу олигархическому капитализму, охраняемому мощью полицейского аппарата и обслуживающей его судебной машины.

Еще в 1994 году, за пять лет до появления на российском горизонте Владимира Путина, социолог Всеволод Вильчек написал в «Независимой газете»: «Вместо широкого слоя людей, заинтересованных в демократии и ста-

бильности, вместо демоса и "среднего класса" в России обозначились: а) деморализованная и взрывоопасная масса, отчужденная от собственности, и б) узкий слой очень богатых людей. Так была заложена база олигархического, фашизоидного, потенциально репрессивного режима. Новый класс правителей России нуждается в защите от отлученных от пирога и еще больше от масс, чувствующих себя обманутыми. Поэтому он создает не правоохранительный (невозможный в криминальной атмосфере), а репрессивный СИСТЕМО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ аппарат».

По существу, управление, точнее говоря, владение страной оказалось в руках герметически замкнутой властной структуры, соединенной совместным (чекистским) прошлым, общими денежными интересами, а также полусемейными связями.

«МЫ ТАМ БЫЛИ...»

Для защиты этой новой пирамиды социального расчленения новому российскому режиму (пока) не требуется опираться, как в свое время чилийскому, на репрессии. За него с этим до сих пор вполне успешно справлялся его предшественник — советская власть и оставленная ею политическая инерция. Во-первых, в виде въевшегося за многие годы страха перед государственным репрессивным аппаратом.

Однако есть и другой аспект этой уникальной ситуации. Приватизированное новой элитой государство считает возможным безнаказанно проводить даже самую жестокую антисоциальную политику, не опасаясь возмущения общества, массовых уличных протестов и поли-

тических атак оппозиции. Новых хозяев России явно не сдерживает, как в свое время их коллег в западных странах, напуганных после 1917 года русской революцией, страх перед ее повторением. Эту скорее психологическую, чем политическую особенность, которую беззастенчиво эксплуатирует власть, можно выразить одной формулой: «*Мы ТАМ были*». Десятилетия, проведенные в зазеркалье принудительного (и при этом фальшивого) эгалитаризма и государственного марксизма, оставили после себя выжженную почву, на которой еще долго не смогут всходить ростки левых идей и мечтания о социальной справедливости.

Точно так же оказались надолго скомпрометированными в сознании нескольких поколений такие понятия, как социализм, социальное государство и политическая партия (не только левая), профсоюзное движение и общественный протест. Атмосфера разочарования и апатии, порожденная фиаско коммунистического проекта, не в меньшей степени, чем молот государственного террора, позволяет дробить массовое сознание, превращая общество в послушную глину в руках любого антидемократического и неототалитарного режима...

Чего же все-таки больше оказалось в советском варианте коммунизма: российской специфики или привнесенной с Запада радикальной социальной утопии? Спросим по-другому: кто на кого больше повлиял (и одновременно видоизменил): Россия, подмяв под себя своей массой и исторической инерцией, как уже не раз бывало в прошлом, очередную пришедшую с Запада идею, превратив яркую гипотезу в забетонированную аксиому. Или марксизм, отравивший, как считают российские националисты, русское национальное сознание «ядом космополитизма» и отклонивший историю страны от ее естественного русла? И кто больше пострадал от их

встречи — Россия или сам коммунизм? (Ведь известно, что основоположники научного коммунизма не предполагали, что его реальное осуществление начнется с одной из самых отсталых, с точки зрения уровня развития капитализма, европейских стран.)

Если Россия из ее «романа» с коммунизмом вышла духовно опустошенной и экономически обескровленной, то надо признать, что и в целом идея социальной справедливости и левая альтернатива ультралиберальной концепции мирового развития понесли от их встречи тяжелый урон. В этом смысле ответственность большевизма за историческую компрометацию социалистического проекта неоспорима.

Однако не надо думать, что понадобится смена нескольких поколений, чтобы выветрился страх перед тоталитарным прошлым, осевший «в костях» переживших коммунистический режим. Сокращению этого срока во многом способствует сама новая реальность торжествующего историческую победу капитализма «без комплексов», который, как Бурбоны в период Реставрации, ничего не забыл и мало чему научился.

Для многих российских граждан, сочувствовавших судьбе Михаила Ходорковского, отбывшего десятилетие тюремного заключения в путинской России, было неожиданным прочесть в тексте, написанном бывшим олигархом, призыв к «левому повороту» в российской политической жизни. Повороту в сторону большей солидарности с малоимущими слоями, смягчению социальных контрастов и усилению ответственности государства и крупного бизнеса. По мнению Ходорковского, если это не сделать вовремя, Россию могут ждать драматические социальные конфликты, если не новая революция.

Кстати, среди причин его ареста в 2003 году многие называли тот факт, что считавшийся самым богатым че-

ловеком в тогдашней России владелец «Юкоса» в канун очередных парламентских выборов не делал секрета из своей финансовой поддержки политической оппозиции. Присутствовавший на одном из его выступлений в США американский экономист сказал ему: «Мне кажется, что вы в одном лице соединили опыт трех поколений Рокфеллеров — деда, отца и внука».

Не только Ходорковскому, но и всему российскому обществу пришлось нагонять ушедший вперед остальной мир. Разумеется, это легче сделать новому поколению, которое «ТАМ» не было, не обремененному прежними комплексами, страхами и стереотипами, — «поколению Горбачева». Однако достаточно ли было шести перестроечных лет и последующего двадцатилетия блужданий по пустыне постсоветского бездорожья, чтобы за эти годы действительно выросло новое «непоротое» поколение, способное если не превратить Россию в Землю обетованную, то хотя бы помешать ее возвращению в колею своей горестной исторической судьбы? На этот вопрос сможет ответить только оно само.

«СТАЛИНИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»

В самом центре Москвы, неподалеку от Кремля, соперничая своим золоченым куполом со сталинскими небоскребами, высится главный московский православный собор — храм Христа Спасителя.

Очередная смена российских политических декораций принесла с собой среди других проектов возвращения в досоветское прошлое и идею восстановления храма на месте бассейна «Москва». Что и было сделано по инициативе активного московского градоначальника Юрия Лужкова. Собор построили заново из новых

строительных материалов, но по старым чертежам с той разницей, что, если оригинальный храм возводился на пожертвования населения всей страны, строительство копии оплачено московским правительством и бизнесом, который не мог отказать губернатору.

С нынешним российским государством происходит нечто аналогичное. На месте «котлована», оставленного заброшенной советской стройкой коммунизма и незаконченной перестройкой, новая власть на доходы от обслуживающего ее бизнеса, главным образом нефтегазовых и других сырьевых монополистов, возводит освященную православными иерархами конструкцию, которая и по очертаниям, и по методам функционирования представляет собой смесь между царистским режимом, советским «реальным социализмом» и ностальгическим имперским проектом.

Если что и объединяет эти разнородные компоненты, так это то, что все они должны обслуживать главный замысел сегодняшних лидеров России: бессрочное сохранение монопольной власти над страной.

Обращаться ради этого к классическому сталинизму — в его версии «хард» — вряд ли возможно. На дворе XXI век, экономика страны по уши погружена в мировое хозяйство, банковские счета (и нередко семьи) правящей элиты находятся за рубежом, а Интернет с трудом поддается государственному контролю, что не позволяет восстановить герметизацию национального сознания. Остается облегченный вариант его «софт» версии — своего рода «православный сталинизм» — авторитаризм, подпитываемый культом «сильного лидера», патриотической и антизападной риторикой и благоволением церкви. Активное использование модели имитационной демократии позволяет даже опереться на общепринятые

демократические институты: периодические выборы, управляемые политические партии и подчиненный президентской администрации парламент. «Независимое», но послушное правосудие с готовностью возьмет на себя ответственность за показательные репрессии против разрозненной оппозиции и освободит власть от обвинений в организации новых «кремлевских» политических процессов.

Иван Ильин, которого в последнее время все чаще цитирует Путин, еще в начале XX века объяснял, что России не подходит западная демократия: «Ей нужна твердая, национально-патриотическая и по идее либеральная диктатура... Для осуществления такой диктатуры необходим национальный вождь, качественно отличный от "партийных главарей". Этот вождь одержим духом Целого, а не частным, не личным, не партийным... Оставшись совсем один, он начинает большое дело... Вождь служит, а не делает карьеру; борется, а не фигурирует, бьет врага, а не пустословит; ведет, а не нанимается к иностранцам». Похоже, что спрос на фигуру «либерального диктатора» в России не исчез и век спустя.

Особенность этой модели в том, что она не подпадает под классические определения тоталитаризма. Ее плюс, с точки зрения правящих элит, в том, что она позволяет им, благодаря соблюдению минимума демократических процедур, придерживаться «дресс-кода», необходимого для доступа в уважаемые круги международного сообщества. Ее минус в том, что вынуждает власть периодически проходить через предусмотренный конституциями ритуал очной ставки с собственным населением. Там, где такие встречи уже не удается свести к заведенному в сталинские времена «народному голосованию за блок коммунистов и бес-

партийных», даже манипулируемые властями выборы могут преподнести сюрпризы.

Для нынешнего российского режима и его лидера, по-видимому, таким сюрпризом стала в конце 2011 года неожиданно выплеснувшаяся на московские улицы общественная реакция на спланированную заранее «рокировку» двух членов российского «тандема» на посту главы государства. Запаниковавшая власть обострившимся нюхом уловила в московском воздухе аромат если и не 1848 года, то недавних «цветных» революций в Восточной Европе и даже признаки наступающей на русскую политическую «зиму» арабской «весны». В этой ситуации лидеру страны, переизбравшемуся на третий срок и не исключающему четвертый, требуется солидная социальная база и желательна идеологическая платформа.

В качестве такой базы Владимир Путин избрал консервативное большинство населения, обеспечившее ему в отсутствие реальных соперников комфортное избрание в первом туре президентских выборов. Социально и психологически оно представляет собой осколок советской цивилизации: зависящие от государственного финансирования и социальных пособий малозащищенные слои населения, работников бывших советских промышленных гигантов и предприятий военно-промышленного комплекса, а также контингент двух постоянно растущих армий государственной obsługi — чиновничества и силовых структур. Что же касается долгосрочного идеологического проекта, способного собрать под знамена нового/старого Президента большую часть нации, то очередным вариантом «национальной идеи» поначалу стала концепция «нового евразийства».

Евразия или Азиопа

Нельзя сказать, что речь идет об оригинальном изобретении. Распластавшаяся на просторах двух континентов, Россия всегда была идеальным полигоном для евразийских мифов, которые позволили бы ей соединить плюсы различных цивилизаций, избегая их минусов. Если действительно был прав Киплинг, утверждавший, что вместе Западу и Востоку не сойтись, то что прикажете делать России, для которой эти две стороны света — две половины ее естества. Выбирать между ними, как ребенку между двумя родителями?

В расщепленном, наполненном противоречиями сознании русского человека и в менталитете целой страны во многом отразилось специфическое географическое положение России на карте мира. И Европа, и Азия, и Запад, и Восток, а значит, ни то, ни другое, а что-то третье. «Лоскутная держава», сшитая из православной, римско-католической, протестантской, мусульманской, иудейской и буддистской культур и соответствующих им укладов жизни. Распластанный на огромной территории Вавилон. Подлинный «пуп Земли».

Проблемы, которые у других народов провоцировали межгосударственные войны, для России были проблемами внутренней жизни, а линии фронтов проходили внутри единого государства и общества, а то и одной семьи. «Конфликт цивилизаций», обещанный Самюэлем Хантингтоном и предсказанный еще Николаем Данилевским, если он на самом деле разразится, означает для России новую гражданскую войну.

Вопрос о месте России между Востоком и Западом традиционно был одним из вечных и неразрешимых вопросов для российской интеллигенции. Споры между западниками и славянофилами в 40–50-е годы

XIX века о том, принадлежит ли Россия Европе, Азии или себе самой, продолжались без того, чтобы позиции сторон хоть в чем-то сблизилась. «Европеизация России не есть продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый в принципе у России с Европой, но лишь задержанный условиями среды», — доказывал убежденный европеист Петр Миллюков.

«В грядущих судьбах наших, может быть, Азия и есть наш главный исход!» — восклицал Ф.М. Достоевский, считавший ошибочным взгляд россиян на себя единственно как только на европейцев, а не на азиатов. С Азией, со «свирепо-государственным исполином Китая и глубоко мистическим чудищем Индии», связывал надежды на формирование новой «славяно-восточной» цивилизации Константин Леонтьев, сторонник конструирования самодержавного российского «византизма». «Мы принадлежим не только Востоку, но и Западу через наследие эллинизма», — искал компромиссные формулы Николай Бердяев.

В 20—30-е годы XX века к этой дискуссии подключился отряд российских евразийцев. Спасение страны от коммунистической заразы они видели в возрождении ее самобытности и переориентации ее связей с Европы на Азию. «Мы, русские, — писал один из основателей евразийства князь Трубецкой, — должны отказаться от европейских форм политического мышления». Национальной целью развития России предлагалось создание некоей мифологической Евразии — особого «шестого континента». Эта концепция, с одной стороны, служила оправданием для вечного поиска Россией своего отличного от остальных наций «особого пути» в истории, а с другой — давала выход традиционному русскому мессианству — готовности предложить свои решения мировых проблем всему человечеству.

Новый Евразийский союз, предложенный Владимиром Путиным, — это проект создания еще одного самостоятельного «полюса влияния» в многополярном мире XXI века, который бы занял место между США, Китаем и Евросоюзом. При этом прагматичного Путина не стоит подозревать, как это нередко делают западные аналитики и политические лидеры, в том, что он вознамерился воссоздать то ли Советский Союз, то ли Российскую империю, вернув под свою руку отколовшиеся от СССР бывшие советские республики. Главный адресат евразийского проекта — российское общество. Именно ему нынешний президент посылает сигнал о своем намерении порвать с вектором усилий большинства российских реформаторов от Петра I до Горбачева: желанием сделать Россию «частью Европы».

Обещая своим сторонникам «поднять с колен» бывшую супердержаву, Владимир Путин берет на вооружение проверенные инструменты: поощрение русского национализма и фундаментализм традиционно антизападной Русской православной церкви. Таким способом он намерен наконец освободить Россию от комплекса национальной неполноценности и избавить от вечных и тщетных попыток «догнать Европу». От них устали и российская власть, и большая часть общества. Да и результата не видно: европейский «мираж» не только не приближается, но скорее удаляется от России.

А может, просто «зелен виноград»? Возведем у себя посильную нам «реальную Евразию», как в свое время с успехом построили «реальный социализм», и удовлетворимся российской синицей в руке вместо того, чтобы тянуться в небо за европейскими журавлями. Смысл этих рассуждений очевиден — найти оправдание для открытого, а не застенчивого, как до сих пор, восстановления в России бюрократического государства с такими его атрибутами, как госцерковь и госинтеллиген-

ция, и вывести произвол властей из-под огня докучливой критики международного сообщества, прикрыв их ссылками на «особенность» русского пути и природный «византизм» России.

Главное же преимущество «евразийства», возведенного в статус государственной идеологии, — в том, что оно позволяет власти окончательно закрыть тему необходимости продолжения демократических реформ в России. Ведь являясь «самодостаточной» системой, Россия не должна ни следовать зарубежным образцам, ни принимать во внимание чужие советы.

«Крым за Кремль»

Коварный, если не роковой удар по проекту Евразийского союза нанесла та же Украина, которая в декабре 1991 года, проголосовав на референдуме за отделение от союзного государства, лишила шанса на выживание СССР, смертельно раненный августовским путчем. Тогда отказ Президента Украины Кравчука подписать новый Союзный договор, подготовленный Горбачевым, подарил Борису Ельцину повод сделать то же самое, чтобы через неделю в компании с украинским и белорусским лидерами объявить в Беловежской Пуще о роспуске СССР.

23 года спустя метания другого украинского президента, Януковича, поставившего свою страну перед выбором между присоединением к Таможенному союзу с Россией, Беларуссией и Казахстаном и ассоциацией с Евросоюзом, спровоцировали на Украине глубокий национальный кризис, приведший ее к грани гражданской войны. Римейк новой «оранжевой революции» на киевском Майдане закончился падением режима и бегством из страны президента.

Приход к власти в Киеве представителей антирусски настроенных националистов и вмешательство внешних сил нарушило хрупкий баланс между различными составными частями самой Украины и трансформировало внутриукраинский кризис в очаг стратегического противостояния между Россией и Западом, которое считалось прекратившимся с концом холодной войны.

Отдав предпочтение «европейскому выбору» для Украины (к чему, кстати, сами члены Евросоюза не были готовы), демонстранты не только бросили политический вызов Москве, но и личный вызов российскому Президенту, незадолго до этого объявленному журналом «Форбс» «самым влиятельным мировым политиком 2013 года». Присоединение Крыма к России путем римейка в Симферополе три с половиной века спустя мини-версии Переяславской рады стало ответом Москвы на испытанное унижение и проигранную политическую битву за Киев.

Избрание Крыма, который в глазах большинства русских, начиная с обитателей самого полуострова, остался исторически и культурно связан с Россией, плацдармом для контратаки — логичный выбор Путина. За свою историю (в том числе советскую) Крымский полуостров не раз служил разменной картой в политических и геостратегических играх. Он был «подарен» в 1954 году Хрущевым Украине в период, когда тот после смерти Сталина нуждался в политической поддержке против своих соперников в Москве со стороны мощного украинского клана. Поскольку и жители тогдашней России, и Украины, и Крыма были гражданами одного советского государства, распад которого ничто не предвещало, этот жест в любом случае носил символический характер.

Зато после 1991 года, когда границы между советскими республиками из административных превратились в межгосударственные, теоретически Крым мог

вернуться в состав России. На этот раз «крымский подарок» Украина вторично получила от Бориса Ельцина, собиравшего фронт республиканских вождей против Горбачева и обменявшего, как написал в московской газете Александр Ципко, «Крым на Кремль».

Если Ельцину для обеспечения своего воцарения на российском престоле пришлось пожертвовать Крымом, как фигурой в шахматной партии, то Путину ради утверждения своего авторитета, пошатнувшегося уже на этапе его переизбрания на третий срок и поставленного под вопрос политическим провалом на Украине, понадобилось его вернуть. В этом ему помогла провокация новых киевских властей, объявивших о намерении отменить статус русского языка как регионального (то есть второго государственного) в Крыму и родного для большей части его населения. Остальное стало делом политехнологов в штатском и неожиданно появившихся на полуострове групп «вежливых людей» с навыками профессиональных военных, но без знаков отличия на униформе.

Но Крым стал не только утешительным призом Кремля в противостоянии с мятежной Украиной, но и полигоном для демонстрации в действии новой «доктрины Путина». Она пришла на смену пресловутой «доктрине Брежнева», благополучно похороненной Горбачевым 25 лет назад вместе с падением Берлинской стены. Объединяет эти неофициальные доктрины присвоенное Москвой право вмешиваться во внутренние дела соседних независимых государств, в том числе применяя военную силу. В эпоху Брежнева это воплотилось в советских интервенциях в Чехословакию и Афганистан. При Путине вторым после грузинской Южной Осетии зарубежным государством, на территорию которого российский Совет Федерации разрешил своему Президенту отправить войска, стала «братская» Украина.

Но есть у двух доктрин и немаловажные различия. Оправданием для действий советского Политбюро и Генсека служил «интернациональный долг». В «крымской кампании» Путина его заменил «национальный долг»: взятое на себя российским президентом обязательство защищать от угроз интересы русского (или, как в случае с жителями юго-востока Украины, русскоязычного) населения. Иначе говоря, стоять на защите «русского мира».

На самом деле, при видимых различиях между идеологической догмой, основы одной доктрины, и национальной идеей, на которую опирается другая, они, в сущности, идентичны. Обе предназначены для защиты не населения стран, куда посылались войска, а самого кремлевского режима от перемен, происходящих в мире и в собственной стране.

Разумеется, выступив в роли собирателя исторических русских (или еще недавно советских) земель, Владимир Путин может рассчитывать, как подтверждают опросы, на взлет своей популярности среди населения России, до сих пор переживающего травму распада СССР (по крайней мере, пока это происходит, как в случае с Крымом, относительно бескровно). Истории, в том числе XX века, увы, слишком хорошо известны примеры того, как легко патриотический или шовинистический подъем может объединить нацию вокруг решительного лидера.

Но она же преподает уроки того, как плачевно и даже трагически это нередко заканчивается. Тем более что применение в XXI веке методов XX-го или даже XIX-го может привести к результатам прямо противоположным желаемым.

«Вернув» Крым, Россия должна осознавать, что надолго, быть может, на поколения, «проиграла» Украину, нанеся тяжелейший удар по кровным, подлинно

родственным отношениям, веками связывавшим оба народа. Украинское общество в целом, а не только его прозападное, «антимосковское» или, как его называла российская пропаганда, «бандеровское» крыло, вряд ли простит России, что она воспользовалась его слабостью, периодом острого политического кризиса и конфликта между коррумпированным режимом и обществом, решившим от него освободиться. Облик России, издавна укорененный в этой стране благодаря ее языку, культуре, духовному родству, веками развивавшимся связям интеллигенции, да и просто семейным узам, оказался низведен до уровня «вежливых людей» в черных масках, закрывающих лица.

В результате произошло то, чего российская власть пыталась избежать: соглашение об ассоциации с ЕС, которое Москва хотела заблокировать, оказалось подписано новыми украинскими властями, и страна двинулась в сторону Европы, необратимо обрывая связи, которые ее издавна связывали с Россией.

Больше того, в новой ситуации даже лояльные партнеры России по Евразийскому проекту — Белоруссия и Казахстан, учитывая, что на их территории проживает немалое число этнических русских, будут с большой осмотрительностью просчитывать свои дальнейшие шаги по пути интеграции, опасаясь, что при любом осложнении отношений со «старшим братом» «русский мир» вторгнется в их границы.

Не лучше получилось и с НАТО. Очевидно, что Украина в 2014-м, как и Грузия в 2008 году, стала сигналом, адресованным Западу. Именно по территории этих стран, как продемонстрировало российское руководство, для него проходит «красная линия», через которую оно не намерено позволить НАТО приближаться к своим границам. Во избежание этого Москва показала, что готова идти на риск конфронтации с Западом, сравнимый с пе-

риодом холодной войны. Результат оказался прямо противоположным желаемому.

Начать с того, что сам блок НАТО, который после роспуска Варшавского договора и падения Берлинской стены находился в отчаянном поиске новой миссии, ввязываясь в безнадежные авантюры в Афганистане и Ливии, неожиданно получил от России подарок в виде повода для новой легитимации. Натовские самолеты начали патрулировать примыкающие к России территории своих восточноевропейских членов от Прибалтики до Болгарии, генералы Пентагона достали из архивов карты развертывания в Европе американских войск, в том числе на новых территориях, и теперь уже, видимо, ничто не будет сдерживать развертывание в Европе нового эшелона американской противоракетной обороны, которой не придется прикидываться, будто она направлена против целей в Иране и Северной Корее.

Если само украинское общество, как показывали опросы, еще недавно поддерживало статус «нейтральной» Украины, то новая Рада с редким для нее единодушием проголосовала за отказ от политики «неприсоединения», провозгласив курс на вступление в НАТО. В результате отложенные в свое время в долгий ящик планы американских ястребов по форсированию приема в НАТО Грузии и Украины (а заодно и Молдавии) вновь актуальны, а политика односторонних шагов, избранная Путиным для разрешения его конфликта с Киевом, освобождает Запад от необходимости оглядываться на аллергию Москвы в этом чувствительном вопросе.

Итак, очередное поражение стратегии Путина? Обмен российского флага над Севастополем на качественное ухудшение позиций России в отношениях с Западом и международную изоляцию? Не будем торопиться с выводами. Все зависит от приоритетов Кремля.

О стратегическом провале можно было бы говорить в ситуации реальной холодной войны, когда параметры стратегического баланса между Востоком и Западом измерялись подлетным временем ракет, когда американские и советские пилоты дежурили в стратегических бомбардировщиках, не выключая моторов, а мир жил «в пяти минутах» от ядерной катастрофы. Ничего этого, к счастью, благодаря Горбачеву, а также Рейгану, Тэтчер, Колю и Миттерану нет ни в помине, ни на горизонте (по крайней мере, пока).

Что же есть? Остались политические «ястребы» с той и другой стороны, ностальгирующие по черно-белым временам холодной войны, изнывающие от отсутствия повышений по службе и «боевых» наград генералы и политики, готовые, когда предоставляется возможность, разыграть карту «внешней угрозы», руководствуясь чисто внутривнутриполитическими интересами. Это как раз нынешний случай.

В условиях, когда реальной военной опасности для безопасности России нет, почему бы не разыграть карту угрозы со стороны по-прежнему зловещего в глазах российского населения блока НАТО как внутривнутриполитический козырь. Это позволит мобилизовать общество на отпор «врагу» под антизападными лозунгами, поставить заслон для охраны «исконных» национальных ценностей от тлетворного влияния извне, изолировать и дискредитировать «пятую колонну», состоящую из «национал-предателей» и иностранных агентов. Ведь давний, и не только российский, опыт подтверждает, что в атмосфере националистической истерии легче всего изолировать или раздробить любую внутреннюю оппозицию.

Главное же, появится дополнительная возможность выстроить линию обороны от главной стратегической угрозы для безопасности и власти правящего клана: подлинной и давно назревшей политической модернизации

страны и ее интеграции в современный мир. Как известно, «маленькая победоносная война» никогда не мешала режимам и лидерам, озабоченным поисками легитимации или опасностью ее потери. Мало кому известный в свое время подполковник КГБ, триумфально избранный российским Президентом на волне чеченской кампании, должен об этом хорошо помнить.

В стране, как будто приговоренной к хождению по историческому кругу, в очередной раз и на неопределенное время «славянофилы» берут верх над «западниками», а Иван Грозный — над Петром I. Пожалуй, если бы Крыма не было, его стоило бы придумать.

«Мертвая рука»

При своем на первый взгляд труднообъяснимом происхождении и даже абсурде братоубийственный российско-украинский конфликт с тысячами жертв и разрушениями, напоминающими сцены Второй мировой войны, на самом деле — проявление куда более масштабных кризисов, чем двусторонний «спор славян между собой». Перефразируя гоголевского Поприщина, можно сказать, что кризисы внутри него оказались по размеру большими, чем он сам.

Одним из них стал пришедший из прошлого, как повторный подземный толчок после землетрясения, «отложенный взрыв» распада СССР. В свое время поразительно мирный, бескровный уход в отставку бывшей «империи» и ядерной сверхдержавы изумил и восхитил весь мир. На фоне того, что происходило в это же время в Югославии, полюбовный развод в многонациональной советской семье выглядел политическим чудом.

И вот двадцать с лишним лет спустя разрушительный вал, подобно цунами, обрушился на постсоветское

пространство, заставляя заново пересматривать уже, казалось бы, установившиеся формы и принципы отношений между Россией и большинством государств, появившихся на месте прежних советских республик.

Одно из объяснений этого в том, что в течение всех прошедших лет внезапно упраздненное в 1991 году заговорщиками Беловежья союзное государство еще продолжало как бы незримо существовать, двигаясь по инерции, как курица с отрубленной головой. Заменявшая же его малопонятная конструкция СНГ воспринималась в массовом сознании в этих республиках, начиная с России (за исключением прибалтийских), как промежуточный, переходный этап к какой-то другой форме неизбежного совместного существования.

Слишком многое — от экономических и человеческих связей до общего, как счастливого, так и горестного прошлого, прожитого в советской «коммунальной квартире», связывало несколько поколений бывших советских людей разных национальностей, чтобы они вместе с новыми паспортами в одночасье обрели новое раздельное национальное и государственное самосознание.

Да и политически бывший СССР разделился не на пятнадцать с иголки новых, самостоятельных государств (многим из них предстояло заново, если не с чистого листа, писать собственную историю), а на мини-модели Советского Союза, изготовленные и функционировавшие по прежним схемам и чертежам. Это подтверждалось и тем, что во многих из них власть осталась в руках прежних номенклатурных кланов, а нередко и вождей советской эпохи, лишь сменивших свои «корочки» членов Политбюро на титулы всенародно избранных (иногда пожизненно) президентов.

Результатом «Большого Взрыва» СССР стала, таким образом, своеобразная постсоветская галактика, новообразованные планеты которой продолжали вращаться

хоть и на разном удалении, но по-прежнему вокруг России, что позволяло Москве считать себя центром пусть и несколько распыленной, но единой и, что важно, политически однородной вселенной.

Оставалось, запасаясь терпением, найти новую формулу ее закрепления с помощью привычных российских аргументов: финансовых «капельниц», доступа к безразмерному и не избалованному качеством товаров российскому рынку, льготных тарифов на энергоносители, военной помощи и, главное, политической поддержки местных лидеров. Это позволило бы России не только сохранить под своей рукой постсоветское пространство (точнее, то, что от него осталось), но и оградить его от посягательств с любой стороны: как Запада, так и Китая и исламского мира.

Кроме дополнительного стратегического веса в общении с другими игроками на мировом политическом поле это окружение должно было сыграть для российской системы монопольной власти роль «защитной подушки», предохраняющей ее от нежелательного внешнего воздействия. Тем более что интерес к заключению такого Пакта гарантированной стабильности обещал быть обоюдным — большинство постсоветских вождей, чтобы устоять на ногах у себя дома, были не прочь прислониться к плечу бывшего сюзерена (разумеется, не бесплатно).

Понятно, что прежде чем начать сбор бывших советских земель, России надо было самой выйти из кризиса переходного периода и определиться с моделью государственной власти. После того как пятнадцатилетие «тучных коров», вскормленных запредельными мировыми ценами на нефть и газ, подарило российскому обществу иллюзию гарантированного навсегда благополучия, кремлевские власти сочли, что скобки эпохи исторического «унижения» России окончательно закрылись и настало время вывести ее на мировую сцену в державном облачении,

соответствующем ее статусу. Роль нового Съезда Победителей успешно выполнила сочинская Олимпиада, на которой российская команда получила больше медалей, чем когда-либо получала советская сборная.

И вот в момент этого почти состоявшегося исторического реванша новую Россию нагнала ее советская история, став повторением югославской. Оказалось, что за то время, пока страна «сосредоточивалась», преодолевая последствия постсоветского кризиса, в других республиках успело вырасти новое поколение, не связанное с советским прошлым ни личными воспоминаниями, ни интересами карьеры или профессионального выбора, ни нередко даже знанием русского языка (в прошлом обязательного).

Связь с Россией, перестав восприниматься как неизбежная часть национальной судьбы, превратилась для этих государств в одну из возможных, но отнюдь не обязательных альтернатив, а для политических элит — в предмет политических торгов. Обозначив перспективу необратимого разрыва вассальных отношений с Россией уже не только балтийских республик, а и, казалось бы, приговоренных к сожительству с ней стран «ближнего зарубежья», украинский кризис возвестил вторую смерть СССР, на этот раз окончательную...

В разгар холодной войны, когда состязание между СССР и США в потенциалах взаимного уничтожения преодолело планку абсурда — в совокупности ракетно-ядерные возможности двух сверхдержав позволяли им многократно уничтожить жизнь на планете, — советские военные стратеги, может быть, посмотрев сатирический фильм Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», задумались о том, как гарантировать возмездие агрессору в случае, если внезапный ядерный удар не только разрушит центры управления стратегическими ракетами, но и лишит страну политического руководства.

Такой «остроумный», если это слово применимо к замогильному сценарию «Судного дня», вариант был в конце концов не только придуман, но и подготовлен. Согласно ему, в космосе размещались неуязвимые «ракеты-командиры», которые при получении информации о ядерном нападении на СССР и отсутствии признаков жизни со стороны верховного руководства страны, брали его функции на себя и отдавали команды на запуск всем оставшимся ракетам, заранее нацеленным на США.

У советских военных эта программа называлась «Периметр», американцы, узнав о ней задним числом (хотя весь смысл такого проекта сдерживания агрессора состоял в том, чтобы он о нем знал), окрестили его «Мертвая рука». К счастью для всех, включая его разработчиков, в момент кончины СССР, происшедшей по совсем другому сценарию, «Периметр» был уже несколько лет как отключен.

Что, впрочем, не помешало покойнику напомнить о себе уже в виде не ядерного монстра, а загнанного «таежного медведя». Именно этот образ Владимир Путин использовал для того, чтобы охарактеризовать поведение России перед лицом угрозы жизненным интересам ее безопасности.

Если отвлечься от фольклорного персонажа, речь идет по существу о формулировании российского варианта Доктрины Монро. В декларации, принятой американским Конгрессом в 1823 году, объявлялось, что «любая попытка европейских держав вмешаться в дела своих бывших колоний в Америке, будет рассматриваться как нарушение жизненных интересов США». Эту доктрину, которую яростно обличали советские пропагандисты, двести лет спустя после США решило приспособить к нуждам своей внешней политики российское руководство. О чем, кстати, и оповестил своих

западных партнеров в Мюнхене еще в 2007-м российский президент (в то время — премьер-министр).

Уже в следующем 2008 году в ходе грузино-осетинского конфликта Москва применила эту доктрину на практике, продемонстрировав, что не остановится перед применением военной силы, чтобы не допустить продвижения НАТО к своим кавказским границам. В 2014-м заложником заново открывшегося фронта стратегического противостояния между «вставшей с колен» Россией и Западом, посягающим на ее интересы, оказалась Украина.

Конечно, у каждой из этих драматических ситуаций были свои корни и свои ответственные, включая руководителей и элиты самих этих республик. Но помимо фантомного болевого синдрома уже покойной сверхдержавы был у них и геополитический контекст.

Непредвиденное последствие конца холодной войны — то, что избавление мира от ужаса парализовавшего его ядерного страха обернулось реальностью никем не сдерживаемого произвола. Одной из первых его жертв стали государственные границы. В прежнем мире они отражали демаркационные линии, установленные по итогам Второй мировой войны и закрепленные договоренностями в Ялте и Заключительным актом конференции в Хельсинки. За их неприкосновенность отвечали не столько пограничники, сколько ядерные потенциалы противостоящих блоков. В новом мире следить за ними стало некому.

Поскольку критериями для новых границ уже не могли служить прежние оккупационные зоны, на замену им неизбежно пришли другие и среди них старые, как мир: межэтнические и межрелигиозные. Понятно, что первыми жертвами в такой ситуации стали многонациональные государства, в которых эти разделительные линии были фактически внутренними швами.

«Роковые яйца» с зародышами новых конфликтов оказались разбросаны по всему миру от европейских Балкан до африканской Руанды. Окончание холодной войны, избавившее от угрозы гибели человеческий род, обернулось для миллионов обычных людей трагедиями этнических чисток, массовых депортаций и почти библейскими по масштабам миграционными потоками.

Даже европейские народы не смогли, как чехи и словаки, соединенные великими державами в одно государство после Первой мировой войны, мирно разойтись после почти векового навязанного сожительства. На грани распада до сих пор балансирует флегматичная Бельгия. Успешно, как считалось до недавнего времени, выйдя из кровопролитной стадии фактической гражданской войны в Северной Ирландии, Великобритания чуть не утратила титул Соединенного Королевства под натиском шотландского сепаратизма. Кто поручится за то, что раздираемая басками и каталонцами на части Испания выживет как единое государство?

Но самую высокую политическую и человеческую цену за выход мира из полицейского режима, обеспечивавшегося патрулированием сверхдержав, заплатила Югославия. Разразившийся в этой сшитой из разных национальных лоскутов стране внутренний кризис был драматически усилен внешним вмешательством. Отбросив обременительные коллективные институты, вроде ООН и ОБСЕ, Запад взялся за решение югославского кризиса единолично с помощью бомбардировок НАТО. В результате страна была превращена в полигон, где проблемы нового времени решались методами и приемами, заимствованными из прошлой эпохи.

Операция по ее умиротворению оставила после себя до сих пор дымящиеся осколки нежизнеспособных государств и трагедию Косова — исторического корня сербского государства, в столице которого после этнических

зачисток не осталось ни одной сербской семьи. Но косовское «грехопадение» Запада, создав вымученное карликовое государство, жителям которого было позволено на основании воли большинства отделиться от Сербии, но вопреки той же воле запрещено присоединяться к Албании, помимо добавления еще одного названия к списку «failed states» («государств-выкидышей»), имело и другие, более масштабные последствия.

Выведа процесс изменения европейских государственных границ за рамки международного права, оно создало прецедент и, как и принято в англосаксонской юридической практике, подарило возможность впредь любому желающему возвести произвол в новое право.

В ситуации возрождающегося противостояния России с Западом неизбежно возвращается не только пропагандистская риторика, но и политическая логика эпохи холодной войны. Тот, «кто не с нами», оказывается в стане тех, кто «против нас». Недавние партнеры становятся потенциальными противниками, а вчерашние союзники и даже «братья», если они уклоняются от объявленной всеобщей мобилизации, попадают в серую зону прифронтовых государств, по чьей территории могут пройти линии новых разделов.

Косовским прецедентом и воспользовалась кремлевская дипломатия не только для того, чтобы оправдать появление самопровозглашенных республик Осетии и Абхазии, а затем и «суверенное» решение населения Крыма о выходе из Украины, но и, может быть, главным образом для того, чтобы обосновать претензии новой России на равное с Западом право участвовать в Великом Переделе мира, начатом после падения «железного занавеса».

Новые амбиции российской политики отражает и предложение Москвы собрать международный саммит, чтобы по модели очередной «Ялты» установить пра-

вила поведения и разграничительные линии между сферами влияния новых центров силы, которые никто не будет вправе нарушать.

Это свойственное скорее прошлым векам, чем современному миру, упование с помощью некоего Священного Союза мировых лидеров обеспечить консервацию существующих порядков, прежде всего внутренних, отражает рискованное пари Владимира Путина. Оно опирается на представление о мире, в котором переживающий исторический упадок Запад вынужден уступить мировое лидерство новым поднимающимся центрам силы. К ним Путин хотел бы отнести Россию.

Однако после того, как обрушившийся курс рубля и доходы бюджета кризис за несколько месяцев развеял миф о русском «экономическом чуде», остающиеся «козыри» России, с которыми она намеревается играть за столом мировых «тузов», — ее советское наследие: ракетно-ядерный арсенал и потенциал устрашения. Понятно, что после распада СССР на стратегическом уровне этот аргумент потерял прежнюю убедительность. Остается уровень игры в покер: непредсказуемость поведения и то, что покойный Джон Фостер Даллес называл «brinkmanship»: политический блеф и готовность к дозированному применению «вежливой» военной силы, не доводя ситуацию до риска настоящей военной конфронтации.

Разница, конечно, есть. Даллес играл в «гляделки» между сверхдержавами, держа руку на ядерной кобуре. В украинском кризисе с российской стороны задействованы только казаки и «добровольцы». Однако объединяет эти ситуации даже не ставка на то, что противник «моргнет» первым, а подлинная подоплека конфликтов.

Для Америки в 50-е и 60-е годы участие в войнах в Корее и Вьетнаме объяснялось не заботой о судьбе этих стран, а желанием, проведя границы по 38-й или 17-й па-

раллелям, поставить заслон «угрозе с Востока» — мировой экспансии коммунизма. Для сегодняшней России присоединение Крыма и конфликт на Донбассе — это не тяга к территориальной экспансии или стремление сохранить Украину в составе своей виртуальной «империи», а реализация собственной «доктрины сдерживания», защита от «угрозы с Запада». Одновременно это и заявка на то, чтобы подтвердить то фактическое «право вето» при решении принципиальных вопросов мирового развития, которое Советский Союз завоевал своим решающим вкладом в Победу во Второй мировой войне и которого Запад попробовал было лишить Россию после распада СССР.

...По какой «параллели» пройдет рубеж этой новой полосы обороны? Станет ли он очередной Стеной, которая через 25 лет после падения Берлинской, переместившись на несколько сот километров на Восток, заново расколется Европу (или разделит Украину, как в свое время Германию?) Или станет для России новой линией Мажино, покажет уже скорое будущее.

Очевидно лишь, что Украина — поле и заложник «чужого» конфликта: столкновения двух «образов врагов» — взаимоисключающих и противоположных представлений России и Запада о намерениях друг друга. Запад видит в строптивом поведении путинской России не только ностальгию по советским временам, но и экспансионистские неоимперские планы. Кремль усматривает за «мягкой» экспансией Евросоюза и НАТО на Восток намерение окружить Россию и использовать новый «Украинский фронт» как плацдарм для похода на Москву и свержения нынешнего российского режима.

В той и другой версии, безусловно, присутствует унаследованная от прошлого паранойя. Но, как в любой паранойе, в каждом из этих фантазмов есть своя доля правды. Так или иначе, результат, по крайней мере на

сегодня, очевиден: ни Россия, ни Запад не смогли воспользоваться тем «окном возможности», которое неожиданно подарила для их воссоединения горбачевская перестройка. «Мертвая рука» до конца не оконченной холодной войны до сих пор сжимает горло мировой политики уже в новом веке.

Обратная сторона Луны

Впервые я оказался за границей еще будучи студентом благодаря очередному молодежному фестивалю. Моим первым Западом стал, строго говоря, Север — фестиваль проходил в Финляндии. Помню возбуждение и взволнованность, когда я сходил по трапу теплохода «Грузия» на пирс хельсинкского порта. Сейчас это может показаться смешным, но тогда первые шаги по булыжной мостовой по ту сторону «железного занавеса» были для меня сравнимы с шагами Нейла Армстронга по поверхности Луны.

Не только я, но и большинство советских граждан той эпохи считали внешний, а тем более западный мир синонимом другой планеты или обратной стороны Луны. Одни представляли ее постоянно освещенной, другие, наоборот, безнадежно темной, но и те, и другие понимали: между этими мирами пролегла непреодолимая и, как тогда казалось, вечная граница.

Разделявший их «железный занавес» и олицетворявшая его Стена выглядели такими же историческими монументами и почти творениями природы, как египетские пирамиды и английский Стоунхендж.

Да и вылазки в эту иную реальность обставлялись почти как инопланетные путешествия. Чтобы туда попасть, надо было пройти придирчивый отбор, получить необходимую характеристику «треугольника» — администра-

ции, партийной и профсоюзной организации, которые выступали в роли поручителей будущего «астронавта» и несли ответственность за его поведение, а главное, обязательное возвращение на родину. Чтобы это гарантировать, советских «командированных» артистов, спортсменов и туристов в течение многих лет не выпускали за границу с женами и детьми — те играли роль заложников.

Когда мы с женой захотели пригласить к себе в Будапешт ее родителей-пенсионеров, оказалось, что моей беспартийной теще значительно проще получить заветный заграничный паспорт, чем партийному отцу Алены, — ему предстояло пройти несколько раундов проверок. Только после них он получил характеристику, подтверждающую, что достоин выехать к дочери, чтобы помочь нянчить только что родившегося внука.

Хуже обстояло дело с высшими политическими руководителями страны, принимавшими решения по важнейшим вопросам мировой политики на основе весьма приблизительных, а то и просто невежественных представлений о мире «по ту сторону» его идеологического раскола. Это касалось, кстати, не только советских лидеров. Сама логика противостояния, наложенная на обоюдные пропагандистские клише, порождала в головах вождей и Востока, и Запада искаженный мир, состоявший из мифов и удобных стереотипов, часто не имевших связи с реальностью.

Недаром Генри Киссинджер, имевший редкую возможность близко наблюдать высших лидеров как США, так и Советского Союза в периоды острых международных кризисов, сравнивал их поведение с поединком двух вооруженных дубинами великанов с завязанными глазами, запертых в небольшой комнате. Если вспомнить, как часто далеки от реальности были их представления друг о друге, можно только благодарить судьбу за то, что

эти великаны не наломали реальных «ядерных дров». Никсон, как свидетельствовал Киссинджер, даже как-то вполне серьезно сказал своему помощнику по национальной безопасности: «Пусть советские считают, что я временами бываю не в себе и от меня поэтому можно ожидать чего угодно. Они будут вести себя осторожнее».

Если не Никсона, то Рейгана в Кремле точно считали способным на все, включая первый ядерный удар, это было, по крайней мере, мнение Андропова и Громыко (называвших его между собой фашистом). После того как Рейган косвенно подтвердил эту свою репутацию, «пошутив» перед началом своего еженедельного радиобращения к стране (не зная, что микрофон уже включен), что через несколько минут он отдаст приказ о начале ядерной бомбардировки СССР, можно понять, какую панику в Кремле вызвали осенью 1983 года ядерные маневры НАТО «Able Archer», имитировавшие упреждающий ядерный удар по Советскому Союзу.

Известно, что и советские передвижения войск не раз, как, например, во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году, заставляли американцев переводить свои ракеты на высший уровень стратегической готовности, а пилотов бомбардировщиков дежурить в кабинах самолетов с включенными двигателями.

Дипломатию переговоров заменила дипломатия мегафонов. «Красным телефоном», установленным Хрущевым и Кеннеди в Белом доме и Кремле после 62-го года, никто давно не пользовался. ООН, созданная победителями Второй мировой войны, чтобы избежать третьей, работала, как ветряная мельница. Об атмосфере, в которой там обсуждались вопросы мировой политики в период холодной войны, мне рассказал мой приятель.

Эпизод произошел на одном из заседаний какого-то комитета ООН. Председатель, начав заседание, захотел узнать, представители каких стран принимают в нем

участие, и начал называть их по алфавиту. Первым был, естественно, австралиец, выкрикнувший «Yes». Вторым в списке значился белорус, который, когда назвали его страну, громко сказал «No!». Изумленный председатель переспросил и опять получил решительный отказ. Вскоре все прояснилось. Оказалось, что не имевший по какой-то причине возможности принять участие в заседании официальный представитель Белоруссии послал вместо себя не знавшего английского языка стажера с предельно простым мандатом: смотреть, как будут голосовать западники, и поступать наоборот. Что тот и сделал. А в скольких случаях, следуя этому же принципу, принятие решений в Совете Безопасности ООН своим категорическим «Нет!» блокировали прекрасно знавшие английский язык советские представители.

В этой обстановке то, что мировой конфликт, которого, как и Первой мировой войны, никто не хотел, не разразился из-за случайного выстрела в Сараеве (или Берлине), можно считать счастливой случайностью...

И вдруг произошло непредвиденное: Берлинская стена упала, а казалось, навечно разделенная на два контрастных мира «Луна» начала вращаться.

Пограничные шлагбаумы поднялись, получение загранпаспорта и выезд из собственной страны был объявлен конституционным правом советских граждан. И, о сюрприз! Города на Востоке не обезлюдели, а заводы не пришлось закрывать из-за отсутствия рабочей силы. В сущности, советское государство прислушалось к простодушному совету, который я дал ему двадцать лет назад в студенческой газете: «Хотите узнать, созрел ли советский студент (или просто гражданин) для поездки за рубеж? Отпустите его туда».

Помню, с каким невероятным трудом проходило согласование проекта закона о выезде из СССР, — его

мы готовили под руководством Яковлева и Шеварднадзе. Аргументы, которыми пытались «убить» закон его противники в разных советских правительственных и цеховских инстанциях (плюс, разумеется, в структуре КГБ), были один другого страшнее. По одному сценарию, в Советском Союзе после принятия такого закона не останется необходимое количество колхозников для сбора урожая. По другому — государство разорится, поскольку не имеет достаточно средств для выплаты выехавшим пенсионерам достойной советских граждан пенсии в иностранной валюте. Закон в конце концов был принят, и небо не упало на землю. Пострадали только оставшиеся не у дел работники отдела ЦК по выездам, члены различных выездных комиссий и, разумеется, сотрудники КГБ, от которых зависело, будет или нет советский гражданин признан «выездным».

Больше того, из болезненной политической проблемы в отношениях с Западом — прежде в программу каждого саммита включался обязательный ритуал передачи советским руководителям списков «отказников», за которых западные политики ходатайствовали, — вопрос о выезде граждан СССР за границу в одночасье превратился в проблему их въезда в западные страны. Ибо, как быстро выяснилось, тема свободы передвижения представляла для Запада интерес, пока была политическим раздражителем для их восточных партнеров. Перейдя же в практическую плоскость, она закономерно столкнулась с трудностью получения въездных виз и породила новую категорию «отказников» — советских и российских граждан, кому часто без разъяснения причин во въезде на Запад отказывали.

Эта новая ситуация позволила сделать неожиданное открытие: особенность пресловутой Стены состояла в том, что она отбрасывала тень в обе стороны. В этой тени чувствовали себя комфортно и политики, и военно-

промышленные комплексы обоих блоков, и их пропагандистские службы. Служа символической границей между абсолютным «Добром» и «Злом», при том что каждая сторона имела возможность демонизировать другую, она помогала политикам упрощать мир, превращая его в черно-белый, и поддерживать лагерную дисциплину по обе стороны исторической баррикады.

Протянувшись далеко за пределы Берлина через всю планету, символическая «Стена», линия мирового разлома, стала «несущей стеной» для всего международного порядка и служила оправданием и для бессмысленных военных расходов, и для воспитания целых поколений в духе взаимной вражды, и для натравливания друг на друга стран «третьего мира». Превратившись в выгодный бизнес, она породила своих лоббистов и свой истеблишмент, и свои политические партии. Понятно, что с ее неожиданным устранением обе полусферы вселенной, возникшей после Второй мировой войны, лишились общей опоры.

Так, обитатели Западной Европы открыли для себя, что рухнувшая Стена была не только полицейским барьером, за которым укрывались сами и держали своих граждан репрессивные режимы Востока, но и дамбой, защищавшей их благополучие и их социальную модель от накопившегося на Востоке резервуара бедности, агрессивного правового нигилизма, зависти и социальной нетерпимости.

После того как дамба внезапно рухнула, на Запад с Востока хлынул поток, принесший вместе с «новыми европейцами» остатки их прежних порядков, национализм и ксенофобию, презрение к закону и привычку к коррупции, недоверие к властям и политикам, которые грозили не только опрокинуть возведенные за годы строительства Евросоюза конструкции, но и нарушить

утвердившийся на Западе уклад жизни. Этого боялся Миттеран: именно национализм, говорил он Горбачеву в Лаче, может отбросить Европу в 1913 год, канун Первой мировой войны.

«Странный мир», наступивший с окончанием холодной войны, стал поэтому испытанием не только для проигравших, но и для самопровозглашенных победителей. И нельзя сказать, что те и другие прошли его успешно. В этом тоже проявилась специфика холодной войны. После ее окончания не было ни своей Ялты, ни своего Потсдама и тем более не могло быть своего Нюрнбергского и Токийского судов, официально утвердивших победителей и покаравших проигравших. Каждый получил право на собственную трактовку произошедшего.

Если Россия, не выдержав испытания неожиданно обретенной свободой, не воспользовалась шансом порвать с традицией авторитаризма, то и Запад не избежал ловушки триумфаторства и соблазна примерить мантию монопольного правителя миром.

Великая держава, которая нашла самостоятельно путь к выходу из собственного тоталитарного прошлого, не только не была воспринята Западом в качестве желанного партнера, но, напротив, продолжала выглядеть в его глазах потенциальной угрозой, не заслуживающей другого отношения, кроме политики «сдерживания». Попытка США оттеснить ее на второй план мировой политики, опиравшаяся на иллюзию того, что с распадом СССР и сама Россия как бы исчезла с мировой карты, не могла не привести к накоплению в российских недрах потенциала стратегического реванша.

Поэтому нет сомнения, что нынешний российский режим в такой же степени эксплуатирует фрустрацию российского общества, как и ее отражает.

Дело в том, что Россия за слишком короткое время пережила разочарование сразу в двух утопиях: сначала коммунистической и вслед за этим очень быстро — либеральной (по крайней мере в том виде, в каком она была ей предъявлена ельцинским режимом). И этому второму разочарованию в немалой степени способствовал облик, который принял современный западный мир вслед за утратой своего советского антипода и исторического противника.

И те и другие в результате прошли мимо уникальной возможности объединиться в поиске совместных ответов на вызовы нового века. Оба проиграли, потому что по мере того как мы открываем для себя реальность этого века, выясняется, что «мир за Стеной» далек от идиллической картинки, которую рисовали себе стремящиеся ее разрушить.

Западная «башня»

Если сравнить Восток и Запад в эпоху холодной войны с двумя башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, можно сказать, что после того как осела, рассыпавшись в пыль, Восточная (советская) башня, Западная если и не рухнула вслед за ней, то опасно накренилась. Произошло это в том числе потому, что руководители западного мира, начиная с Америки, непростительным образом ошиблись в оценках того, что, а главное, почему произошло на Востоке.

Они восприняли саморазрушение СССР исключительно как свою стратегическую, если не военную победу, не поняв и не приняв во внимание внутренних процессов внутри советского общества, подточивших и в конечном счете взорвавших его изнутри. Второй просчет: они не учли, что главный фактор, который позволил бы

Западу действительно ускорить этот процесс, — не военное превосходство, не «жесткая сила» («hard power»), поставившие противника на колени (в этой, кстати, единственной области советская экономика и военная машина могли реально соперничать с американской), а прежде всего «soft power» — «мягкая сила» — западного общества: сила его примера, эффективность экономики и привлекательность общественной модели (по крайней мере в том виде, как она выглядела из-за «железного занавеса»).

Нечто подобное, кстати, происходило и в начале XX века. Парадокс состоял в том, что в первые годы после большевистской революции отнюдь не военная угроза, а советская «мягкая сила» — опасность заразительного примера, заявка на альтернативный мировой и социальный проект — воспринималась Западом как подлинный экзистенциальный вызов. И именно он в конечном счете, заставив западный капитализм мобилизовать все свои внутренние ресурсы и способности к внутренней трансформации, побудил его продемонстрировать в этом состязании лучшие качества и самые сильные аргументы.

Ошибки в анализе причин прекращения холодной войны привели, естественно, к ошибочной политике. Самопровозгласив себя единоличным победителем, США и их союзники повели себя по отношению к планете, как к подмандатной территории. Увлечшись погоней за краткосрочными дивидендами от чудесного исчезновения стратегического соперника, они решили не заботиться о долгосрочной перспективе, вообразив, что с распадом СССР из мира навсегда исчез и любой другой кандидат на то, чтобы оспорить миссию Запада как пастыря мира и Америки как ее жандарма.

О градусе эйфории, охватившей правящую элиту в Вашингтоне после того, как мир, по ее представлениям, стал однополярным, свидетельствовали рассуждения

Кондолизы Райс в статье в «*Foreign Affairs*»: «It is America's job to change the world... Democratic state-building is now an urgent component of our national interest»¹. Миссионерский проект распространения по всему миру демократии, конечно, отличался от большевистского замысла мировой коммунистической революции, но лишь по декларируемым целям, а, увы, не по результатам или используемым методам. Инструментом того, что американский журналист Уильям Пфэфф назвал утопическим интервенционизмом (utopian interventionism)², стало военное вмешательство в целях ускорения демократического прогресса.

С исчезновением Советского Союза у Запада и его лидера США отпала необходимость оглядываться не только на его ядерный потенциал, но и на международное право, — ведь оставшись на мировом поле единственным игроком, США сами начали устанавливать для себя правила. Поскольку единственным местом, где свобода рук США и их союзников была ограничена, являлся Совет Безопасности ООН, при необходимости пришлось обходиться без него.

Военные операции НАТО в Югославии, а вслед за этим американско-британская интервенция в Ираке, не решив до конца ни одну из спровоцировавших их проблем, создали новые. В результате оказалось во многом девальвировано то не военное, но зато более эффективное оружие Запада, с помощью которого ему и удалось выиграть холодную войну: возможность влиять на внутренние процессы в других частях света, не посылая туда флоты, бомбардировщики и морскую пехоту.

¹ «Изменять мир — это забота Америки... Демократическое государство — теперь первоочередная составляющая наших национальных интересов» (англ.).

² William Puff «The Irony of Manifest Destiny» («Насмешка избранной судьбы») (англ.).

Еще менее эффективной западная «жесткая сила» показала себя в деле урегулирования непривычных и асимметричных конфликтов новой эпохи — религиозных, этнических, цивилизационных. Возложив на себя вместе со статусом гипердержавы «бремя белого человека», о котором писал Киплинг, Америка оказалась в фокусе движений протеста, охвативших мир после псевдо-стабильности холодной войны.

В итоге программа «демократического госстроительства», как и любая другая попытка реализации идеологической утопии, обернулась результатами, противоположными обещанным, а сама «гипердержава» столкнулась с зарождением пестрого и глобального по масштабам «интернационала сопротивления», противопоставляющего жителей многих стран мира не одним только США, а совокупному и символическому Западу.

В сущности, падение Стены запустило остановленные холодной войной часы мировой истории, и после того как они вновь пошли, миллиарды людей на планете бросились догонять ушедшее вперед время. Для народов и целых континентов, до сих пор низведенных до уровня обслуги «золотого миллиарда», обеспечивавшей его процветание, это открыло возможность для исторического реванша. В разных регионах мира он проявляется по-разному.

Так, символическая месть за несколько веков национального унижения со стороны «проснувшегося» Китая — вызов западному господству в мировой экономике. Для исламского мира, в исторической памяти которого история Крестовых походов смешалась с европейским колониализмом и оскорблением, как считает «арабская улица», от навязанной Западом израильской оккупации Палестины, он нередко принимает форму антихристианского и антисионистского джихада, в том числе в его крайней, террористической форме.

До тех пор пока две сверхдержавы держали на мушке друг друга, грозя уничтожением не только противнику, но и всей планете, остальному миру, взятому в заложники, приходилось подчиняться установленным ими правилам. Однако после исчезновения угрозы глобального конфликта, когда Запад объявил себя единственным мировым правителем, он оказался в положении самопровозглашенного императора, который не мог решить проблемы своих подданных и не имел достаточной силы, чтобы держать их в страхе.

Даже в вопросах защиты прав человека Запад, освободившись от излишних моральных комплексов, перестал следить за собой и утрачивает репутацию непрерываемого авторитета. Демонстрируя поразительную терпимость по отношению к не менее тоталитарным, чем советский, режимам — от Китая до арабских монархий и африканских диктатур, — он дал повод считать, что и тема демократии, превращенной из ценности в инструмент, может использоваться для конъюнктурного обслуживания внешней политики (по примеру того, как советская внешняя политика поставила универсальный коммунистический идеал на службу своей имперской дипломатии).

В это, может быть, трудно поверить, но во время советско-американского «саммита морской болезни» (как окрестила его американская пресса из-за разыгравшегося шторма) на Мальте, состоявшегося через месяц после падения Берлинской стены, Горбачев и Буш, сидя в кают-компании парохода «Максим Горький», потратили большую часть времени не на торги о будущем Германии и Восточной Европы, а на почти схоластическую дискуссию о том, как определить демократические принципы. В ответ на предложение американской стороны включить в заключительное коммюнике упоминание о «торжестве западных ценностей демократии» Горбачев

и Яковлев уперлись и настояли на том, чтобы назвать их «универсальными».

Однако провозгласить приверженность этим универсальным ценностям проще, чем им следовать в реальной жизни. Кто будет прислушиваться к критике и ежегодным оценкам, выставляемым Госдепом США разным странам мира в области прав человека, после разоблачений порядков, царящих в Гуантанамо, условий обращения с заключенными в Абу Грайбе и информации о разбросанных по миру секретных тюрьмах ЦРУ? Кто после опубликования материалов Викиликс и досье Сноудена будет продолжать считать, что в своем романе «1984» Джордж Оруэлл под Большим Братом подразумевал и провидел исключительно «недреманное око» советского КГБ и гэдээровской Штази, а не Патриотический акт, принятый американским Конгрессом после 11 сентября?

В результате западная «башня» уже не воспринимается в мире как маяк, указывающий путь всему человечеству. В каком-то смысле жесткий приговор, вынесенный Берлингуэром советской системе, когда он сказал, что освободительный революционный импульс, который ее породил, «выдохся», можно адресовать и нынешнему западному обществу. Его собственное будущее отныне зависит от его ответов на новый двойной вызов: глобального мира, рождающегося на обломках Берлинской стены, и кризиса западной цивилизации, утрачивающей в этом мире прежнее господствующее положение. Задача осложняется тем, что угроза западной модели пришла не только извне, после того как рухнули защищавшие ее границы и барьеры, но и изнутри. Прав оказался один из советников Горбачева, советский академик Георгий Арбатов, когда полушутя-полувсерьез сказал Киссинджеру: «Мы сделаем для вас самое ужасное, что вы только можете себе вообразить: лишим вас врага».

Проведя большую часть XX века в противоборстве с карикатурным и репрессивным русским «аватаром» марксизма, выдававшим себя за подлинный коммунистический проект, современный западный мир после заслуженной победы над ним оказался лицом к лицу с собственными пороками, многие из которых в свое время и породили марксистскую революционную догму.

«And the winner is...»¹

Если и есть в закончившейся холодной войне бесспорный победитель, то это не Запад, а сам капитализм. Опровергнув коммунистическую утопию, этот победитель торжествует по всему миру — и на Востоке даже с бóльшим триумфом, чем на Западе. Именно там агрессивный, «голодный» капитализм, сбросив с себя путы, которыми его связали годы ожесточенных баталий между трудом и капиталом, и навязанные ему социальные и моральные компромиссы, получил возможность вернуться в свое первобытное состояние, откровенно заявив, что он подчиняется единственному верховному закону — получению сверхприбыли.

Эта историческая победа положила к ногам капитала весь мир, позволив ему выступить в роли орудия истории и осуществить под прикрытием неотвратимой глобализации экспансию, о масштабах которой он мог только мечтать, предпринимая колониальные захваты и империалистические интервенции. Но, увы, как это часто бывает, абсолютные победы нередко оказываются отравленными.

Парадокс нынешней ситуации в том, что в момент, казалось бы, своего исторического триумфа, западная

¹ «И победителем становится...» (англ.).

модель столкнулась с беспрецедентным шансом и одновременно риском своего возможного применения как универсальной матрицы, определяющей мировое развитие. Ей приходится определять свое место между полюсами новой мировой архитектуры и заново формулировать собственный долгосрочный проект и социальную модель. И, как и в случае с моделью советской, она рискует взорваться не под воздействием внешнего давления, а из-за внутреннего конфликта: столкновения провозглашенных ею принципов и ценностей с их воплощением на практике.

С одной стороны, западный мир получил в свое распоряжение в качестве колоссального ресурса резерв мировой нищеты, позволяющий ему, отправляясь за рубеж, многократно приумножить доходы и усилить давление на рынок труда у себя дома, оправдывая это необходимостью устоять в мировой конкуренции. С другой — распахнув национальные границы, он поставил под удар привилегированный статус западного общества в целом, заставляя его мириться с неизбежным понижением уровня жизни и социальной защиты до всемирного «общего знаменателя», что означает для миллионов людей в странах «золотого миллиарда» возвращение на век или два назад, к эпохе Викторианской Англии или «Жерминаля» Золя.

Надо ли удивляться, что в такой ситуации те же причины приводят к тем же последствиям: усилению социальной напряженности, обострению общественных конфликтов, возвращению экстремизма и даже насилия в отношениях между трудящимися и работодателями, населением и государством. Иначе говоря, чертам, присущим эпохе «грубого» капитализма с «нечеловеческим лицом», его буйной и разбойной молодости, которые современный западный мир считал оставшимися в далеком прошлом.

Естественно, что если ультралибералы празднуют в этой ситуации свой реванш, то первыми проигравшими становятся те, чьим основным девизом является поиск социальных компромиссов — реформисты и самоназначенные «официальные представители» трудящихся масс — от системных левых политических партий до профсоюзов.

И, следуя этой же логике, «ветер в спину» чувствуют разного толка популисты, радикалы и экстремисты. В прошлом веке ими могли бы стать те, кто называл себя революционерами — коммунисты и другие крайне левые. Но, как известно, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Это относится и к реке времени. После исторической дискредитации марксизма большевиками и их последователями в других странах шансов у коммунистов оседлать новую потенциально революционную ситуацию не осталось.

Поскольку традиционные политические механизмы, включая парламенты, оппозиционные партии и профсоюзы, явно не справляются с задачей канализации протестных настроений, их место с готовностью занимают радикалы с совсем другого берега: националисты, шовинисты, фашисты.

Именно они придают очередному кризису капиталистического мира краски национальной нетерпимости, ксенофобии, расизма. Их задача облегчается тем, что пресловутый конфликт между цивилизациями, обещанный Хантингтоном, принимает совсем не ту форму, которую он предсказывал: вместо геостратегического столкновения тектонических «плит» восьми важнейших мировых цивилизаций конфликт уже разыгрывается внутри этих «миров», как религиозных (христианского, мусульманского...), так и географических (европейского, азиатского, африканского, американского, российского...)

Особенно неуютно чувствует себя на ветрах глобализации Европа. Ее первоначальный интеграционный замысел, опиравшийся на желание переживших войну поколений избежать ее повторения, после окончания холодной войны во многом выветрился. У новых поколений — новые приоритеты и другие страхи. Тем более что внешние границы интегрированной Европы постоянно меняются, а внутренняя структура европейского общества, утратившего прежнюю культурную и демографическую однородность, переживает радикальную мутацию.

Облик «новых европейцев» уже давно соперничает с многоцветной рекламой фирмы United Colours of Benetton. Шпильки католических соборов и протестантских церквей все чаще заслоняют минареты. Не успев до конца «переварить» последствия падения Восточной стены, заставившего Западную Европу взять на борт потерпевших от крушения коммунизма жителей стран Центральной и Восточной Европы и Балкан, она столкнулась с фактическим обрушением Южной стены — средиземноморской.

В Северной Африке роль, сходную со странами Варшавского блока, выполняли диктатуры в Тунисе, Ливии, Египте и Йемене. Оказалось, что, подобно Берлинской стене, они не только обеспечивали сохранение у власти коррумпированных и репрессивных режимов, но и играли роль местных жандармов в борьбе против исламского радикализма, а также служили барьером, защищавшим Европу от грозивших обрушиться на нее с африканского берега Средиземноморья волн нищеты, религиозного фундаментализма, коммунитаризма и тысяч экономических и гуманитарных беженцев.

Этот новый фронт «осады» Европы со стороны внешнего мира не только подогревает атмосферу политической напряженности, в которую погружается большинст-

во стран — членов Евросоюза, но, усугубляя экономический кризис, во многом объясняет принципиально новый феномен: выход европейских экстремистских и крайне правых течений и партий из «гетто» маргиналов.

Норвежский фанатик-убийца Брейвик ошибся «не в целях, а в формах борьбы». Ленин в свое время сказал это о русских террористах. О Брейвике сегодня то же могут сказать тайно сочувствующие его идеям европейские «ультра». Рост популярности националистов, крайне правых и неофашистов, подтвержденный результатами последних выборов в Европарламент, позволяет им рассчитывать не только на завоевание влиятельных позиций в национальных парламентах, но и на приход к власти путем безусловно демократических выборов.

Любые исторические аналогии, которые можно вспомнить в этой связи, начиная от победы нацистов в Германии 1933 года, разумеется, хромают. Но, глядя на современную Европу, на успехи крайних радикалов на выборах (правых на севере Европы, левых в Греции и Испании), на поднимающийся вал национализма и ксенофобии в Восточной Европе, уже нельзя утешать себя уверениями, что они неприменимы к новым временам. Все более очевидно, что отлаженный механизм демократии, источник заслуженной гордости миллионов европейцев (предмет зависти и пример для миллиардов жителей других континентов), начал давать сбои и, возможно, не устоит перед соединенным напором новых проблем, обрушившихся на «старую Европу».

Сможет ли европейская модель демократии и социального компромисса выстоять в принципиально изменившихся условиях? Не постигнет ли ее судьба афинской рабовладельческой демократии для аристократии, не выдержавшей столкновения с имперским Римом и восстанием собственных рабов? Не выяснится ли, что демократия — всего лишь тепличный цветок, вырос-

ший в оранжерее европейского процветания, который погибает, если его выставить под метели, бушующие в глобальном мире. В ситуации, когда после нескольких веков западного военного, технологического и экономического владычества над миром пассажирам первого класса пришлось столкнуться с бунтом разноплеменной команды мирового корабля, поднявшейся из трюмов на палубу...

Оставшемуся наедине с собственными проблемами Западу приходится заново искать в своей экономической и социальной модели форму разрешения внутренних противоречий и конфликтов. Их уже не может нивелировать простая ссылка на то, что капитализму нет альтернативы, ибо та, которую предложил советский коммунизм, ведет через ГУЛАГ в исторический тупик. Став глобальным владыкой, мировой Капитал, как будто начитавшись одноименного труда Маркса, повел себя так, словно вместе с коммунистическим соперником он избавился и от всякой социальной ответственности, и от моральных обязательств. Овладевшее им «головокружение от успехов» и чувство обретенной безнаказанности приводят к тому, что у него отказывают даже инстинкты самосохранения.

Но исторический триумф обернулся ловушкой. Запад оказался изгнан из черно-белого «рая»: комфорта уверенности в том, что представляет собой идеальный «свободный мир», противостоящий тоталитарному антиподу. Исчезла невинная уверенность того мира, в котором моему оппоненту студенческих лет Адаму Юлэму не составляло труда, разоблачив архаичность советского тоталитаризма, доказать, что западное общество воплощает собой конец истории. И что капитализм достиг благословенной гавани «единого индустриального общества», став миром «всеобщего благоденствия».

Второй вызов, на этот раз западной демократии, в том, что провозглашенные ею принципы надо противопоставлять не тоталитарной практике сталинизма, а подтверждать в собственной повседневной реальности, «подметая перед своей дверью». Это относится и к декларациям о социальной ответственности государства и о солидарности с обездоленными, которую приходится все чаще проявлять не в виде благотворительных или гуманитарных операций за пределами западного мира, а внутри него самого.

Угроза переместилась внутрь западного организма. Она исходит уже не от Востока, а от элиты «happy few» (закрытого клуба привилегированных избранных), которая вершит судьбами западного мира, управляя той самой рыночной экономикой, считавшейся до сих пор материальной основой и опорой политической демократии. Не в силах устоять перед искушением беспрецедентной наживы, которую ему обещает глобальный мир, капитализм, как западный, так и восточный (китайский, российский и проч.), отбрасывает приличия и не только удешевляет социальное неравенство, разделяющее полюса бедности и богатства, но и делает это в вызывающей, бесстыдной форме.

Переместившись в виртуальный Архипелаг мировых бирж и налоговых офшоров, финансовый капитал трансформирует в источник прибыли даже последствия собственного кризиса, заставляя миллионы расплачиваться по его счетам безработицей, падением уровня жизни и разорением.

«За 2009–2012 годы доходы экономической элиты США, — пишет лауреат Нобелевской премии в области экономики Пол Кругман, — взлетели, обеспечив практически всю прибыль 1 проценту наиболее привилегированных, при этом почти треть этих доходов попала в руки 0,01% самых избранных: людей с доходами

свыше 10 млн долларов». Пока Америка сохраняет свои позиции как мировой полюс богатства, по количеству миллиардеров (442) США занимают первое место. Однако новый, «посткоммунистический капитализм» старается не отстать от «старого». В сегодняшнем Китае, по подсчетам «Форбса», насчитывается 2500 миллионеров и миллиардеров.

Совокупное богатство нынешних мировых миллиардеров уже превысило национальный бюджет США — 3,8 триллиона долларов. «Форбс» подсчитал, что если собрать в одном самолете 300 самых богатых людей земного шара, то их состояние превысит доходы и имущество трех миллиардов человек — почти половины населения земного шара. Если же ограничиться небольшим 10-местным самолетом, поместив в него 10 самых богатых людей на планете, их состояние в 451,5 миллиарда долларов будет равно объединенным бюджетам 118 стран (из общего числа 193 государств — членов ООН).

Может ли скандальный спектакль такого вопиющего и растущего неравенства называться демократией или сочетаться с ней? Было время, когда проницательные и ответственные лидеры западного мира задавались этим вопросом. Выступая на Национальной конвенции Демократической партии в 1943 году, президент США Франклин Рузвельт говорил: «Политическое равенство, которым мы прежде обладали, теряет смысл перед лицом экономического неравенства».

Пусть это было сказано автором «Нового курса» в годы мировой войны, требовавшей сплочения и мобилизации нации. Но если равенство — «вредная утопия», всего лишь «социалистическая идея», в которой «реальный капитализм» не нуждается, то, может быть, и сама демократия представляет собой всего лишь рекламную политическую оболочку западного капитализма? Полезную и даже необходимую на этапе поиска политических

компромиссов, тушения социальных конфликтов и противоборства с мировым коммунизмом, но излишнюю в отсутствие этих мотивов.

Еще один вопрос из разряда еретических: нуждается ли вообще капитализм в демократии и обещает ли рыночная экономика сама по себе ее наступление? Поскольку опыт фашизма, будь то европейского или чилийского, и рыночного посткоммунизма в России и Китае дает отрицательный ответ, придется задать следующий «политически некорректный» вопрос: наблюдаем ли мы в современную эпоху постепенную эволюцию бывших коммунистических режимов под воздействием рынка в сторону пусть и отдаленной демократии или, напротив, дрейф политических моделей западного общества от демократии к авторитаризму. С пока еще не ясной, но, может быть, мыслимой «отрицательной конвергенцией» между прежними антагонистами. Иначе говоря, сочетанием, вопреки надеждам адептов прежних теорий конвергенции, не лучших, а худших аспектов каждой из них.

Вышедший из-под контроля рыночный капитализм, который Карл Поппер называл «необузданным», а новый папа Франциск определил как «сорвавшийся с цепи» и чреватый «новой тиранией», несет своей экспансией не только угрозу социальных кризисов и политических конфликтов, вплоть до новых революций, но и, лишенный инстинкта самосохранения, — самому существованию человеческой цивилизации.

Уильям Пфафф, встревоженный бравурным экспансионизмом торжествующего культа золотого тельца, не побоялся поставить эту идеологию, определив ее как «нигилистический капитализм», в один ряд с большевизмом, нацизмом и маоизмом. Он же напомнил: подобные «не теологические, а светские пассионарные идеи привели к Первой мировой войне и ее тотальным разрушительным последствиям».

В самом деле, именно не связанный в ту пору никакими рамками и неспособный к самоограничению капитализм конца XIX века своей алчностью, социальными контрастами, кризисами и развязанными войнами, включая Первую мировую, породил фашизм и коммунизм XX века. Мы пока не знаем, каких новых монстров способен вырастить в XXI веке «посткоммунистический капитализм», тем более что он претендует на покорение всего мирового пространства...

Сегодня глобальная угроза миру может исходить и не от маловероятной в современных условиях перспективы новой мировой войны. Если модель развития западного мира, основанная на безудержном потребительстве, расточительном расходовании природных ресурсов и беспрецедентном заражении среды обитания, будет воспринята людьми как универсальный стандарт развития человеческого общества, как образец для подражания, то это может привести не только к концу привилегий Запада, но и к вероятной гибели человеческой цивилизации на Земле. А наша планета, которая еще миллионы лет назад существовала без органической жизни и без *homo sapiens*, продолжит свой путь в космическом пространстве, не заметив исчезновения этой человеческой цивилизации, или найдет способ заменить ее какой-нибудь другой. И, может быть, сохранит на своей поверхности лишь загадочные следы, над которыми будут ломать головы (или какие-то другие свои мыслительные приспособления) неизвестные космические пришельцы.

Простой, даже не экономический анализ, а арифметический подсчет показывает: если миллиарды населения земного шара, находящиеся сегодня за бортом благополучия, начнут приближаться к западному уровню потребления продовольствия, питьевой воды, энергии, использования автомобилей и самолетов, заражая от-

ходами своего растущего благосостояния окружающую среду, истребляя флору и фауну, то на поддержание этого самоубийственного Мирового Обжорства понадобится не одна, а как минимум пять планет. Все выглядит так, будто «человек разумный» не оставляет Земле иных способов решения созданных им проблем, как путем очередной катастрофической пандемии, Всемирного потопа или нового ледникового периода.

«Капитаны» этой булимической экономики, представляющие уже не одни только западные, а космополитические элиты, видимо, тешат себя иллюзией, что им удастся укрыться от последствий собственной безответственности на «Монбланах» своих доходов. Они практически уже создали для себя на этой недостижимой для других высоте параллельный мир, состоящий из островов, доступных только для владельцев частных аэродромов, роскошных яхт и фешенебельных резиденций, огороженных стенами и «рублевскими» шлагбаумами. Их не смущает, что смотровые вышки и собаки охраны вместе с камерами круглосуточного наблюдения и сигнализацией придают их «Олимпу» сходство с резервацией или гетто. Если бы они могли, то не только продовольствие и воду, но и очищенный воздух доставляли бы себе вертолетами.

Парадокс их психологии в том, что этот искусственный и все более изолированный от реальности мир торжествующего капитала живет по канонам, которыми руководствовался мирок коммунистической номенклатуры на этапе ее предсмертных конвульсий. Именно эта эпоха породила циничный девиз чиновников «развитого социализма»: «Всего на всех не хватит». Помню, как придя на несколько последних месяцев своей жизни к власти, Константин Черненко, желая задобрить окружающую его аппаратную камарилью, распорядился: «Блага увеличить, контингент сократить!»

Не имея материальной возможности обеспечить в новых условиях выживание прежней кастовой модели мира, сохраняя в нем имущественные и властные привилегии за всем западным «золотым миллиардом», капитал идет по пути «сокращения контингента» мировой номенклатуры и сосредоточивает власть и богатство в руках «миллиона миллиардеров». Перевернутая пирамида реальной власти в мире, избавившемся от призрака коммунизма, оказывается поставленной на предельно суженное олигархическое основание.

Переживет ли мир 2084 год?

Джордж Оруэлл выбрал дату для названия своей антиутопии «1984» наугад. Написав ее в 1948 году, он просто поменял местами две последние цифры. Они зажили собственной жизнью. Андрей Амальрик, когда писал свой памфлет «Доживет ли СССР до 1984 года?», продолжил игру, не надеясь, что эта дата действительно подведет черту под советской историей. Но так и произошло. Весной 1985 года с избранием Горбачева на пост Генсека КПСС начался ускоренный обратный отсчет времени, приведший к распаду страны и краху породившего ее коммунистического мифа.

Сам Горбачев в это время еще не знал, что именно его избрала своей рукой История, причем не только советская, но и мировая. Первым вариантом названия своего проекта он выбрал слово «ускорение». Для него оно означало выход из брежневского застоя и оживление умиравшей системы, в ресурсы которой он еще верил. Ускорение действительно состоялось, но в результате произошло не омоложение советского режима, а его стремительное разложение и устранение вместе с «железным занавесом» искусственного барьера, разде-

лявшего мир, препятствуя его назревшей глобализации. Мир, внезапно ставший единым пространством, затопила стихия радикальных изменений во всех областях — экономической, технологической, информационной. Несколько коротких лет перестройки символом и «лицом» этих перемен был Горбачев.

В течение этого времени планета действительно переживала своего рода «горбазм», а самого советского лидера в его зарубежных поездках встречали, как Гагарина (могу это подтвердить, потому что мне повезло сопровождать их обоих). Его историческое величие и личное мужество не столько в том, что он начал реформы — их в той или иной форме вполне мог бы анонсировать любой советский лидер (вспомним хотя бы несостоявшихся «реформаторов» Берию и Андропова), — сколько в том, что не отступил перед их неожиданными последствиями и пошел до конца, выведя страну за рамки прежней системы и заплатив за это собственной отставкой.

Многие считают, что с исчезновением Советского Союза закончился политический XX век (как он начался с его появлением в 1917 году).

После распада СССР мир оказался, как после политического землетрясения, на «нулевом уровне» — под развалинами не только идеологических схем и стереотипов прошлого века, но и в состоянии «первоначально го хаоса» творения. На нехоженой территории. В мире, где не существует прежних бесспорных истин и правил игры, нет известных всем «красных линий», которые нельзя пересекать. Где смешались и размылись понятия суверенитета и гуманитарного вмешательства, внутренних и внешних дел, формальные нормы международного права и императивы асимметричных и некодифицированных угроз — от терроризма до преступлений перед человечеством.

Даже названия у этого мира пока нет. Его определяли по отношению к его предшественнику сначала как мир после холодной войны, потом как однополярный после двухполярного, потом многополярный и наконец сейчас как «бесполюсный». При этом, зная его прошлое, можно только гадать, куда он движется. К какому новому стратегическому равновесию после нарушенного ядерного двоевластия? К какому соотношению между старыми и новыми полюсами влияния? И какого: экономического, военного, технологического, духовного?

Так, неизвестно, как будет выглядеть демографический состав США через 15–20 лет. Сколько стран приобретет или потеряет Европейский союз? Куда — на юг в Азию, в Африку или на север в Сибирь — направит свои экономические и стратегические аппетиты Китай? Погрузится ли мусульманский мир еще глубже в исламский фундаментализм или, наоборот, начнет от него освобождаться? Даже если перечитать Нострадамуса, предсказавшего все мировые катаклизмы, мы не найдем ответов на эти вопросы.

Но политики не прорицатели и не историки, они должны реагировать на события, а не описывать их. Ясно одно: после десятилетий искусственной стабильности мы вступили в другой мир, асимметричный, с разными не только часовыми поясами, но и историческими эпохами и цивилизациями, вынужденными сосуществовать параллельно и в непосредственном контакте друг с другом иногда в рамках одного общества. Мир, в котором человек, как написал Михаил Гифтер, «живет в пересекающихся временах». Наверное, самое правильное было бы назвать его переходным. И уже в силу этого — неустойчивым и хрупким, подчиняющимся скорее не ньютоновской, а эйнштейновской политической логике.

Айсберг холодной войны раскололся как бы на тысячи осколков. С оживившими межэтническими кон-

фликтами, религиозными войнами, миллионами мигрантов, расколом многонациональных федераций и появлением карликовых нежизнеспособных государств. С возобновившейся гонкой вооружений, бесконтрольной торговлей оружием, оспариванием признанных международных границ и появлением новых барьеров, проволочных заграждений и даже стен, разделяющих давних соседей.

Главное же, нам приходится стыдливо признать, что число жертв этих мини-войн, локальных геноцидов, непризнанных конфликтов и этнических чисток, прежде всего среди гражданского населения, уже, может быть, на порядок превосходит количество погибших, раненых и изгнанных из своих жилищ и родных мест за годы холодной войны, от которой мы с облегчением освободились.

Вместо идиллии «нового международного порядка», о котором вслух мечтали в кают-компании «Максима Горького» на Мальте в декабре 1991 года Горбачев и Джордж Буш (отец), мы оказались перед перспективой мира, вновь разделенного на враждебные лагеря и соперничающие временные коалиции, спонтанно подбирающие себе союзников и назначающие врагов в зависимости от внутривосточной конъюнктуры и заказов для оборонной промышленности.

Как управлять системой с таким количеством неизвестных? Возможно ли это в отсутствие главных прежних стабилизаторов, какими были страх и атомная бомба? Надо ли к этому стремиться или надо стараться с максимальными предосторожностями просто сопровождать перемены, наблюдая за миром, как за кастрюлей с закипающим молоком?

Нельзя сказать, что Буш и Горбачев не видели опасности, не предчувствовали ловушку анархии, куда может

угодить мир после того, как они по обоюдному согласию снимут с него «кандалы» ядерного страха, в которые заковали его их собственные арсеналы. На саммитах Мальты, в Москве и Вашингтоне они не только обсуждали организацию совместного патрулирования в «горячих кварталах» этого нестабильного мира (по примеру общих патрулей держав-победительниц в секторах оккупированного Берлина), но и как минимум однажды продемонстрировали на практике, что злостных нарушителей мирового порядка (и права) ждет наказание.

Таким примером стала согласованная между ними и санкционированная Советом Безопасности ООН международная карательная акция против Саддама Хусейна, оккупировавшего Кувейт. Благодаря советско-американской «антанте», впервые со времени своего создания в 1945 году ООН, освобожденная от паралича, на который ее обрекало «вето» постоянных членов Совбеза, смогла выполнить задачу, поставленную перед ней Уставом. И таким образом показала, что и теоретически, и практически ей под силу роль международного полицейского.

Однако, когда инициаторам следующей военной интервенции против Ирака Джорджу Бушу-мл. и Тони Блэру понадобилось оправдать ее осуществление в обход ООН (после того как выяснилось, что главный довод — наличие у багдадского режима оружия массового уничтожения, оказался ложным), английский премьер выдвинул новый аргумент: «Мир, — сказал он, — стал безопаснее без Саддама Хусейна». Этот же аргумент вполне мог быть использован и применительно к Советскому Союзу. По крайней мере, теми, кто видел в нем основной источник мирового зла. Оправдан, таким образом, вопрос: «Стал ли мир безопаснее без Советского Союза?»

На первый взгляд, положительный ответ, как в случае с Саддамом, очевиден. Аналогия, может быть, неожиданно

данная, но только на первый взгляд. У позднего брежневско-андроповского кремлевского режима действительно наберется немало параллелей с иракской диктатурой. Репрессивный внутренний строй, обладание (в этом случае беспорное) гигантскими запасами оружия массового уничтожения, трудно предсказуемое поведение на мировой арене и реальная угроза для собственных соседей (советская интервенция в Афганистан если и отличалась от оккупации Саддамом Кувейта, то лишь соответствующим статусу сверхдержавы масштабом и уверенностью в безнаказанности). Иными словами, СССР был «вооружен и очень опасен».

Даже в России, несмотря на то что число скорбящих по покойному СССР значительно больше, чем в Ираке по багдадскому диктатору, мало кто желает его воскрешения. Однако если взглянуть на мировую ситуацию после развала СССР, выяснится, что и устранение «империи зла» не сделало ее безмятежно спокойной, скорее наоборот.

Чем это можно объяснить? Во-первых, тем, что, как и в саддамовском Ираке, стабильность мира холодной войны опиралась на свирепую диктатуру. В данном случае — диктатуру страха перед ядерной войной. Тот факт, что ответственность за этот навязанный человечеству страх советский тоталитарный режим делил с первой мировой демократией — Соединенными Штатами, дела не меняет. В тени Большого Страхa прятались и процветали его мини-версии и порождения: репрессивные и террористические режимы, криминальные и мафиозные диктатуры, религиозные и идеологические фанатики.

Однако под колпаком этой двуглавой диктатуры оставалось достаточно места для тех, кто, избегая зачисления в один из противостоящих лагерей, старался использовать преимущества «ничейной территории» или политического неприсоединения. Может быть, поэтому

об исчезновении Советского Союза сожалеют не только многие бывшие советские граждане.

После одной моей лекции в Париже ко мне подошел дипломат из Ганы и сказал: «Нам не хватает Советского Союза. Он был для нас и экономической, и военной, но и психологической поддержкой. Сейчас многие африканцы вынуждены поворачиваться к Китаю. И не потому, что мы в прошлом готовы были стать просоветскими, а сейчас, надеясь на инвестиции, симпатизируем китайцам. Противостояние Советского Союза и США дарило нам альтернативу и, значит, возможность самостоятельного выбора. С исчезновением СССР мы остались один на один с Америкой и западной политической и экономической моделью».

Спустя всего несколько лет даже лидеры единственной гипердержавы осознали, что на одной «западной» опоре мир устоять не способен. Оказалось, что Советский Союз не только бросал вызов капиталистическому миру в качестве потенциальной альтернативы, но и выполнял роль противовеса, необходимого для поддержания мирового баланса сил и равновесия. И значит, страховки от катастроф.

Без Советского Союза, оставшись один на один с Гитлером, «свободный мир», по крайней мере Европа, скорее всего подчинился бы фашизму. «Третий мир» вряд ли смог бы так быстро оформиться в самостоятельный и влиятельный фактор мировой политики. Но после вырождения исходного революционного проекта в тоталитарную систему советская альтернатива как побудительная сила мирового развития исчезла.

Вторая причина нынешнего Мирового Беспорядка в том, что новые лидеры, ответственные за управление доставшимся им невиданным миром, оказались в большинстве не на должном уровне: одних новая реальность, как волна прилива, накрыла с головой, другие занялись

приготовлением для себя «яичницы над жерлом вулкана». Иначе говоря, первая реакция мировых политических элит на беспрецедентные вызовы новой эпохи была банальная, «ньютоновская», основанная на логике «игры с нулевой суммой».

Национальные эгоизмы, посредственность политических лидеров и жадность элит не позволили мировой политике заглянуть за горизонт банальной борьбы за власть, новых прибылей и перераспределения стремительно истощающихся природных ресурсов. Да, мир смог избежать абсурда ядерного самоубийства, но потерпел фиаско в попытке выбраться из психологической клетки противостояния, унаследованного от холодной войны.

В Вашингтоне соблазн пересдать или перекроить мировые карты без риска большой войны не только занял место масштабных проектов переустройства мира, но и взял верх над осмотрительностью, которой славился и даже гордился Джордж Буш-старший, приученный к сдержанности эпохой холодной войны. Его преемники в Белом доме вместе с их европейскими союзниками всего за два десятилетия после распада СССР оставили на мировой сцене следы Большой Перекройки: стремительное продвижение военных структур НАТО к границам новой России, поспешное расширение Европейского союза на восток Европы, разваленная (не без соучастия Милошевича) Югославия, погрузившиеся в хаос Ирак и Ливия...

Наспех выработанные проекты стабилизации мирового хаоса принесли плачевные результаты: всемирная «война против террора» увязла в трясине Афганистана, а провозглашенный с большой помпой проект Большого демократического Ближнего Востока свелся после устранения Саддама Хусейна к акции НАТО по свержению Каддафи. Общая черта этих разноплановых демаршей

и главная причина постигнутого их фиаско — их односторонний характер, основанный на новом «западном мессианизме» и святой вере лидеров стран Запада в свою способность указать путь миру и проложить его, если понадобится, путем «принуждения к демократии». Состязание в «рейдерских захватах» и попытках «приватизации» плохо лежащих обломков наследия предыдущей эпохи на наших глазах ведет к плачевным результатам: фактическому возрождению духа и практики холодной войны с тем отличием от пережитой, что она будет лишена идеологического обоснования и оправдания.

В прошлые века говорили: каждое поколение должно пройти через свою войну. Из-за появления атомной бомбы новая мировая война, будем надеяться, стала невозможной. Но не значит ли это, что ее роль теперь будет выполнять перманентная холодная война? А мировая политика застрянет в порочном круге? Поскольку такая вялотекущая холодная война на самом деле призвана обслуживать прежде всего потребности внутренней, а не внешней политики, для нее достаточно воображаемой угрозы из-за рубежа и олицетворяющего ее врага. Он всегда «Wanted!»¹, как фоторобот разыскиваемого преступника.

В самом деле, кто лучше «добротного» внешнего противника поможет любой власти подавлять оппозицию, легитимизировать неустойчивый режим, выиграть выборы, оправдать наступления на демократию, политические или экономические провалы? Планетарный поиск такого неуловимого врага объявлен. Он удобен тем, что может менять свои обличья и адаптироваться к потребностям тех, кто его ищет, — терроризм, исламизм для одних, сепаратизм — для других, безбожный аморализм или космополитизм — для третьих.

¹ «Разыскивается!» (англ.)

Главная беда этих версий врагов в том, что они, подобно ложным мишеням, отвлекают внимание людей и целых обществ от истинных новых опасностей глобального мира: нетерпимости, неравенства, насилия, которые должны были бы объединять, а не разъединять человечество. И выходящей на первый план впервые за историю человеческой цивилизации угрозы самому ее существованию на планете...

Один из выдающихся советских интеллектуалов академик Никита Моисеев, автор (вместе с американским астрофизиком Карлом Саганом) концепции «ядерной зимы», с которым мы регулярно гоняли чай у него на кухне, говорил мне (в это время он уже занимался вопросами экологии): «Проблема — в темпе перемен, которые человек навязывает планете и переживает сам. Изменения природной среды происходили и раньше, но и у человека, и у всей биосферы всегда было достаточно времени, чтобы к ним приспособиться. Стремительность и объем нынешних драматических сдвигов в нашей экосистеме не оставляют шанса ни человеку, ни, боюсь, самой Земле, чтобы их безболезненно переварить. Это значит, все может кончиться планетарной катастрофой».

Для наглядности он рисовал суммарный график изменений: климата, демографической ситуации, состояния природных и энергетических ресурсов, запасов питьевой воды и зараженности атмосферы, которые претерпела Земля за несколько тысячелетий. График имел форму хоккейной «клюшки» — с плавно повышающимся почти плоским основанием и резко уходящей, начиная со второй половины XX века, вверх «рукояткой». По мнению Моисеева, за время жизни всего одного поколения условия обитания популяции *homo sapiens* радикальным образом изменились. «Мир нуждается в утверждении новых норм общежития и прежде все-

го в замене принципа *покорения* Человеком Природы принципом их *коэволюции*», — говорил академик, формулируя концепцию жизненно необходимого «исторического компромисса».

В виде такой же «кляушки Моисеева» можно изобразить перемену мировой политической ситуации в конце века. Внезапный конец холодной войны и биполярного мира, крах мирового коммунистического проекта, воссоединение Германии и распад СССР, никем не ожидавшееся расширение Европы и высадка на Луне китайского лунохода. Все это произошло при жизни одного поколения и означало для миллионов радикальные изменения в привычном укладе жизни и крушение сложившегося образа мира. Произведенную за ночь замену карты вселенной Птолемея на галактику Галилея. Переход мировой ситуации от почти тотального иммобилизма к поразительной подвижности и непредсказуемости. От сравнимых природных изменений (потоп, ледниковые периоды) природа тысячелетиями приходила в себя. Человечеству история столько времени не отвела.

Десятилетия, прошедшие после конца холодной войны, к сожалению, подтверждают удручающее отставание национальных политических элит и лидеров наиболее влиятельных государств от масштаба и скорости перемен в мире. Перед лицом беспрецедентных политических сдвигов, изменяющих облик планеты, они ведут себя так, будто имеют дело с временными погодными явлениями. Ожидая, что рано или поздно половодье мировой политики вернется в рамки привычных правил, стереотипов и структур, унаследованных от прошлого века.

Они ошибаются. Глобализация не только сделала условными прежние границы и сорвала таможенные пломбы с национальных экономик и финансов. Она снесла информационные шлагбаумы там, где их еще не успели поднять пропагандисты. Она взломала печати государств-

венных служб. С помощью общедоступных мобильных телефонов, фото- и видеокамер и микрофонов, соединенных с Интернетом, она заставила политиков выйти на площадь, затруднила возможность полиции и армии чинить привычный произвол и, сорвав с государственной власти покров секретности, лишила ее ореола сакральности.

Но эта же обвальная, практически не поддающаяся контролю глобализация превратилась в разбушевавшуюся стихию — канал ничем не регулируемого распространения по миру пандемий преступности, коррупции, уклонения от налогов, нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды. Она открыла как для мафиозных структур и террористов, так и для государственных секретных служб свободное поле для нового вида шпионажа и террористической деятельности, кибервойн, тотальной слежки и нарушения гражданских прав.

Конечно, подобная нестабильность чревата рисками и способна превратить любую послевоенную ситуацию в предвоенную, и кто тогда поручится, что нынешний мир доживет до 2084 года? Если во второй половине XX века мирового конфликта удалось избежать, можно ли застраховаться от него в XXI-м, в котором к тому же нас поджидают другие «бомбы»: экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая.

Становясь единым обществом, человечество поднимает на мировой уровень все свои конфликты: социальные, религиозные, национальные. И, как любую подлинную революцию, глобализацию подстерегает угроза разгула экстремизма, варварства и даже всемирной «гражданской войны». Как этого избежать?

Из истории известно, что набор способов борьбы с хаосом и нетерпимостью, выработанный человечеством, увы, ограничен. В краткосрочном плане — это приращение государственного насилия: армии, полиции,

правосудия, то есть *принуждения* — для подавления экстремизма, преступности, разгула анархии и поддержания общественного порядка. В долгосрочном, это *воспитание* — длительная политическая, нравственная, духовная работа всех здоровых сил общества по выращиванию культуры терпимости и созданию устойчивых институтов демократии, позволяющих решать общественные проблемы путем компромиссов, соблюдая единые для всех правила игры. То есть закона. Идеалом, разумеется, является сочетание того и другого.

Важную воспитательную роль на разных этапах взросления человечества играла религия. Обучая миллиарды людей с помощью заповедей и моральных призывов, а когда их было недостаточно, угроз Божьей карой правилам человеческого общежития, взаимной терпимости и обеспечивая историческую преемственность семьи, нации и человеческого рода. Правда, встречи даже самых миролюбивых религий между собой или даже внутренних течений внутри каждой из них, как правило, кончались плохо: крестовыми походами, кострами для еретиков и варфоломеевскими ночами.

Коммунизм попытался было исправить эту ситуацию, провозгласив себя универсальной «мировой религией», но количество жертв, погибавших уже не в религиозных, а в классовых войнах и в столкновениях между самими коммунистами, от этого заметно не снизилось. Фиаско коммунизма и бесславный конец «века идеологий», с одной стороны, грозит возвращением человечества в мрачные времена религиозных войн, с другой — может быть, дарит ему шанс выработать подлинно всечеловеческий гуманистический духовный проект, основанный на «новой нравственности», к которой призывал Никита Моисеев и о котором в течение веков не уставали мечтать великие и благородные умы, и среди них французский теолог Тейяр де Шарден, ве-

ривший в неизбежный приход Новой Эры Обоюдной Ответственности.

Реалистично ли ставить такую цель перед мировым сообществом? Ведь это значит предлагать ему новую утопию или обрекать на заведомо безнадежный сизифов труд. Но если не это, то что взамен? Перспектива возвращения к временам варварства, войны всех против всех? Тому самому «закону джунглей», от которого предостерегал Джордж Буш старший, когда в эйфории, сопровождавшей окончание холодной войны, мечтал о Новом мировом порядке, во многом вдохновленном постулатами горбачевского Нового политического мышления.

Найдется ли среди нынешних или будущих политиков новый Горбачев, который решится разомкнуть порочный круг состязания во взаимной «крутости», не побоявшись ни отставки, ни непонимания в собственной стране? Вряд ли. После того как Запад продемонстрировал России, что перестав быть тоталитарной сверхдержавой, она утратила в его глазах статус неустранимого элемента мирового баланса сил, вместо второго Михаила Горбачева в Кремле появился Владимир Путин.

Да и в Вашингтоне наступили новые времена: желая «наказать» Россию за ее поведение в ходе последнего российско-украинского конфликта, американский Конгресс в декабре 2014 года с единодушием, напоминая о голосовании в советском Верховном Совете, одобрил «Акт о поддержке свободы Украины», разрешающий американскому президенту начать поставки Киеву «летального оружия». Кто в этой атмосфере отважится вспомнить о киевской речи Джорджа Буша летом 1991 года, когда он призывал украинцев не просчитаться и не пожертвовать ради формальной независимости перспективой демократического обновления, которую обещала народам всего Советского Союза перестройка?..

На первой встрече в Женеве в ноябре 1985 года Рейган неожиданно спросил Горбачева: «А что, если на Америку нападут инопланетяне. Поддержите ли вы нас?» Горбачев ответил: «Вне всякого сомнения». Значит ли это, что нам придется дожидаться очередного кризиса, который подведет мировую ситуацию вплотную к точке невозврата для того только, чтобы побудить политиков к обоюдной ответственности? Ждать ли очередного цунами или тайфуна, которые поглотят целые острова, или нового Чернобыля-Фукусимы, чтобы договориться о радикальных мерах по изменению воздействия человека на природу? Или, может быть, нашествия из космоса?

Будущее иллюзии

...Долгое время самой высокой вершиной на карте Советского Союза значился пик Сталина в горах Памира. После 1953 года его переименовали в пик Коммунизма. Он должен был символизировать национальную цель — восхождение всей страны к светлому будущему. Потом цель заволокли облака. Восхождение отменили, да и сам пик после распада СССР оказался за границами России. Иначе его пришлось бы переименовывать в очередной раз. Впервые за многие годы Россия, которую часто называли «страной-проектом», осталась без национальной цели, отличающей ее от остального мира.

После распада Советского Союза сменился век и даже тысячелетие. Мир живет новыми проблемами, и их приходится решать следующему поколению политиков. Горбачев и перестройка оставили после себя другой мир, но нельзя сказать, что это они его изменили. Скорее наоборот — новый, зародившийся внутри старого мир породил «феномен Горбачева». Перестройка лишь помогла этому миру явиться на свет, сыграв роль его пови-

тухи (и попутно «показав нос» марксовой формуле о том, что эту роль история отводит прежде всего насилию).

Этот ЕДИНЫЙ И ВЗАИМОЗАВИСИМЫЙ МИР подготовило само развитие человечества: современная технология, транснациональная экономика, новые средства транспорта и связи (порожденные в том числе первыми советскими спутниками), последствия планетарных экологических проблем и катастроф. Накопившийся к концу века в недрах мирового сообщества потенциал перемен выплеснулся наружу фонтаном, как из горлышка бутылки шампанского, срезанного саблей новой русской революции.

Очевидно, что исчезновение Советского Союза, стратегического соперника, политического антипода и во многом цивилизационного вызова западной модели мира, оставило после себя кратер в мировом ландшафте. Андрей Платонов сказал бы «котлован», саркастичный Александр Зиновьев назвал бы его «Зияющим пиком». Как и чем его заполнит Россия, еще нельзя сказать. В своем постсоветском развитии страна движется в двух противоположных направлениях. Власть и общество как бы скользят с горы на двух расходящихся лыжах.

Потратив большую часть XX века на попытку построения мира альтернативного, Россия не без колебаний возвращается в реально существующий. Спустившись с заоблачной высоты пика Коммунизма, *homo soveticus* постепенно становится гражданином мира. «Новых русских», которые разбрелись по всему свету, можно встретить сегодня на пляжах Анталии и Майорки, на склонах Куршевеля и в чопорных кварталах «Лондонграда». Но наряду с «новыми русскими» есть и «старые советские» (их пока еще большинство) — не выезжая из собственной страны, они оказались в ней на положении эмигрантов из прошлого и чувствуют себя жертвами корабле-

крушения, которое пережила их Родина и их собственная жизнь.

Вынужденное сосуществование этих разных миров, заключенных в одну «русскую матрешку», может затянуться до тех пор, пока Россия не решится окончательно расстаться со своим советским прошлым. Не для того чтобы его забыть, а чтобы вложить в мировую копилку уроков XX века прежде, чем двинуться в XXI.

Но исчезновение вместе с СССР одного из двух «китов», на которых покоилась международная стабильность, ставит вопрос и о том, как избежать мирового хаоса на уникальном этапе истории: синхронизации мирового времени для народов, принадлежащих к различным культурам, традициям и даже историческим эпохам. Далеко не все они приучены собственной предыдущей историей к терпимости, компромиссам, просто к сожительству с иными цивилизациями, верованиями, обычаями.

Политика, как и природа, не терпит пустоты. Кто заменит рухнувшую советскую опору? Конкурс открыт, претенденты имеются: Китай? Европа? «Аль-Каида»? Евразийский «Священный союз» или «Русский мир»? Да и нужны ли пришедшему в движение миру, переживающему трагическую напряженность существования сразу в нескольких исторических эпохах, новые «опоры»? Они годились для консервации всемирного застоя, каким была холодная война. Нужны скорее альтернативы, открывающие человечеству возможность сравнения и выбора. И, таким образом, страхующие его от риска одномомерной модели развития, чреватой неизбежным, уже планетарным кризисом...

...Мы сидели с французским историком Франсуа Фюре в баре «Лютеция». Его заинтересовала моя кни-

га «Падение Кремля». Я со своей стороны высказал ему свое искреннее восхищение анализом феномена большевизма в его книге «Прошлое иллюзии» («Le Passé d'une illusion»). «А знаете, Франсуа, — сказал я, — у меня есть для вас предложение темы для вашей будущей книги. Почему бы не “Будущее иллюзии”?» Мэтр усмехнулся, мне показалось, что идея пришла к нему по вкусу. Жаль, что на ее воплощение у него не хватило времени.

Карл Маркс предсказывал наступление единой и наконец-то истинной истории человечества. Он верил, что его проблемы разрешит мировая коммунистическая революция. История России в XX веке его опровергла. Режим, порожденный здесь совершенной от его имени революцией и выстроенный его последователями, не ускорил, а искусственно задержал и свободное развитие этой страны, и объединение мира. Однако, отвергнув коммунистическую утопию, выродившуюся в тоталитарный проект, Россия, а вслед за ней и остальной мир не нашли (пока?) ей замены и формы для выражения извечного стремления человека к более справедливому миру.

Но может ли становящееся единой семьей человечество выжить в мире, который не будет более справедливым и солидарным? И способен ли человек сохранить веру (помимо религиозной) в возможность такого лучшего мира, не сводя ее к иллюзии и в то же время не превращая в очередной утопический проект, чреватый тоталитарным кошмаром? Ответ, по-видимому, в соединении утопии с альтернативой, то есть демократией. Меня привлекает формула, которую я услышал от бывшего соратника де Голля Эдгара Пизани: «Я приветствую утопию как ориентир и как метод, а не как проект власти». Грань между тем и другим, разумеется, хрупка и часто условна. Но, может быть, опыт избавления от огосударственной утопии, пережитый Россией в XX веке, поможет новым поколениям ее не перейти.

Ведь если альтернативой является угроза возвращения мира к варварству, всемирный социальный взрыв или глобальная природная катастрофа (а может быть, и соединение всех этих сценариев), то из нравственно-императива и благого пожелания утопия вполне могла бы превратиться в мобилизующую цель и глобальный политический проект. И, как это бывало и в другие критические моменты истории, выдвинула бы политиков, способных подняться над горизонтом очередных выборов, оглядок на рейтинги популярности и рисков вынужденного ухода в отставку. Таких, кто поможет нашему миру избежать судьбы «Титаника».

Заключение

Оказавшись после долгого перерыва в зимней Москве, я шел без конкретной цели, как по римским раскопкам, по развалинам своих воспоминаний. Миновал давно исчезнувший пивной погребок на Пушкинской площади, куда меня в отсутствие у него лучшей компании привел полвека назад мой институтский преподаватель и главный редактор «Международника» Эрик Плетнев. В погребок тогда завезли свежих раков, и такого праздника он просто не мог пропустить.

Утолив жажду первой кружкой, Рыжий вспомнил, что рядом с ним студент, и решил дать мне урок. Протянув бумажную салфетку, он строго сказал: «Нарисуй линию». Я озадаченно провел на бумаге вертикальную черту. «Позор, стыд!» — гневно и презрительно воскликнул Эрик. «Она как твои мозги — ни одной извилины. Почему линия должна быть обязательно прямой, а, скажем, не такой?» И он нарисовал на салфетке замысловатую виньетку. Этот урок нонконформизма я запомнил лучше, чем его лекции по политэкономии.

Я поднялся по улице Горького (ныне Тверской) и пошел к площади Маяковского (ныне Триумфальной). Здесь во времена «оттепели» у ног бронзового поэта собирались толпы молодежи на поэтические митинги — первые послесталинские «хешпенинги». Не знаю, выдавала ли тогда московская власть разрешение на их проведение, — кажется, что никому и в голову не приходило его спрашивать.

Свернув с заполненного машинами Садового кольца, я оказался в типичном московском дворике, занесенном снегом. Под высокими сугробами угадывались силуэты оставленных на зимовку до весны машин. Детская площадка была залита под каток, а в ее середине, где положено возвышаться детскому грибку с жестяной крышей, на цементном постаменте стоял небольшой бюст Ленина, накрытый пушистой снежной шапкой. В этом укромном дворе ему ничто не угрожало: ни опасность быть свергнутым с пьедестала, как толпой на киевском Майдане, ни быть поднятым краном в небо, как в фильме «Гудбай Ленин».

В этот час здесь было пустынно и темно. Неожиданно из-под арки выехал велосипедист. Необычным было не только его появление среди сугробов, но и то, что он ехал почему-то, как циркач, на одном колесе. Велосипедист обогнул памятник и скрылся.

Я двинулся вслед за ним по узкой колее, оставленной велосипедным колесом, и оказался перед неоштукатуренной кирпичной стеной. Она выглядела бы типично советской, если бы не заполнявшее все ее пространство гигантское граффити из одного слова: «Зачем». Я пристроился внимательнее: вопросительного знака не было. Может быть, у художника не хватило краски, а может, он и не ждал ответа ни от кого. Написал же Гоголь: «Русь, куда несешься ты? Дай ответ!» Ни он, ни кто другой его до сих пор не получил.

Порыв ветра бросил мне в лицо пригоршню снега. Я попробовал потуже запахнуть пальто и почувствовал, как что-то жесткое уперлось мне в ребро. Запустив руку во внутренний карман, я неожиданно нащупал в нем кубик Рубика. Он, видимо, завалялся там с тех пор, как я купил его в каком-то аэропорту, чтобы скоротать время в ожидании рейса. С тех пор я не раз брался за эту головоломку, но всякий раз бросал. Поняв, что мне ни к чему добавлять еще одно поражение к другим жизненным неудачам, я решил кубик «потерять». Размахнулся и с облегчением бросил его подальше в высокий сугроб. И пошел вперед, не оглядываясь, будто опасаясь, что он пустится меня догонять, как брошенный жестокосердным хозяином котенок.

Успокаивая себя, я подумал: может быть, он не пропадет. Придет весна, снег растает, и его яркие грани привлекут внимание пробегающего мимо мальчишки. И тогда детские руки, повертев кубик, быстрее, чем мои, сложат его в гармоничную и рациональную картину и докажут, что у квадратуры нашего земного шара есть решение.

Пушкино – Париж, 2013–2015

Содержание

Вступление 7

ЧАСТЬ I

ЗАТЯНУВШИЕСЯ ПОХОРОНЫ

Песочные часы	9
Война — повитуха	11
Пятьдесят третий год	21
Презумпция виновности	25
Оттепель	31
Мой главный секрет	39
Хрущев — бой с тенью Сталина	43
Пирамида страха	49
Вудсток в Москве	55
Лицей у Москвы-реки	60
«Умом Россию не понять, а чем понять, опять неясно»	67
100 Вьетнамов	74
Будапешт, моя любовь	80
1968 год — три весны и одна осень	90
«Откуда вы все взялись?..»	101
Брежнев — восковой сталинизм	108
Сюрреальный социализм	112
Отцы и дети (и жены)	118
Афганский капкан	121
Андропов или «состоявшийся Берия»	129

ЧАСТЬ II

КОМЕТА ГОРБАЧЕВА

«Голос из хора»	136
«Верующий атеист»	140
Под ковром политического плюрализма	145
«Пиковая дама»	148
Превентивная революция	153
Стена Страха	160

1989 — год, когда мир «вышел из сустава»	170
Пробуждение германского «вулкана»	175
Если выпало Империей родиться...	183
Сколько букв «С» уместится в названии Советского Союза?	190
В похоронной команде	195
Путч или шутиха?	204
Лаче — последний ужин	214
От перестройки до «тройки»	223
Самый длинный день	228
Отчего вымирают мамонты?	232
Пожарный или пироман?	242
Другой Горбачев?	247

ЧАСТЬ III

РОССИЯ ПОСЛЕ КОММУНИЗМА, МИР БЕЗ СССР

Исчезновение «Атлантиды»	263
Капитализм после коммунизма	271
«Мы там были...»	278
«Сталинизм с человеческим лицом»	281
Евразия или Азиопа	285
«Крым за Кремль»	288
«Мертвая рука»	295
Обратная сторона Луны	305
Западная «башня»	312
«And the winner is...»	318
Переживет ли мир 2084 год?	329
Будущее иллюзии	343
Заключение	347

Литературно-художественное издание 12+

Грачёв Андрей Серафимович

ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО «ТИТАНИКА»:

Судовой журнал

Художественный редактор

Т.Н. Костерина

Технолог

М.С. Кырбаш

Оператор компьютерной верстки

А.Ю. Бирюков

Оператор компьютерной верстки переплета

В.М. Драновский

Корректоры

И.Р. Любавина, Л.А. Хинчагашвили

Подписано в печать 12.08.2015

Формат 84x108/32

Тираж 1000 экз.

Заказ №

Отпечатано в соответствии с качеством

предоставленного оригинал-макета

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail:book@uralprint.ru